Дб
400
Б-90
т.1.

Вал. Булгаков.

Опомнитесь, люди-братья!

Том первый

Задруга
1922.

ВОЗВРАТИТЕ КНИГУ НЕ ПОЗЖЕ

обозначенного здесь срока

3.
947 р.
Вал. Булгаков
Б-91
Аб
400
Б 90
Закрытый Фонд
Библиотеки Политкаторжан

О ПОМНИТЕСЬ, ЛЮДИ—БРАТЬЯ!

ПОГАШЕНО
ПРОВЕДЕНО

История воззвания единомышленников Л. Н. Толстого
против мировой войны 1914—1918 г.г.

ЗАДРУГА

М. 1922

ГОСУДАРСТВ. ПУБЛИЧНАЯ
ИСТОРИЧЕСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
491228
V

Р. Ц. Москва. Печ. 2.000

7-я типография „Моспечать“ (бывш. А. И. Мамонтова).
Арбатская площ., Филипповский пер., д. 11.

ПОГАШЕНО

ТОМ ПЕРВЫЙ

ПОСВЯЩЕНИЕ.

ВСЕМ ДОРОГИМ БРАТЬЯМ И СЕСТРАМ, УЧАСТНИКАМ ХРИСТИАНСКОГО ВОЗЗВАНИЯ ПРОТИВ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 1914—1918 ГГ., НАВЕКИ СОЕДИНЕННЫМ С МОЕЙ ДУШОЙ ПАМЯТЬЮ ВСЕГО ПЕРЕЖИТОГО ВМЕСТЕ, В ЗНАК ВЕЛИКОЙ И БЛАГОДАРНОЙ ЛЮБВИ, ПОСВЯЩАЮ Я ЭТУ КНИГУ.

ВАМ НЕ НУЖНЫ ЭТИ ПАМЯТКИ, ПОСКОЛЬКУ ОНИ КАСАЮТСЯ ВАШИХ ЛИЧНОСТЕЙ, НО НЕ РАЗ УСТАМИ СКРОМНЫХ ЛЮДЕЙ, ВЫЗВАННЫХ СИЛОЮ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ИЗ БЕЗВЕСТНОСТИ ИХ ГЛУБОКИХ И ПЛОДОТВОРНЫХ, ХОТЯ И НЕЗАМЕТНЫХ, ПУТЕЙ НА ВЫСОКУЮ ПО ВРЕМЕНИ ЦАРСКОГО РЕЖИМА КАФЕДРУ-СКАМЕЙКУ ПОДСУДИМЫХ В ВОЕННО-ОКРУЖНОМ СУДЕ, ГОВОРИЛА САМА ПРАВДА. ЕЕ-ТО НУЖНО СОХРАНИТЬ.

ЕЕ ВЕЧНАЯ СТРУЯ, ЗАДЕВШАЯ ТОГДА ВСЕХ НАС, СОЕДИНЯЕТ НАС ДУХОВНО С БРАТЬЯМИ, ШЕДШИМИ ХРИСТОВЫМ ПУТЕМ В БЛИЗКОМ И ДАЛЕКОМ ПРОШЛОМ,— СОЕДИНЯЕТ НЕЗРИМО И С ТЕМИ, КТО ИЗБЕРЕТ ЭТОТ ПУТЬ В БУДУЩЕМ.

И НА ЭТОМ ВЕЧНОМ ПУТИ МЫ ВСЕМ ГОВОРИМ: ПРИВЕТ!

АВТОР.

ПРЕДИСЛОВИЕ.

Настоящая книга дает исторический очерк возникновения не только воззвания, известного под именем «Опомнитесь, люди-братья», но и других, одновременно выпущенных в России единомышленниками Л. Н. Толстого, в самом начале мировой войны 1914—1918 гг., христианских обращений против войны, как, например: «Наше открытое слово», «Милые братья и сестры» и др., имевших то или иное отношение к судебному процессу «толстовцев» в 1916 году. Но так как главным основанием процесса, в свое время возбудившего интерес самых широких слоев русского общества и нашедшего отклики за-границей, послужило именно воззвание «Опомнитесь, люди-братья», вызвавшее против себя сугубое преследование и получившее наибольшее распространение, то и весь исторический материал о воззваниях естественно группируется именно вокруг этого документа.

Материалами для книги послужили, прежде всего, личные впечатления автора, как одного из участников воззвания «Опомнитесь, люди-братья»; далее—масса оффициальных и неоффициальных документов: протоколы показаний подсудимых и свидетелей на предварительном следствии, секретная переписка жандармских отделений, переписка подсудимых и их близких, тюремные дневники подсудимых, стенографический отчет суда и т. д.; затем—газетные сообщения, впечатления и статьи и, наконец, полученные специально для этой работы устные рассказы подсудимых, председателя суда ген. С. С. Абрамовича-Барановского и некоторых свидетелей (как, напр., Т. Л. Сухотиной, Е. П. Нечаевой и др.) о тех или иных обстоятельствах дела, часто даже не получивших оглашения на суде.

Использованы сведения только достоверные.

Таким образом, можно думать, что картина всего «дела толстовцев» восстанавливается в книге с исчерпывающей полнотой, какой не мог бы дать, например, и самый стенографический отчет

суда, так как очень многие стороны дела, в особенности подробности бытового характера, не нашли своего отражения в ходе судебного заседания.

Всем лицам, оказавшим содействие автору при составлении этих записок—бывшим подсудимым в процессе, председателю, свидетелям, адвокатам, простым посетителям зала суда, отдельным лицам, имевшим то или иное прикосновение к делу,—приношу свою искреннюю и глубочайшую признательность.

Вал. Булгаков.

Островка, Тамбов. г.,
28 июня 1919 г.

ВВЕДЕНИЕ.

Весной 1910 года,—следовательно, еще при жизни Л. Н. Толстого,—случилось мне как-то гулять по дорожкам Яснополянского парка вместе с зятем Толстого М. С. Сухотиным, бывшим депутатом 1-й Государственной Думы, ныне покойным. Блестящий остроумец, талантливый, тонкий и вообще незаурядный человек, Михаил Сергеевич в тот раз задался вопросом: сохранится ли после смерти Толстого то умственное и религиозное течение, которое принято,—и неправильно принято, — называть «толстовством»? Я говорю—неправильно, потому что это есть только одна из исторических разновидностей, в которых,—как в учениях донатистов, богомилов, альбигойцев, вальденсов, моравских братьев, меннонитов, социниан, квакеров, гернгутеров, духоборов и т. д., и т. д.,—воскресало, в тех или иных своих подлинных чертах, христианство, извращенное ортодоксальными церквами. — Сухотину казалось, что только мощная личность Льва Толстого об'единяла до поры до времени его последователей и что только нравственное обаяние этой личности поддерживало, тоже до поры до времени, известную внутреннюю устойчивость в приверженцах «толстовства». Но вот—кончит свои дни дряхлеющий физически Лев Николаевич,—и с ним кончится «толстовство».

— Некому будет об'единить вас,—говорил мне М. С. Сухотин.—Лев Николаевич сейчас невольно является центром, а кто будет этим центром после его смерти? Я не знаю из его близких друзей никого, кто бы мог в этом смысле стать на смену самому Толстому. А вожака не будет, рассыпется стадо,—поверьте!..

Как тогда был, так и теперь я с точкой зрения М. С. Сухотина несогласен.

Не будет вожака? Да, это верно. Его и нет. Но «толстовцы» вовсе и не стремятся иметь его.

Рассыпется и исчезнет «толстовство», как обособленное течение, как своего рода партия? Fiat! Да будет так!

Будучи беспристрастным, надо сказать, что это и желательно, и уже произошло. Больше того,—надо сказать, что «толстовство», как «партия» или как *секта, перестало* существовать еще при жизни самого Льва Толстого. Но об этом нам, единомышленникам Л. Н. Толстого, печалиться не приходилось и не приходится.

Было, действительно, время,—в 80-х гг., в начале проповеди Льва Николаевича,—когда шедшие за ним искренние и убежденные люди, впадая, по увлечению, в невольную подражательность,

считали своим долгом надевать лапти, блузы и отпускать длинную бороду. Тогда же возникло между интеллигентными представителями «толстовства» стремление на землю, с целью «опрощения». Истинного «толстовца» (а ведь «толстовство»—значит христианство) мыслили только в подобии крестьянина-хлебороба: в лаптях, в рубахе, идущим за сохой; с идейной же стороны—непременно с яростью обличающим церковь и скучно, монотонно проповедующим о необходимости целомудрия и «непротивления».

Конечно, были и тогда люди, гораздо шире понимавшие мировоззрение Л. Н. Толстого и выделявшиеся своим свободным подходом к доктрине учителя среди его правоверных последователей. Но, вообще говоря, пожалуй, можно признать, что известная доля догматизма и даже своего рода «обрядности» отличала многих приверженцев вновь провозглашенного жизнепонимания.

Быть может, в самом мировоззрении Льва Николаевича, поскольку оно выразилось в первых религиозно-философских его трактатах,—как, например, «В чем моя вера», «Так что же нам делать» и др.,—были элементы чего-то, выраженного слишком резко, слишком определенно, слишком безоговорочно, и потому способного, действительно, породить некоторый догматизм мысли у наиболее пылких и прямолинейных последователей. Толстой, в этих первых сочинениях второго периода творчества, пред'являет как будто слишком определенные, внешне определенные требования к человеку. Он не ограничивается только тем, чтобы указывать *направление* пути,—но иногда как бы заранее намечает и самый путь, во всех его подробностях, предустанавливая наперед те рамки и те формы, в которые каждый обязан втиснуть свою мысль и свою жизнь.

В дальнейшем «толстовство» сильно эволюционировало, и именно в направлении признания за человеком полной внутренней свободы и независимости духовной жизни. Незыблемо закрепившись на главном, на своей внутренней, *религиозной* основе, — «толстовство» во всем остальном, в развитии частностей как бы предоставляет своим приверженцам полную самостоятельность. И ни о каком догматизме тут уже не может быть речи.

Крах-ли «толстовства», как узкой секты, разочарование ли Льва Николаевича в собственных силах осуществить в своей жизни высший идеал, углубление-ли его религиозного сознания или обогащение жизненным опытом и наблюдениями, смягчение-ли или, если так можно выразиться, христианизация его души послужили причинами,—но только, начиная уже с 90-х гг., он приходит к окончательному утверждению в том взгляде, что все усилия человека должны быть направлены к прогрессу во внутренней, духовной области, а не во внешней, что идеал неосуществим во внешней жизни и к нему возможно только постоянное приближение и что, наконец, внешние поступки человека, взятые сами по себе, вне

зависимости от состояния его духовного сознания, безразличны, одинаковы, не имеют преимуществ один перед другим. Вместе с тем указывается, что и внешняя перемена в жизни человека следует за внутренним перерождением, так же неизбежно, как «воз за лошадью».

При таком понимании учения не только не могло уже быть речи ни о каких «четырех упряжках», на которые Толстой в «Так что же нам делат» советует каждому человеку делить день, но и вообще ни о каких определенных правилах внешнего поведения. И, действительно, Толстой таких правил не давал.

Даже в интимных беседах, при обращениях к нему за советами, Толстой по большей части уклонялся от решения чисто практических вопросов жизни *для отдельных людей,* указывая, что такие вопросы каждый человек может и должен решать для себя *только сам.* Но Толстой не забывал присовокупить при этом, что, вообще, истинная жизнь—*не во внешнем;* что в своей внешней жизни человек не свободен, и что свобода эта достигается только во внутренней жизни, на которую и нужно устремить главное внимание.

«Одно, на чем я настаиваю и что мне все яснее и яснее становится с годами,—писал Толстой в одном письме от 18 февраля 1909 г.,—это та опасность ослабления внутренней, духовной работы, при перенесении энергии—усилия—из внутренней области во внешнюю».

Только бы любить людей, только бы стараться быть с Богом и самому стремиться, по мере сил, стать чище,—а остальное, разумея под «остальным» все внешние перемены, придет само собой. Главное, важно то, если в человеческой душе загорается искорка стремления к очищению и улучшению себя, к самосовершенствованию, стремления к идеалу,—а когда, как и при каких условиях осуществит человек свои лучшие стремления во внешней области, это может в соответствующий момент решить только он сам. Может быть, даже человек останется в прежних условиях внешней жизни, но и тогда все его существование, освещаемое извнутри, светом души, будет полно смысла и значения. А это—самое главное.

В письме к И. Ф. Наживину от 27 февраля 1904 г. Лев Николаевич говорит: «Нельзя вперед определить форму христианской жизни. Служение Богу и людям, любовь—что тот клубок, который в сказке волшебница дает юноше, чтобы он шел туда, куда, разматываясь, покатится клубок. Так и в жизни итти надо туда, куда поведет разматывающийся клубок любви, а куда он приведет, мы этого знать не можем, а если будем воображать, что знаем, то собьемся с дороги»...

При таком, последовательно проводившемся Толстым в последние годы его жизни миросозерцании,—догматизму, сектант-

ству, кружковщине или партийности уже не могло быть места. И мы видим, что «толстовство», действительно, выросло из секты в мировое, общего характера, с общеловеческими чертами и целями религиозное учение.

И вот, если так понимать «толстовство», то сейчас же окажется, что влияние Л. Н. Толстого в мире, как религиозного учителя, в действительности гораздо шире, глубже и разностороннее, чем это может показаться на первый взгляд. Меньше «присяжных последователей», но больше людей, в ком разбужена дремавшая совесть и укреплено христианское, религиозное сознание. Больше людей, кому духовно стало легче дышаться после таких книг Льва Николаевича, как «Путь жизни», как «Круг чтения», или его письма и дневники,—кто в руководстве яснополянского мудреца нашел немалое утешение среди хаоса лжи и разнузданности, наполняющих мир.

И думая о *таком* «толстовстве»,—а я его понимал так и в 1910 г.,—я, конечно, в беседе с Сухотиным, не мог согласиться, что после смерти Толстого «толстовство» исчезнет.

Такое «толстовство» уже перестало быть толстовством. Оно стало просто *религиозным жизнепониманием,* христианским жизнепониманием,—именно постольку, поскольку религия или христианство (что, по мнению Ренана, одно и то же) выражает *вечные свойства человеческой души,* — поскольку, следовательно, справедливо так часто повторявшееся изречение Тертуллиана, что душа человеческая—по природе христианка.

Но такому «толстовству» не нужны и вожаки. Об'единение совершается через Бога, общего Отца всех, и часто—поистине неисповедимыми Божескими путями, как это и случилось в так называемом «деле толстовцев» 1914—1917 гг.

В июле 1914 г. разразилась война войн, позорная мировая война. Как снег на голову, свалилась она большинству людей. Их делишки, писк и мещанское благополучие одних над нищенством других—все потонуло в реве войны,—в громе 42-х сантиметровых орудий и в тумане от клубов удушливых газов. Не ручьем, не рекой,—как бывало,—но морями полилась кровь,—морями, потому что состав армий невероятно возрос по сравнению с прошлыми временами: призваны были решительно все разряды «военнообязанных», начиная с 18-ти летнего возраста и кончая чуть-ли не 50-ти летним. И это во всех странах, из которых, кстати сказать, «вольнолюбивая» Англия не остановилась и перед наложением на себя уже обношенного другими нациями, но еще чуждого ей, ярма всеобщей воинской повинности.

Где же в этой грозе затерялись «толстовцы»? Как застала она их и как встретили они ее—последователи милосердного учения о любви ко всем людям, как к братьям?

И тут я не могу пройти молчаливо, прежде всего, мимо великого подвига жизни мучеников нового времени, наших братьев по всему лицу России, отказывавшихся по религиозным убеждениям от военной службы. Пропорционально размерам призыва, теперь шли на отказ уже не единицы и не десятки, как в предыдущие годы, а сотни, может быть—тысячи людей христианского жизнепонимания... (Я знаю *наверное* о сотнях). Отказывавшихся не останавливало и новое, увеличенное наказание за отказ: вместо прежних 4—5 лет арестантских рот, к которым приговаривали в мирное время, теперь—от 8 до 12, и даже до 20 лет каторги.

Что же это значит? Да только то, что духовная работа, возбужденная отчасти и Толстым,—продолжалась в человечестве, продолжалась и в русском народе. Когда призыв захватил огромные круги людей, даже и не ожидавших этого,—перед всеми, кто жил религиозной жизнью, кто стремился служить Богу и Христу (среди них были не одни «толстовцы», а также малеванцы, евангелики, субботники и представители других народных религиозных сект), встал вопрос: кому же продолжать служить — Богу или дьяволу? И лучшие люди бестрепетно пошли на неизбежную муку.

Но не в этом только, чисто пассивном протесте, выразилось отрицательное отношение религиозно настроенных людей к войне. В разных местах России были опубликованы христианские воззвания против войны, и в частности те два воззвания, которые и составляли предмет судебного разбирательства на так называемом «деле толстовцев» в 1916 г.

«Толстовство» вообще, по сравнению с другими свободными религиозными течениями (положим, баптизмом), очень мало склонно к пропаганде и прозелитизму. Сам основатель учения не имел этой склонности и не ценил, не поощрял ее в своих последователях. «Толстовство» усвоило евангельскую традицию о том, что никто не обратится, пока не призовет его Отец. А этот божественный призыв совершается в глубочайших тайниках человеческой души, недоступных поверхностному, постороннему влиянию.

Это не значит, конечно, чтобы «толстовцы» скрывали свои убеждения или замыкались в своей среде. Они прямо и откровенно высказывают при случае свою веру, но, кажется, еще ни один из них не сделал из проповеди, из пропаганды профессию.—«Не называйтесь учителями!.. »

И нужны были стечения обстоятельств, действительно, необыкновенные, чтобы понудить «толстовцев» на открытое выступление со словами вразумления к людям... к людям-ли?—быть может, столько же и к самим себе!...

Бывают случаи, когда молчать грех, когда вся несправедливость, весь ужас, все безумие жизни мира достигают крайних, непостижимых размеров, разрушающих всякую возможность молча-

ливого наблюдения и терпения, когда к горлу подступает удушье от страшного кошмара и—хочется громко крикнуть!

Тогда не надо молчать. И искренний человек всегда скажет, что молчание в подобный момент—это измена долгу человека и христианина. Надо крикнуть: человек чувствует, что в противном случае он потеряет самоуважение. Надо крикнуть, не размышляя даже о последствиях этого крика: сначала—долг, а потом—все остальное. Но если долг не исполнен, сердце человека не чисто и не открыто Богу,—в нем завелся гнусный червяк лицемерия. Нельзя промолчать в тот момент, когда *слово* — только произнесенное вслух, правдивое слово—приобретает, как кажется, высшую ценность; когда послужить людям словом становится важнее и дороже, чем служить им косой на лугу или плугом на пашне.

Таким исключительным моментом, вызывающим нарушить молчание, явилась для «толстовцев» мировая война, во всех отношениях совершенно исключительная.

Это была, прежде всего, *признанная* война, и при этом признанная далеко не теми только, кто ее начал, т.-е. правительствами европейских государств. Судя по тогдашним газетам, являвшимся до известной степени выразителями, а также и руководителями общественного мнения, война встречена была всеобщим радостным энтузиазмом, в котором об'единились все круги—от самых высших до самых низших, и все партии—от самых правых до самых левых. И, действительно, можно было нарочно заставить читать себе от доски до доски какую-нибудь газету, не открывая ее названия и имен авторов,—и нельзя было бы сказать, что это за газета: правая или левая, прогрессивная или самая черная. Все приняли один и тот же шовинистический, воинственный тон. «Бей немцев!»—так и слышался неистовый клик из каждого столбца самых «культурных» русских изданий, как в погромное время слышалось (если не в прямой, то в замаскированной форме) «Бей жидов!» с листов черной печати.

Главное, при этом уверялось, что так думает вся, решительно вся Россия, которая «встала, как один человек!»

Но и в самом деле: социалисты признали войну. В Германии, по крайней мере, те, кто провозглашал: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»—теперь готовы были воскликнуть: «Пролетарии всех стран, избивайте друг друга!»

Русский анархист, дотоле убежденнейший антимилитарист, старик Кропоткин признал войну.

Французский антимилитарист Густав Эрве преобразовал и переименовал свою мирную социалистическую газету «Guerre Sociale» («Гражданская война») в воинствующую «La Victoire» («Победа»).

Какое столпотворение!..

К сожалению, мы не знали еще, что наш друг, биограф Льва Николаевича П. И. Бирюков, проживавший в Швейцарии, уже выступал в то время на эмигрантских и других собраниях с речами против войны, обрушивая на себя пламенные филиппики возражавшего ему лидера меньшевиков Г. В. Плеханова; не знали, что уже 24 сентября 1914 г. наш английский единомышленник д-р Альфред Солтер напечатал в газете «Labour Leader» («Вождь Рабочих») замечательную, глубоко искреннюю и христианскую статью против войны, под названием «Война в Европе. (В чем состоит долг каждого христианина?)»; ничего не знали о позиции, занятой по отношению к войне Ромен Ролланом, нашим знаменитым единомышленником во Франции; не знали и о выделявшемся своим тоном на общем фоне охватившей народы взаимной национальной ненависти письме Артура Шницлера, опубликованном Р. Ролланом в «Journal de Jenève» и опровергавшем злостные выдумки газет о пренебрежительных будто бы отзывах немецкого писателя относительно *литератур* «враждебных» Германии стран*); не могли знать также и о подготовлявшемся в Италии и опубликованном в журнале «Coenobium», в январе 1915 г., антимилитаристическом обращении «Всенародного Бюро Мира» (за подписью президента г. Ла-Фонтена и секретаря Голея), «К интеллигентам мира»; не знали также и о том, что переживала душа пастора Вигмана в Швеции, позднее выступившего на широкую и самоотверженную антимилитаристическую проповедь...

Все эти проблески разума и совести в человечестве, одуренном в большинстве своем кровавым угаром войны, конечно, были бы великим утешением для нас, русских противников войны,— утешением, а также и поддержкой в том деле, которое мы за-

---

*) «Я узнал от русских,—писал Шницлер,—какие суждения о Толстом, Анатоле Франсе, Метерлинке и Шекспире приписывают мне газеты. В нормальное время никто, знающий меня, не поверил бы подобным нелепостям, но теперь весь мир ослеплен ненавистью, ожесточением и ложью. Негодяи, прикрывающиеся личиной патриотизма,—наиболее отвратительное явление настоящей войны,—могут очень затруднить жертвам их клеветы рассеять недоразумение. Только поэтому я вынужден заявить, что никогда в жизни я не мог бы сказать подобных абсурдов. Я чувствую себя униженным, когда должен уверять, что прекрасное для меня остается прекрасным и великим, даже если оно исходит от враждебной нации. Но,—таково время, в которое мы живем,—и я письменно удостоверяю, что считаю русского Толстого наиболее мощным поэтическим гением, когда-либо рождавшимся на земле, и Анатоля Франса—одним из самых острых умов. Метерлинк не потерял для меня своей благородной, мистической прелести. Что касается Шекспира, то нужно-ли мне даже говорить о своем преклонении перед ним? Ведь, даже еслибы война длилась целых тридцать лет,—все-таки по-прежнему не было бы достойной его похвалы и никакого подходящего мерила для его оценки. Когда наступит мир, мы с огорчением будем вспоминать то время, когда мы должны были кричать друг другу через границу: «Любя каждый свою родину, не будем терять окончательно рассудка и чувства справедливости и признательности».

мышляли. Но лишь много позже получены были нами сведения обо всех этих однородных с нашим выступлениях за-границей: цензурные условия не благоприятствовали распространению подобных сведений при начале войны. И в то время мы чувствовали себя буквально одинокими, как на маленьком островке посреди бушующего океана, грозившего затопить и нас самих.

Все обрушились на немцев: внешняя культура ничего-де им не дала! Но ведь и у нас процветала та же внешняя культура. И мы, с нашими казаками, дрались не менее жестоко, чем немцы...

Да, впрочем, разве в этом дело!..

Разве не одуренный общим безумствованием человек не чувствовал всей неизмеримой фальши оправданий войны,—всей той сознательной у одних и бессознательной у других лжи, которая при этом извергалась?!..

Мы,—кучка религиозных людей,—не верили ни той возвышенной цели, которую навязывали войне, ни тем средствам, которыми эта цель должна была быть достигнута.

Вся картина горя народного, *как последствия войны,* в грядущем проносилась перед нашим умственным взором. Картину этого горя в настоящем мы уже наблюдали повсюду,—как я ее наблюдал, проехав от Томска до Тулы по железной дороге во время мобилизации и на каждой станции слыша *похоронный* рев и стенанья, какими целые деревни провожали своих призываемых на войну.

Гибнут люди. Раздирают друг другу на войне лицо кровавыми лапами, порют животы штыками... Почему это?! Зачем?! За что?!..

И вот, не сговариваясь, один в Ясной Поляне (я говорю про себя), написал статью против войны и стал рассылать ее в редакции разных газет и в другие места; другой (Дудченко) в Полтаве составил открытое обращение против войны, с выражением ужаса перед нею; третий (Мут) вывесил воззвание против войны на заборах г. Крапивны; четвертый (Трегубов) метался и ездил по архиереям, ища ответа на вопрос, возможно ли христианам мириться с войною; пятый (Сергей Попов) писал письмо к воинскому начальнику с изложением своего религиозного и отрицающего войну миросозерцания...

Все это были отдельные попытки выразить и проявить *словесный* протест против войны, увлекшей всех. Мало-по-малу попытки эти концентрировались и, в конце концов, вылились в нечто общее, в воззвание, подписанное больше чем 40 человеками и отразившее уже отрицательный взгляд на войну не отдельной личности, а целой группы лиц, количество которых не приходилось, однако, ограничивать только числом подписавшихся. Подписавшие выступали как бы делегатами от имени остальных.

И не нужно тут было «вожаков». Напротив, те, кто мог счи-

таться «вожаками», не приняли участия в воззвании. Ближайший друг Льва Николаевича В. Г. Чертков захотел исполнить букву «толстовского» закона: отказаться от участия в пропаганде, не поддерживать *коллективного* выступления. Но разве можно было остановить *живую силу?*

Об'единение произошло помимо «вожаков» и доказало лишний раз: 1) живучесть, жизненность «толстовства» (христианства), *как мировоззрения*, и 2) ненужность «толстовства», *как секты, как партии.*

В самом деле, об'единились все неожиданно, просто, без начальственного приказа, по-братски, с тем, чтобы сделать доброе, душевное дело. Выполнили его—и недолгая организация так же естественно распалась, как естественно создалась, потому что в ней уже больше не было нужды. Так и должно быть. Когда надо, общая глава—Бог—поможет соединиться и внешне. До тех-же пор все только внутренно, в Боге, об'единены, и никакие внешние формы этого об'единения не нужны.

«Толстовцам» было совершенно все равно, кто начнет войну против войны и прежде всех провозгласит призыв к миру. Если бы это сделала православная, или другая какая-нибудь церковь, мы с радостью примкнули бы к прекрасному движению. Но все церкви молчали. Один только папа Пий X-й, на просьбу австрийцев «благословить их оружие», ответил, что он благословляет только мир. Но и этот поступок можно приравнять лишь к желанию уклониться от прямого участия в деле войны, а не к протесту против этого дела и не к открытому порицанию его.

Молчали и все христианские секты: у нас в России баптисты, соловьевцы, добролюбовцы, субботники, молокане, малеванцы...

Почему же?

Что касается больших церквей, то каждая из них была настолько связана с соответствующим государством, что выступить против этого государства никак не могла решиться. Напротив, пастыри православной, католической, англиканской и лютеранской церквей усердно молились Богу (явно показывая тем, до чего извращено в их представлении понятие о Боге) о даровании победы именно их народам. Они сопутствовали войскам и с крестом в руках вели их в сражения.

У нас в России, из числа сектантов баптисты, евангелисты, пашковцы также никогда не решались прямо определить свое отношение к убийству на войне. Отдельные из баптистов отказывались от военной службы, но вся секта, пользуясь привилегией не запрещаемой, свободной проповеди и легализовавшись у правительства, тем самым лишилась независимости своей духовной жизни и не могла считаться свободной от подслуживанья властям.

Добролюбовцы, имеющие в своей среде высокоодаренных, искренних и чистых людей, не пожелали изменить одной из глав-

ных заповедей своих —заповеди молчания и, живя в глуши деревень мудрой, воздержанной, праведной жизнью, так и остались в годину совершенно исключительного общечеловеческого бедствия обособленными единицами, чуждыми мирскому горю. Они как бы поставили себе неблагодарной задачей опровергнуть то положение, что религиозный человек, кладя все силы души на самоусовершенствование, живет в сущности *мировой душой* и не может быть вполне спокоен и счастлив, когда этого спокойствия и счастья лишены другие братья—люди.

Соловьевцы—плоть от плоти и кость от кости русского интеллигентчества —признали войну, мистически, с примесью славянофильских разговоров о Царьграде и пр., осветив ее смысл. На тему о *смысле войны* (!) в московском религиозно-философском обществе имени Вл. Соловьева был прочитан ряд напыщенных рефератов Сергеем Булгаковым, Эрном, Рачинским и другими «нэохристианами». Также и близкий к соловьевцам некоторыми сторонами своего миросозерцания Мережковский признал войну.

Народные секты—Новый Израиль, молокане, малеванцы, субботники и др.—не выступали теперь, как не выступали они на широкую общественную арену и прежде. Привыкши прятаться от постоянно мешавшего их свободному религиозному развитию всевидящего ока правительства, эти скромные общины продолжали и во время войны жить *каждая* прежней замкнутой в *себе* жизнью. Не пытаясь охватить событий в их мировом значении, не прислушиваясь к биению мирового пульса, эти общины продолжали хранить про себя принадлежащее им драгоценное зерно религиозной истины и довольствовались тем, что любовались им втихомолку.

Далее, умственное течение, которое протестовало бы против названия его сектой, но которое по существу является таковой,—теософия,—тоже, как и соловьевцы, установило очень странный, полу-мистический взгляд на войну, которая признавалась, в силу сомнительного правила: «все есть осуществление должного». Теософы, конечно, считали, что война прибавила «дурных вибраций» в духовной жизни мира, но ни о каком протесте, могущем послужить толчком или началом для рождения и укрепления противоположных дурным «добрых вибраций», эта отвлеченная и полуфантастическая доктрина, конечно, не помышляла. «Добрые вибрации, как и дурные, сами должны найти свое воплощение»,—рассуждает теософ. Совершенно верно! Но если это воплощение так-таки не осуществляется, то значит,—либо вибрации не обладают мощью, либо развитие их искусственно задерживается. Допускаю относительно теософии, как умственного движения, и то, и другое. В самом деле, теософия слишком отвлеченна, чтобы, с одной стороны, быть активной, с другой—не покоряться букве.

Наконец, можно было возлагать надежды, как на друзей и глашатаев мира, на так называемые «Общества мира». Но, право, к ним и в мирное-то время трудно было серьезно относиться, до такой степени нелепо их основное положение, что война сама уничтожит войну крайним усовершенствованием орудий истребления. В военное же время, как и следовало ожидать, деятельность «Обществ мира» свелась в буквальном смысле к нолю, ибо и самое учение их о том, что война станет невозможной вследствие усовершенствования ее орудий, было окончательно и, повидимому, навсегда подорвано ужасной мировой войной с ее гигантскими пушками, удушливыми газами, аэропланами, цеппелинами, автомобилями-броневиками, танками, подводными лодками, минами и т. д. и т. д. «Общества мира», в самом начале мировой войны, быстро сжались и испарились.

О людях политического мышления—с.-д., Кропоткине,—мы уже говорили выше. Когда политические или экономические интересы выдвигаются впереди духовных, то в известный момент человеческая личность со всем ее духовным содержанием приносится в жертву выгоде. Эту жертву, оказавшуюся все-таки напрасной, ибо Россия была бита, принесли в эту войну большинство с.-д., национ.-р., Кропоткин и другие люди политического образа мышления.

Великий правдолюбец и бесстрашный обличитель всякого насилия, провозгласивший в период казней свое «Не могу молчать!» и во время Японской войны «Одумайтесь!»—спал вечным сном и не мог возвысить своего голоса...

Слово оставалось за его последователями, число которых не падало со смертью учителя, а возрастало.

Слово оставалось за ними не только потому, что все кругом молчало, но и в силу особых свойств так называемого «толстовского» мировоззрения.

Мировоззрение это базируется на более реальной основе, чем, положим, добролюбовство или теософия. На постоянной привязи у Бога, как у надежного столпа, последователи Льва Николаевича (если говорить о них, как об общем типе), никогда не спускают глаз с обыденных условий действительности, мечтая и стремясь хоть сколько-нибудь преобразить эту действительность Богом. Может быть, не будет неверным, если мы к любому из них применим слова Р. Роллана, сказанные им о самом Толстом: «Он не обладал эгоизмом мыслителя-мистика, слишком занятого своим собственным спасением, чтобы думать о спасении других». Чуждые мистицизма, покрывающего и принижающего разум, «толстовцы» хотят оставаться верными мистицизму совести.

Наконец, отношение «толстовцев» к войне и ко всякому насилию вообще более определенно, чем у какой бы то ни было другой группы (не говоря о меннонитах, о переселившихся в Аме-

ГОСУДАРСТВ. ПУБЛИЧНАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА
491228

рику духоборах и об английских квакерах). Насилие—это идол, против которого особенно восстает все «толстовство» и с которым всяческими путями особенно деятельно боролся инициатор общего «толстовского» воззвания Иван Михайлович Трегубов, написавший на своем знамени слова: «любовь без насилия». Недаром и либеральный, но безрелигиозный, исследователь народных религиозных течений г. Пругавин в своих статьях иронически окрестил «толстовцев» «непротивленышами».

И «толстовцы» произнесли слово протеста против войны. Изнемогая под гнетом всеобщего покорного молчания перед лицом творившегося кошмара, они взяли на себя задачу крикнуть миру (хотя бы этот крик был «комариным писком», как отмечалось на процессе):

— Стой, остановись! Опомнись! Брось мечь, вымой обагренные кровью руки... «Друг друга обымем! Рцем: братие!...»

И последствием этого крика для «толстовцев» был ряд испытаний, дорогих для них, как самое важное в жизни—наука жизни,—как те, оправдывающие жизнь религиозного человека моменты, когда он чувствует слияние своей воли с волей Божьей.

И об этих испытаниях здесь будет рассказано.

Часть первая.

Возникновение воззваний.

ГЛАВА I.

НАСТРОЕНИЯ, ВЫЗВАННЫЕ ВОЙНОЙ СРЕДИ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ Л. Н. ТОЛСТОГО.

Можно было заранее предположить, что разразившаяся в июле 1914 года война не найдет сочувствия среди единомышленников Л. Н. Толстого. Отсутствие прямых материальных целей в мировоззрении Л. Н. Толстого —с одной сторны, и категорическое отрицание насилия во всех решительно случаях жизни —с другой,—казалось, составляли почву, на которой обречены были на гибель всякие семена милитаризма. Настроенные в духе религиозного анархизма, единомышленники Л. Н. Толстого не могли соблазниться теми мнимо-идеалистическими целями войны, которые вокружили все головы, продолжавшие оставаться в рамках государственного и общественного мышления.

Идеологи войны сулили необычайный расцвет русскому государству, в случае успеха войны и поражения немецкого милитаризма. Но что могли значить эти посулы для людей, двигавшихся,—хотя бы и слабыми, неуверенными шагами,—за тем, кто сказал: «царство мое не от мира сего?» для людей, из чьей среды к тому времени вышел уже не один десяток чистой и самоотверженной молодежи, отказывавшейся по религиозным убеждениям от военной службы и бестрепетно, в великом духовном напряжении, переносившей тяготы заключения в дисциплинарных батальонах и арестантских ротах?

Ведь среди того разряда людей, который выдвинул этих новых христианских мучеников, отказ от всяких внешних, материальных преимуществ, завоевывавшихся якобы войной, считался одним из прекраснейших и желаннейших поступков; ими ценилась только *истинная,* духовная свобода, которой никто и ни при каких условиях не может отнять у человека; всякий общественный прогресс мыслился ими не иначе, как при условии неуклонного выполнения каждым отдельным человеком законов совести и разума, а эти законы по отношению к другим людям повелевают следовать только правилу: «как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними»; далее, на-

циональных границ и различий единомышленники Толстого не признавали, все люди *искренно* считались ими братьями, и для них казалась немыслимой иная точка зрения; наконец, ими утверждалось, что все вообще войны зачинаются не самими народами, а только их правительствами, преследующими свои корыстолюбивые и честолюбивые цели,—народы же, в худшем случае, лишь косвенно виноваты в войне»,—тем, что они потворствуют правительствам, и потворствуют-опять-таки благодаря низкой степени, на которой находится уровень их нравственного сознания.

Словом, является бесспорной истиной, что люди общественного и религиозного жизнепонимания мыслят в двух различных плоскостях, и то, что представляется важным для одних, кажется несущественным для других, и наоборот. Очевидно, что такое же различие существует в подходе людей того и другого жизнепонимания к вопросу о войне.

В своей статье «О войне», написанной в начале сентября 1914 года, я пытался так определить это различие:

«На войну возможны два взгляда. Один—тех, кто на историю существования человечества смотрит как на бесконечный ряд постоянно возобновляющихся и сменяющихся механических передвижений народов и перегруппировок сил. Мотивы этих передвижений и двигатели перегруппировок: по большей части—корысть, т.-е. стремление к территориальным захватам или завоеванию торговых рынков, династические интересы, неестественно взвинченное национальное самолюбие, редко—дела вероисповедные и почти никогда—побуждения человеколюбия: освобождение рабов, защита слабых. Для представителей такого миропонимания дело войны есть дело простого арифметического расчета: соображения о возможных выигрыше и проигрыше, сравнения их и, в результате сравнения, соответствующих действий. Тысячи людей жертвуются без всякой сентиментальности, когда арифметический расчет,—сделанный правильно или нет, все равно,—показывает, что приносимая жертва стоит ожидаемой прибыли. Несчастных убитых не спрашивают, велико ли было их желание умирать. А если бы решили спрашивать, то, право, это бы не значило, что ответами на самом деле интересуются. Нет, при арифметическом расчете, двигающем войны, солдаты—это **chair à canon, пушечное мясо.**

Другой взгляд принадлежит тем, для кого история человечества есть история нравственного прогресса человеческой души и, вместе с тем, человеческих отношений. Они глядят не сверху и не снаружи на жизнь человеческую, а извнутри. Их точка зрения—религиозная,—не выдуманная какая-нибудь, а извечно присущая человеку и лишь временно могущая быть заглушенной в нем. Согласно этой точке зрения, люди - братья, как носители единого божественного начала, душа у всех одна и та же. Идеал человеческих отношений—взаимная любовь, такая, как-будто все—самые кровно близкие. Для людей, *так* верующих, война,

убийство человека себе подобного составляет низшую степень падения и греховности, все равно, чем бы убийство ни было вызвано. Убийство для человека всегда—возвращение к животному состоянию: когда для решения спора в ход пускаются клыки, не может быть речи о духовности. Поэтому-то для души человеческой, поднявшейся на свойственную ей высоту, становится неприемлемым, невозможным убийство, все равно—ради какой бы то ни было цели,—не говоря уже о грубой цели—корысти, о фальшивых и призрачных в существе своем целях националистических и вероисповедных и тем более—о соображениях династического характера, уже отмирающих в современных войнах...

Вопросы пользы, вопросы арифметического расчета не могут иметь никакого отношения к суждению о человеческой жизни. Всякая жизнь,—хотя бы самая скверная и злая,—драгоценность уже потому только, что она—*жизнь,* жизнь, данная тому, кто ее имеет, не нами, но Высшей Волей и потому не могущая быть нами отнятой».

Несомненно, что этот второй взгляд, в тех или иных выражениях формулированный, и составляет главную основу (или: первое следствие) религиозного мировоззрения.

Таким образом, становится ясно, что отступление от этого взгляда, ради мнимо-идеалистических целей войны 1914 года, для единомышленников Л. Н. Толстого было по существу невозможно.

Так это в теории.

Что же было на практике?

Проживая в Ясной Поляне, по близости от неоффициального штаба «толстовства»»—дома Чертковых, в дер. Телятенки, я мог наблюдать те настроения, какими охвачены были единомышленники Льва Николаевича при начале войны.

Конечно, для большинства из них вопрос о нравственной допустимости и целесообразности и этой войны решался резко—отрицательно, при чем для тех, кому предстоял призыв, вопрос об отношении к войне прямо заменялся вопросом об отказе от военной службы и о тюрьме.

Прямого признания или «приятия» войны я не наблюдал ни у кого из единомышленников. Но колебания были. И колебания эти, сколько мне приходилось наблюдать, обусловливались, главным образом, и угнетающим, и гипнотизирующим в одно и то же время влиянием на более неустановившихся поведения иностранных и русских социалистов, Кропоткина, Эрве, словом — всех бывших антимилитаристов, одобривших «освободительную», «священную» войну против мнимого германского ига. Отступничество этих людей и целых партий от разделявшихся ими идей пасифизма производило довольно сильное впечатление и вносило,—хотя и глухое и сравнительно мало заметное,—но все же расстройство в дружную среду последователей свободно-религиозного мировоззрения Льва Толстого.

Колебание некоторых, не больше,—вот все, что безумная

интеллигентская агитация за войну успела привнести в «толстовство». Но колебание, так или иначе, было на-лицо. И на оставшихся твердыми оно производило очень тяжелое впечатление.

Чувствовалась смутная потребность в какой-то взаимной поддержке, в каком-то новом, общем подтверждении и публичном исповедании веры,—с целью избежать грозивших духовного разложения и смерти.

Возможно, что при наличии свободы печати мы услыхали бы смелые и сильные голоса против войны. Голоса эти прозвучали бы серебряным звоном архангеловой трубы и собрали бы во- едино, сплотили бы всех тех, кто в ужасе отворачивался от предложения перешагнуть через моря человеческой крови для достижения как их-то призрачных идеалов внешнего освобождения и чисто-жи отного благополучия. Но в том-то и дело, что протестующим олосам негде было даже и раздаться. Милитаристическая печать торжествовала и неистовствовала, и создавалось такое впечатление, как-будто, действительно, нет никого, решительно никого, кто стоит на противоположной точке зрения.

В воздухе носилась ложь, грозившая затопить и уничтожить последние зародыши правды. При таких условиях полная пассивность и молчание людей, не поддававшихся гипнозу лжи, воспринимались душой как что-то оскорбляющее ее и уничтожающее человека.—Если оставшаяся верной законам совести и разума мысль не находила выхода в свободном слове,—каким бы преследованиям ни подвергали за это тело человека,—на что же, в таком случае, нужна была и эта мысль, и для чего вложены в человеческое существо совесть и разум?

«Мы мало протестуем против войны»,—сказал мне как-то один из молодых людей, работавших в доме Чертковых (Анатолий Медведев, ныне умерший). И он так сказал эти слова, что не надо было подробно раз'яснять их. И мой собрат по вере, и я одинаково сознавали в эту минуту, что что-то стыдное и грешное заключается в нашем положении, положении людей, всей душой отвергающих войну и молчащих об этом.

Но до такой степени сильны были в «толстовстве» индивидуализм и предвзятость против всякой нарочитой пропаганды, в особенности же против каких бы то ни было действий скопом, что в первое время даже мысль о воззвании, да еще о совместном, никому из нас и в голову не приходила.

Однако, таковы веления действительности и голос психологической закономерности, что когда В. Г. Чертков привез из Москвы копию с обвинительного акта по делу двух социал-демократов, адвоката и его письмоводителя, обвинявшихся в составлении воззвания против войны,—мы все, группировавшиеся вокруг Телятенок,—с величайшим интересом отнеслись к этому документу, полученному Чертковым от защитника подсудимых Н. К. Муравьева. Правда, революционный тон социал-демократического воззвания, и в особенности кроваво-крикливые ло-

зунги, которыми оно заканчивалось, были совершенно чужды нам, напоминая ту же воинствующую против немцев печать, но самая попытка протестовать, так или иначе, против войны,— вызвала во всех нас глубокое сочувствие.

Вскоре после того я пробовал заговаривать кое с кем из единомышленников о выпуске собственного воззвания. Но чуждая «толстовскому» сознанию мысль очень робко пробивала себе дорогу и вызывала большие сомнения, а иногда и полную уверенность в ненужности, бесплодности и неосуществимости такого пути борьбы с войной. Помню, с каким равнодушием и дружеской снисходительностью к неосновательности моего предложения отнесся к мысли о воззвании один из самых яростных впоследствии пропагандистов против войны, не только присоединившийся к одному из наших воззваний, но и сам составивший два воззвания, свидетель по нашему делу Сергей Булыгин.

Но события шли и развивались. Набегали и развивались и мысли в голове по поводу этих событий, хотелось выразить их. Я попытался сделать это в форме цитированной уже мною выше статьи «О войне».

Статья написана была в резких, определенных тонах и заканчивалась призывом ко всем, «оставшимся верными братской любви людей между собою, сплотиться и об'явить беспощадную войну злому суеверию—суеверию войны, убийства, насилия! И верить, что не там, где война, убийство и насилие, а с нами—Бог!»

У Чертковых устроено было маленькое собрание, на котором я прочел статью. Помню, читая, я невольно разволновался, так что заключительные строки прочел, едва удерживаясь от слез...

По прочтении ряд лиц, в том числе приехавший из Новгорода известный последователь Л. Н. Толстого и его усердный корреспондент В. А. Молочников, высказался очень сочувственно по поводу заключавшихся в статье мыслей.

Мне был особенно интересно узнать мнение нашего старшего друга В. Г. Черткова, также присутствовавшего на чтении, но последний, молча прослушав статью, по окончании чтения тотчас встал и вышел, не произнеся почему-то ни слова. Правда, непосредственно вслед за этим, Владимир Григорьевич сам принялся за изложение и обработку своих мыслей о войне, которыми и делился после с некоторыми из своих сотрудников.

Я решился хоть в небольшом количестве экземпляров распространить свою статью. Вместе с несколькими друзьями, мы размножили ее в копиях на ремингтоне, и затем я, подписав каждый экземпляр собственноручно, стал рассылать статью в разные места: некоторым единомышленникам, особенно живущим группами, в редакции газет, в «Общество мира», в Московское и Петербургское Толстовские общества и т. д. Это была с моей стороны маленькая демонстрация, враждебная войне.

Я предполагал, что очень скоро одно из моих писем с вложенной статьей будет вскрыто где-нибудь на почте, и тогда меня посадят в тюрьму. Но, право, в то время подобный исход дела представлялся мне только средством к облегчению моего душевного состояния, удрученного военными событиями и сознанием виновности в молчаливом отношении ко всему происходившему.— Запрут в тюрьму, и хоть тогда уменьшится это чувство ответственности во всех происходящих ужасах, ибо тогда уже будешь связан по рукам и по ногам...

Редакции «Русского Слова» и «Русских Ведомостей» прислали мне статью обратно. Меня удивила сопроводительная записка секретаря редакции «Русского Слова» (от 15 сентября 1914 года), в которой говорилось, что «редакция благодарит за присланную статью, но воспользоваться ею не имеет возможности». Да разве я на это расчитывал!

Из Полтавской губ. пришло известие, что статья читалась вслух в собрании единомышленников на хуторе одного из убежденнейших последователей Л. Н. Толстого и его друга М. С. Дудченко. Как сообщал Дудченко, статья «многим пришлась по сердцу» и после прочтения успешно распространялась в Полтаве *).

ГЛАВА II.

«НАШЕ ОТКРЫТОЕ СЛОВО» М. С. ДУДЧЕНКО.

В то время, как в центре внешнего скопления «толстовцев»—в доме Чертковых и вообще в окрестностях Ясной Поляны—не было сделано при самом начале войны никаких определенных шагов к подготовке коллективного антимилитаристского выступления, в Полтаве над этим усердно трудился старый друг и единомышленник Льва Николаевича М. С. Дудченко (род. в 1867 г.).

Еще до вступления России в войну, при самом зарождении враждебного конфликта между Австрией и Сербией, Дудченко случилось проходить по одной из полтавских улиц. При этом он неожиданно наткнулся на «патриотическую» манифестацию.

Глядя на безобразное, по его характеристике, зрелище, Дудченко подумал:

— Вот—одно из верных средств для разжигания страстей и источник, приводящий к войне!

Ему захотелось что-нибудь противопоставить влиянию манифестации и вообще разгоравшемуся со дня на день воинственному одурению людей. Но что же можно было сделать? Дудченко решил, что надо воспользоваться печатным словом—газетами.

---

*) После «февральской» революции В. А. Поссе, неожиданно для меня, напечатал мою статью «О войне» в 4-ой книге (май) журнала «Жизнь для Всех» за 1917 г.,—и только тогда я припомнил, что в свое время статья была послана мною и в редакцию «Жизни для Всех».

Увлеченный этой мыслью, он забросил текущие сельско-хозяйственные работы на хуторе и принялся ходить по редакциям полтавских газет, предлагая им напечатать следующее, составленное им заявление:

«Я, нижеподписавшийся, во имя требований своего христианского сознания и требований своего сердца, содрагающегося от всякого насилия и убийства, считаю своей нравственной обязанностью выразить перед лицом мыслящих людей всего мира свое искреннее возмущение и порицание происходящей теперь братоубийственной войне, как тому ужасному нечеловеческому делу, которое не только противоречит христианству, исповедуемому нами, но по своей неразумности и жестокости ставит человека воистину ниже уровня всяких зверей».

М. С. Дудченко обращался с просьбой о напечатании этого заявления к редакциям всех газет—правых и левых. Не трудно было ожидать, что везде просьбы его встречались отказом. И только редакция оффициозного «Полтавского Вестника» предложила Дудченко любопытную комбинацию: она соглашалась напечатать заявление, но... с маленьким изменением, именно, чтобы было указано, как на виновников войны, на Австрию и Германию, по адресу которых и отнесены были бы тогда протестующие выражения заявления (или «телеграммы», как почему-то называл свое заявление Дудченко). Нечего и говорить, что старый «толстовец» отказался от любезности «Полтавского Вестника», обусловленной подобного рода изменением текста заявления.

Таким образом, попытка опубликовать заявление в газетах потерпела неудачу. Тогда Дудченко обратился к членам местного Вегетарианского Общества, с предложением присоединить свои подписи к протесту и опубликовать его каким-нибудь образом уже не от одного лица, а от имени группы людей. Но и тут его ожидало разочарование. Вегетарианцы выразили сочувствие содержанию протеста, но тем не менее категорически отказались от подписания его, находя, что протест горсти людей против войны бесполезен, что один в поле не воин и т. д. Дудченко, по его словам, не пытался разубеждать их. Для него ясно было, что «для большинства не существовало нравственной необходимости того выступления, которое его самого привлекало даже независимо от практических последствий, а как красивый поступок—как то, чего нельзя не делать».

Однако, он не угомонился. Привлекши к подписям на первых порах трех своих полтавских друзей—д-ра А. А. Волькенштейна (мужа известной революционерки), М. Эльберта и К. Грекова (при чем, в связи с этим, начало обращения «Я нижеподписавшийся» меняется на «Мы нижеподписавшиеся»),—Дудченко решает придать более широкую огласку заявлению при помощи Московского Вегетарианского общества. Он составляет соответствующую депешу на имя Общества, со включением полного текста заявления, и подает ее на телеграф. Увы!—полтавский

телеграф отказывается принять депешу, в виду несоответствия ее содержания с текущим моментом.

Делать нечего, Дудченко ограничивается тем, что заказными письмами посылает копию заявления виднейшим членам Московского Вегетарианского Общества В. Г. Черткову в Телятенки и И. И. Горбунову-Посадову в Москву. Те не торопятся отвечать.

Между тем Дудченко, начав дело, не мог уже оставаться в пассивном состоянии. Пассивность казалась ему «близко граничащей с равнодушием». Он начинает отыскивать людей, разделяющих его настроение, и исключительно с этою целью предпринимает даже поездку в г. Екатеринослав и Екатеринославскую губернию, где довольно сильно развито влияние идей Толстого.

М. С. Дудченко до такой степени был увлечен своим начинанием, что, по его словам, верил даже в возможность «затушить начавшийся пожар, усиленно раздуваемый разными хищниками и обманщиками». Во время путешествия вера эта возросла и укрепилась в нем. С дороги он посылает копии заявления еще нескольким лицам, в том числе известному единомышленнику Л. Н. Толстого—Е. И. Попову в Москву и упоминавшемуся мною Анатолию Медведеву в Телятенки.

В г. Екатеринославе противувоенное заявление Дудченко встретило горячее сочувствие, особенно среди тех людей, из которых многие впоследствии по религиозным убеждениям отказались от военной службы. Здесь была выработана окончательная редакция заявления и собрано большое количество новых подписей.

Ободренный дружеской поддержкой екатеринославцев, Дудченко, по возвращении в Полтаву, с удвоенной энергией отдался распространению заявления, которое с этих пор получило новое заглавие: «Наше открытое слово». Число подписей под заявлением постепенно возросло почти до 100. Тут были представители разных вер, положений и национальностей: православные, сектанты, русские, евреи, крестьяне, интеллигенты, даже аристократы и т. д. По этому поводу М. С. Дудченко впоследствии писал:

«Это ясно указывало на то, какое ничтожное значение могло иметь здесь воздействие, заражение других, и что подобные поступки становились возможными только потому, что они имели свое основание где-то внутри. Мне думалось тогда, что это внутреннее требование, эта потребность в мире душевном на ряду с потребностью в мирных отношениях с окружающими,—что она свойственна гораздо большему кругу людей, чем это кажется по внешнему. Думаю даже, что и военные люди, находящиеся под непосредственным гипнозом дисциплины, самым действительным образом могут быть обезоружены этой внутренней силой, исходящей от Бога—«Отца светов»,—лишь бы они довериились ей. Поэтому-то для меня казалось очевидным, что единственное средство для того, чтобы «на земле был мир и в чело-

веках благоволение», состоит ни в чем ином, как только в том, чтобы люди были верны самим себе и открыто выражали бы то, что у них на душе».

В Телятенках присланное М. С. Дудченко заявление совсем не нашло того сочувственного отклика, какой оно встретило в Екатеринославе. Виною этого в значительной степени была не вполне удачная, слишком краткая, вялая и невыразительная редакция заявления. Ответить поскорее Дудченко никто не удосужился, и он прислал обиженное письмо, с упреками по адресу равнодушных «телятенцев». После этого А. Медведев изложил Дудченко соображения о неудовлетворительности формы заявления.

Дудченко поспешил прислать новую редакцию заявления, сопроводив ее следующим письмом на мое имя (полученным мною 21 сентября 1914 г.):

«Посылаю тебе и твоим друзьям «Наше открытое слово», которое в несколько иной, первоначальной редакции (телеграммы) циркулировало уже давно и не вызвало, к сожалению, никакого отголоска в вашей среде. Надеюсь теперь, что ты и многие другие, придающие цену всякой открытости, присоединитесь к этому заявлению и сделаете все, что возможно, для его распространения,—не для пропаганды, а для распространения среди тех, кому будет *приятно* участвовать в нем. Составлено оно, кажется, так, что в нем нет внешнего или агитаторского тона, и поэтому подпишутся там только те люди, у которых «от избытка будут говорить уста».—Я, с своей стороны, отправляю это слово во все места земли русской и кой-куда за-границу. Хорошо бы отправить и в лучшие газеты. Пишите немедля».

Уже в этом письме намечается противоречие в определении Дудченко цели соответственного им заявления,—то противоречие, которое впоследствии так ярко выступило во всех его показаниях на судебном следствии по поводу участия его в другом обращении—«Опомнитесь, люди—братья». Из этого противоречия Дудченко никак не мог выпутаться до самого окончания «дела» толстовцев». С одной стороны, указывается, что заявление предназначается «не для пропаганды, а для распространения среди тех, кому будет *приятно* участвовать в нем», т. е., очевидно, для распространения среди более или менее единомышленных кругов; с другой: «отправляю это слово во все места земли русской и кой-куда за-границу, хорошо бы отправить и в русские газеты».

Казалось-бы, что вообще всякие воззвания, заявления и обращения пишутся именно для того, чтобы затем быть распространенными. Очевидно, в этом отношении не должно было составить исключения и «Наше открытое слово». Между тем, его инициатор и составитель, собираясь действительно широко распространить обращение, в то же время уверяет, что оно пред-

назначено не для пропаганды, а только для подписи тех, кому это «приятно». Неужели же одно только самоуслаждение подписывающих являлось целью и назначением обращения? Если так, то невелика была его цена.

Так рассуждали мы в Телятенках. Тем не менее, четверо из нас все-таки подписали заявление, имевшее в своей окончательной редакции следующий вид:

«НАШЕ ОТКРЫТОЕ СЛОВО.

«Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих и гонящих вас».

(Еванг. от Матф., 5 гл.).

Мы, нижеподписавшиеся, во имя требований своего христианского сознания и требований своего сердца, содрагающегося от всякого насилия и убийства, считаем своей нравственной обязанностью выразить перед лицом мыслящих людей всего мира свое искреннее возмущение и порицание происходящей теперь братоубийственной войне, как тому нечеловеческому делу, которое не только противоречит христианству, исповедуемому нами, но по своей неразумности и жестокости ставит человека воистину ниже зверей.

Чувствуя свое участие и свою ответственность перед тем, что совершается вокруг нас, будем верны самим себе и тем заветам братства и любви, которые наилучшим образом выражены Иисусом Христом в притче о Милосердном Самарянине.

И будем помнить, что истинное благо нашей собственной жизни, как и благо жизни всего человечества,—не в борьбе и насилии, а только в одном том, чтобы мы поступали с другими так, как хотели бы, чтобы с нами поступали люди».

Под тем экземпляром обращения, который был у меня в руках, стояли следующие подписи:

М. Дудченко, А. Волькенштейн, М. Эльберт, А. Иконников, Ф. Граубергер, Е. Могила, И. Могила, М. Богданова, Д. Горький, И. Трегубов, С. Антонов, И. Новикова, И. Юдкин, М. Утевский, И. Миндаль, Е. Дымшиц, Р. Ихенгольц, Илья Зун, Аркадий Манулам, И. Лейкин, Я. Этник, С. Манулам, П. Луценко, О. И. Нестроева, И. Альтшулер, А. Этлина, Б. Этлин, Т. Юдкин, Р. Штейнк, Э. Альтшулер, М. Зеликман, С. Миллер, С. Абрамов, Б. Дрейзина, К. Греков, Е. Задорожная, Ф. Репьях, Т. Понятовская, И. Дудченко, П. Балеев, В. Балеев, Е. Бондаренко, Н. Бочаров, С. Нижегородцев, Л. Дрейзин.

В Телятенках подписались: Ал. Молочников, Пав. Олешкевич, Алексей Сергеенко и я. Мною сделана была следующая при-

писка: «Свое отношение к ужасной, невероятной бойне, которой мы являемся свидетелями, я уже выразил в статье «О войне», разосланной в разные места, и потому, когда прочел настоящее обращение, поколебался, было, подписывать его. Но внутреннее чувство подсказало, что против так называемой войны нужно и можно кричать и протестовать не один и не два раза, а всюду и всегда, и во всех, не противоречащих совести, формах. Исходя из этого, присоединяю здесь и свою подпись».

Позже я видел под воззванием подписи: Ольга Волькенштейн, П. Ивановская, А. Малышева, И. Перпер, М. Пудавов, Е. Плюревская, Г. Линденберг, В. Кисломед, Г. Дмитренко, А. Кирпиченко, П. Винниченко, В. Кравченко, М. И. Дудченко.

Распространение «Нашего открытого слова»,—по свидетельству М. С. Дудченко,—совершенно не носило сколько-нибудь демонстративного характера. Оно лишь являлось как бы живым подтверждением того несомненного факта, что есть на свете люди, которые войну считают и не нужной, и не должной. И, конечно, подтверждение такое «не могло не иметь жизненного значения, так как оно прямо опровергало собой то ложное утверждение политиков, что будто бы война увлекательна и нужна не им лишь самим и разным хищникам, а всему народу».

Власти в первый раз узнали о существовании «Нашего открытого слова» от самого составителя, который на допросе по поводу подписанного им позже воззвания «Опомнитесь, люди-братья», «счел нужным откровенно рассказать все существенное, относящееся к появлению телеграммы, и, таким образом, познакомить жандармов со своим настроением». Как полагает М. С. Дудченко, его «открытость обезоружила их»: несмотря на сделанное уже, будто-бы, распоряжение об его аресте, в тот день он благополучно отправился из Полтавы домой, на хутор.

Но одновременно с этим, как рассказывает М. С. Дудченко, немедленно были сделаны обыски еще у некоторых его друзей, у одного из которых, а именно у Е. Ф. Могилы, был найден, наконец, один экземпляр «Нашего открытого слова». Могила немедленно был арестован, а у Дудченко снова произвели обыск, но, как и в первый раз, ничего не нашли. Тем не менее, скоро арестовали и его.

В полтавской тюрьме Могила и Дудченко (которого власти считали главой местного кружка «толстовцев»), пробыли 1½ месяца, в течение которых длилось предварительное следствие по их делу. По окончании следствия, оба они переданы были в распоряжение полтавского губернатора, который решил (22 января 1915 г.), не доводя дело до суда, выслать Дудченко и Могилу из пределов Полтавской губ. на все время действия положения о чрезвычайной охране.

Как предполагали некоторые, столь благополучное сравни-

тельно окончание дела обусловливалось тем обстоятельством, что среди подписавших обращение «Наше открытое слово» находился кое-кто из «друзей губернатора».

Дудченко избрал местом своего жительства г. Павлодар, Екатеринославской губ., куда и выехал по проходному свидетельству полтавского полицеймейстера от 25 января 1915 г. Но, по приезде в Павлодар, выяснилось, что екатеринославский губернатор, в свою очередь, не желает разрешить Дудченко проживание в пределах Екатеринославской губ. Тогда Дудченко направился в г. Острогожск, Воронежской губ., «с тайной надеждой на то, что здесь ему удастся пожить спокойнее и отдохнуть». Но судьба обманула его расчеты: в Острогожске его ждала тюрьма,—и при том в гораздо более худших условиях, чем в Полтаве,—за подписание воззвания «Опомнитесь, люди-братья».

Несомненно, что инициатива М. С. Дудченко не осталась бесследной, и обращение «Наше открытое слово» сплотило до известной степени вокруг себя единомышленников Л. Н. Толстого в Полтавской и Екатеринославской губерниях, среди которых оно было распространено. Но все-таки обращение это далеко не приобрело того всеобщего для единомышленников Толстого значения и той широкой общественной известности, какие выпали на долю обращения «Опомнитесь, люди-братья», а также на долю подписанного только тремя лицами обращения «Милые братья и сестры». Полтавское обращение явилось только как-бы предтечей этих двух новых обращений.

ГЛАВА III.

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ВОЗЗВАНИЯ «ОПОМНИТЕСЬ, ЛЮДИ-БРАТЬЯ!»

В числе лиц, подписавших полтавское «Наше открытое слово», был также старый друг и единомышленник Л. Н. Толстого, основатель существовавшей одно время в Петербурге «Общины свободных христиан» И. М Трегубов (род. в 1858 г.).

Трегубов, сын протоиерея и питомец Московской духовной академии, всю жизнь, после своего разрыва с православием и обращения к Толстому, боролся против всяческих проявлений организованного насилия, будь то: насильственная революция, война, преследование сектантов и т. д. «Любовь без насилия»— вот своеобразный лозунг, который настойчиво провозглашался Трегубовым при всех его общественных выступлениях. При этом предполагалось, что церковь, на словах не отвергающая заповеди Христа о любви, и в то же время благословляющая войны

и казни, является главной виновницей непрестанного нарушения людьми закона о «любви без насилия».

Разразившаяся в 1914 г. война выбила И. М. Трегубова из колеи. Он почувствовал, что должен всеми силами души восстать против приписывания людьми «священного» значения нечеловеческой бойне. Недоумевая перед тою ролью, которую заняла в этом случае мнимо-христианская церковь, Трегубов решил прежде всего обратиться к церковным пастырям, с тем, чтобы прямо и открыто поставить перед ними вопрос: как могут они примирять высокое учение Христа о любви к врагам с преподаваемыми ими благословениями людям, отправляющимся на войну, и с молитвами о победе над врагами,—победе, связанной несомненно с убийством (рассуждал Трегубов)?.

Между прочим, в Полтаве, где находился тогда Трегубов, проживал также его бывший товарищ по духовной академии протоиерей кадетского корпуса С. И. Четвериков. Трегубов отправился побеседовать к нему.

На вопрос прежнего товарища, но уже не единоверца, Четвериков ответил, что, по его мнению, война не только не противоречит Христовой любви, но более всего служит ее выражением, так как она требует полного самоотвержения, до отдачи своей жизни, почему Христос и сказал: «нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих».

— Но ведь Христос велит полагать *свою* жизнь, а никак *не чужую?*—заметил Трегубов.

Четвериков ничего не ответил на это и предложил Трегубову обратиться с своим недоумением к полтавскому епископу Феофану, славившемуся строгостью и святостью своей жизни.

Трегубов направился к Феофану.

Но то, что он услыхал от епископа в ответ на свой вопрос, еще менее удовлетворило его. Феофан, в подтверждение того, что война не противоречит христианским взглядам, сослался на пример святых, служивших в войске, подобно Феодору Студиту, а также на пример Сергия Радонежского, благословившего Дмитрия Донского на битву с татарами... В этом и состояла вся аргументация православного епископа в защиту войны!

Полемизируя впоследствии, в своем показании, данном жандармской следственной власти, с доводами православных пастырей в пользу войны, И. М. Трегубов, не хуже архиереев знакомый с некоторыми сторонами церковной истории и догматики, между прочим, по поводу слышанного им от еп. Феофана, ядовито замечает, что Феодор Студит, на которого церковники ссылаются как на пример святого, служившего в войске, известен, между прочим, еще и тем, что он написал *Гимн цареубийству,* по поводу убиения монахами византийского императора Льва V-го. Итак, не признать ли церкви Феодора Сту-

дита вполне достаточным и законным авторитетом и в этом случае?

Трегубова порадовал из представителей оффициального христианства только один римский папа Пий X, который, на предложение австрийского правительства благословить его оружие, ответил: «я благословляю только мир». Простодушному Ивану Михайловичу настолько понравился этот ответ папы, что после того он с особенным удовольствием стал посещать католические костелы. Но папа Пий X скоро умер, и больше голосов против войны из среды какого бы то ни было духовенства не раздавалось.

Встретившись в Полтаве с М. С. Дудченко, Трегубов чрезвычайно заинтересовался мыслью о христианском обращении против войны, но вместе с тем текст, составленный Дудченко, показался ему слабым и не подходящим. Трегубов предложил Дудченко внести ряд изменений в составленное им обращение, в особенности для того, чтобы ярче оттенить отрицательную роль церкви, оправдывающей войну, и государства, вызвавшего эту войну. Но Дудченко не согласился на это. Он защищал ту точку зрения, что «возможность лучшей жизни зависит не столько от пробуждения критического сознания, сколько от глубоких стремлений к правде». «Весьма вероятно, однако,—вспоминал после Дудченко,—что несходство между нами было скорее умственное, в незримой же области мотивов мы были гораздо ближе».

Трегубов дал свою подпись под дудченковское обращение, а сам занялся составлением нового проекта воззвания. С этим проектом он отправился в Телятенки.

У Чертковых, в присутствии хозяина дома, состоялось собрание, на котором Трегубов прочел свой проект воззвания. Проект оказался длинной статьей, с массой ссылок на Свящ. Писание, подробным разбором мнений защитников войны и т. д. Было очевидно, что статья не могла быть употреблена в качестве воззвания, на что и последовали единодушные указания Трегубову со стороны присутствовавших на собрании.

Иван Михайлович кротко согласился с доводами возражавших и предложил кому-нибудь из друзей выработать новый, более краткий и подходящий, текст обращения. В частности, он обратился с этой просьбой ко мне и к А. П. Сергеенко. Я категорически отказался, заявив, что все, что мог, высказал уже в статье «О войне». А. Сергеенко согласился.

Тут же Трегубов высказал мнение, что воззвание должно быть написано «сильно»—прямо и резко,—так, чтобы оно вызвало определенное гонение на подписавших со стороны правительства и чтобы подписавшие заранее готовились к этому гонению и шли ему навстречу. Это мнение Ивана Михайловича впоследствии несомненно оказало известное психологическое

воздействие на составителя воззвания «Опомнитесь, люди-братья».

Пока еще не был выработан новый текст воззвания, Трегубов решил навестить Ясную Поляну, лежащую в 3 верстах от Телятенок. У него были хорошие, ничем не замутненные отношения с вдовой Льва Николаевича С. А. Толстой и старинные дружеские отношения с проживавшим в Ясной Поляне одним из ближайших друзей Льва Николаевича д-ром Д. П. Маковицким. Хотелось Ивану Михайловичу побывать и на могиле учителя...

На утро после собрания, на котором обсуждался проект трегубовского воззвания, мы вместе с Иваном Михайловичем пошли пешком в Ясную Поляну, где я проживал тогда, занимаясь подробным библиографическим описанием громадной Яснополянской библиотеки Льва Николаевича, по поручению Московского Толстовского Общества. По дороге Иван Михайлович продолжал уговаривать меня составить воззвание, а я все отказывался.

В Ясной Поляне Трегубов повидался и поговорил с Д. П. Маковицким и с С. А. Толстой, мы все вместе позавтракали, а затем Иван Михайлович отправился на могилу Льва Николаевича: «помолиться и погрузиться в реющий над ней рой христианских идей и бесчисленных надписей, русских и иностранных, которые покрывают ограду»,—как писал он впоследствии в своем дополнительном показании на судебном следствии.

«И вот: совершается чудо!»—возглашает тот же Трегубов в своем показании, описывая то, что случилось дальше.

«Чудо» состояло в том, что пока Иван Михайлович молился на могиле, мне, остававшемуся наедине в своей комнате в Яснополянском доме (комнате, бывшей в 80-х г. г. кабинетом Льва Николаевича и связанной с воспоминаниями о переживавшемся им тогда религиозном кризисе),—вдруг почему-то захотелось написать воззвание, о котором просил Трегубов. Совершенно безотчетно поддаваясь этому желанию, я сел к столу, взял перо и начал писать:

«Совершается страшное дело. Сотни тысяч, миллионы людей, как звери, набросились друг на друга, натравленные своими руководителями, которым они, по непонятной слепоте, верят и во исполнение предписания которых там, на пространствах почти всей Европы, забыв свои подобие и образ Божии, колют, режут, стреляют, ранят и убивают своих братьев, одаренных, как и они, способностью любви, разумом и добротой»...

Начав писать, я не знал—чем кончу.

И только написал, входит Трегубов, вернувшийся с могилы.

— Иван Михайлович, а я написал воззвание!—говорю я ему.

— Да что вы! Когда же?

— Да вот сейчас! Хотите, прочту?

— Пожалуйста, прочтите!

Трегубов присел к моему столу, и я залпом прочел ему все воззвание, от первой строки до последней.

У старого Ивана Михайловича губы запрыгали, и на глазах показались слезы... Он привстал и протянул мне руку, мы обнялись и поцеловались.

Я тоже был растроган и взволнован.

Без сомнения, в тот момент мы оба предчувствовали, что придется жестоко поплатиться за это исповедание веры. И нашим взаимным братским поцелуем мы как бы приветствовали и благословляли друг друга на эту жертву во имя Христа.

Просмотревши еще раз воззвание, мы тут же сделали в нем кое-какие,—правда, незначительные по сравнению с первоначальной редакцией,—поправки. Кроме того, Иван Михайлович пожелал присоединить к воззванию заглавие: «Опомнитесь, люди-братья!»

После этого мы решили тотчас вернуться обратно к Чертковым и познакомить друзей с вновь родившимся проектом воззвания против войны.

Трегубов предварительно пошел наверх—проститься с Софьей Андреевной. Душана Петровича не было дома: он уехал в одну из соседних деревень к больному. Между прочим, на прощанье Софья Андреевна подарила Трегубову хорошенькую книжечку, в переплете, с описанием Ясной Поляны, издание Московского Толстовского Общества, при чем, по просьбе Ивана Михайловича, сделала в начале своей рукою надпись. И вот по этой-то надписи Софьи Андреевны Иван Михайлович и установил впоследствии, что воззвание «Опомнитесь, люди-братья» составлено было 28 сентября 1914 г. Это обстоятельство тоже немало поразило его. Как известно, в жизни Л. Н. Толстого очень часто встречалось и играло, по его собственному признанию, большую роль число *28:* он родился *28* августа 18*28* года, *28* июля родился его старший сын Сергей, *28* октября Л. Н. ушел из Ясной Поляны и т. д. И вот, в нечаянном совпадении дня составления воззвания против войны с «мистическим» толстовским числом Иван Михайлович снова увидал чуть ли не «чудо» и, во всяком случае, как бы некоторое, не лишенное знаменательности, указание. Иван Михайлович все еще не мог отделаться в своих умственных представлениях от старой церковной закваски.

Так или иначе, мы вместе являемся в Телятенки и там, вечером, в довольно большом собрании всех обитателей хутора, я прочитываю новый проект воззвания. Проект производит, повидимому, положительное впечатление.

В обсуждение его вмешивается и сам В. Г. Чертков, который заявляет, что он лично не присоединится к нашему воззванию, так как он является принципиальным противником всяких коллективных выступлений; но, тем не менее, он позволяет себе выска-

зать мнение, что новый проект воззвания более отвечает своему назначению, чем предложенный накануне И. М. Трегубовым.

— Я указал бы только на один пропуск в воззвании,—продолжал В. Г. Чертков,—хотя я и повторяю категорически, что я против такой формы пропаганды, и что сам я воззвания не подпишу... Но просто, раз уже я слышал воззвание, то я бы хотел обратить внимание составителей на этот пропуск, а именно: в воззвании говорится о той роли, которую играла церковь, поддерживая войну, но ничего не сказано о роли государства, как причины войны... Это дело ваше—прибавить или не прибавить. Я только говорю то, что мне показалось..

Подробным редактированием текста воззвания занялись на следующее утро я, Трегубов и Алексей Сергеенко. Последний прочел мне и Трегубову еще один, собственный, текст обращения, составленный им вчера, но сам же настоял на признании непригодности этого текста и на том, чтобы для подписания и распространения принят был текст обращения «Опомнитесь, люди-братья».

При редактировании, по настоянию Сергеенко же, были опущены или смягчены все наиболее резкие места в обращении, против чего я тщетно восставал тогда. Но думаю теперь, что от поправок Сергеенко обращение только выиграло.

Мы уже закончили редактирование текста и разошлись, когда я вспомнил о замечании, сделанном накануне Чертковым: относительно отсутствия в воззвании определенного указания на роль государства в деле войны. Посоветовавшись снова с Трегубовым и Сергеенко, я включил в текст воззвания одно место из своей статьи «О войне», резкость которого впоследствии особенно подчеркивалась и ставилась на вид подписавшим воззвание представителями следственной власти. Именно, после фразы: «Мечтают о разоружении, которое будто бы должна принести война. Братья, не верьте этому!»—нами были внесены в воззвание слова: «Ведь разоружить народы—значит для современных правительств то же самое, что уничтожить самих себя, потому что эти правительства держатся только благодаря государственному насилию и не пользуются свободным доверием своих народов. Как же могут они отбросить свою единственную опору—солдатский штык?!»

В тот же день вечером, или на следующее утро,—хорошо не помню,—была сделана еще одна поправка в тексте воззвания, предложенная д-ром Д. П. Маковицким: это—вставка слов о «ложной науке». Мне не очень была по душе эта вставка, но Душан Петрович настаивал на ней, и она была принята.

Душан Петрович предлагал, кроме того, изменить самое заглавие воззвания «*Опомнитесь,* люди-братья» на «*Опомнимся,* люди-братья». Д-р Маковицкий, словак родом и в то же время австрийский подданный, всегда живо интересовался судьбой славянского вопроса и, так как война ставила, повидимому, этот во-

прос на разрешение, то Душану Петровичу, как он и говорил, приходилось бороться самому с собой, чтобы не быть увлеченным войною.

Подобно тому, как И. М. Трегубов в некоторых отношениях все еще не мог отделаться от воздействия на его психологию церковных традиций, так и Д. П. Маковицкий, воспитавшийся в семье крупного общественного деятеля славянства, каким был его отец, подчас не был свободен от чисто политических методов мышления, все еще не изжитых им окончательно, несмотря на глубокую его религиознасть.

Последняя поправка Д. П. Маковицкого была отклонена редактировавшими воззвание.

Таким образом, полный и окончательный текст воззвания установлен был следующий:

«Опомнитесь, люди-братья!»

Совершается страшное дело. Сотни тысяч, миллионы людей, как звери, набросились друг на друга, натравленные своими руководителями, во исполнение предписания которых они, на пространстве почти всей Европы, забыв свои подобие и образ Божий, колют, режут, стреляют, ранят и добивают своих братьев, одаренных, как и они, способностью любви, разумом и добротой.

Весь образованный мир, в лице представителей всех умственных течений и всех политических партий, от самых правых до самых левых, до социалистов и анархистов включительно, дошел до такого невероятного ослепления, что называет эту ужасную человеческую бойню «священной», «освободительной» войной и призывает людей положить свою жизнь... за что?—за какие-то призрачные идеалы «освобождения», забывая, что истинная свобода—только свобода внутренняя и что, наконец, никто не мешал правительствам дать до войны, и без войны, угнетаемым ими народам хотя бы ту внешнюю свободу, которая теперь якобы завоевывается ценой преступного пролития моря крови.

Мечтают о разоружении, которое будто бы должна принести война. Братья, не верьте этому! Ведь разоружить народы—значит для современных правительств то же самое, что уничтожить самих себя, потому что эти правительства держатся только благодаря государственному насилию и не пользуются свободным доверием своих народов. Как же могут они отбросить свою единственную опору—солдатский штык?!

Разоружения не может быть и войны не прекратятся, пока человек внутренно не переработает себя и пока он из сердца своего не вытравит животного стремления насилием упрочивать свое внешнее положение в мире, вырывая у ближних своих их хлеб, их достояние, их труд. Наши враги—не немцы, а для немцев враги не русские и не французы. Общий враг для всех нас, к какой бы национальности мы ни принадлежали,—это зверь в нас самих.

Никогда так ясно не подтверждалась эта истина, как теперь, когда упоенные и непомерно гордые своей ложной наукой, внешней культурой и машинной цивилизацией люди XX-го века вдруг обнаружили истинную ступень своего развития: эта ступень оказалась не выше той, на которой предки наши стояли во времена Аттилы и Чингис-хана.

Бесконечно горько сознавать, что 2,000 лет христианства прошли почти бесследно для людей. Но это понятно, потому что христианство в корне извращено, низведено с его высоты и лишено своей великой, умягчающей души, жизненной силы пастырями всех церквей, ныне кощунственно благословляющими людей на убийство, осеняя их крестом с изображением распятого Христа.

Опомнитесь же, братья-люди, опомнитесь, сыны Божии! Из глубины своих сердец, страдающих и потрясенных кошмарным ужасом происходящего, обращаемся к вам: вспомните, что вы братья! Подайте друг другу руки! На Божьей земле найдется место всем для мирной, братской жизни и мирного, любовного развития.

Вспомните божественную, святую заповедь Христа, обращенную к нам,—и к русским, и к французам, и к немцам, и к сербам, и к англичанам, и к японцам, и ко всем, кто хранит образ его в сердце: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга. Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас».

Мы, подписывая наше обращение, заявляем, что не на стороне войны, убийства и всякого насилия наши сердца и умы, а на стороне вечной Правды-Истины, которая в том, чтобы служить Христовой заповеди любви ко всем людям и оставаться верными Божеской заповеди: не убий!»

ГЛАВА IV.

ПЕРВЫЕ ПОДПИСИ ПОД ВОЗЗВАНИЕМ.

Когда И. М. Трегубов, 28 сентября, пришел с могилы Льва Николаевича в мою комнату, в Ясной Поляне, и прослушал воззвание, он тут же просил после моей подписи поставить и его имя, что я и сделал своей рукой. Кроме того, тогда же Иван Михайлович просил присоединить к воззванию подписи М. С. Дудченко, Ф. Х. Граубергера и Н. М. Стрижевой. Все эти лица, как сказал мне Трегубов, предоставили ему право подписать их имена под таким воззванием против войны, содержание которого будет им признано подходящим и удовлетворительным. Вслед затем присоединились к воззванию д-р Д. П. Маковицкий и А. П. Сергеенко.

В дальнейшем решено было разослать копии воззвания в разные места нашим друзьям и единомышленникам, с предложением, в случае сочувствия, подписаться, а затем, когда подписи будут собраны, приступить к распространению воззвания.

При этом И. М. Трегубов настаивал на том, чтобы воззвание с подписями непременно переведено было на языки всех воюющих стран—немецкий, французский, английский и т. д., и только тогда напечатано одновременно на русском и на всем этих языках. В таком именно виде воззвание должно было быть распространено, по мысли И. М. Трегубова, как в России, так и за-границей. Что касается распространения за границей, то мы были уверены, что в этом окажет нам самое существенное содействие единомышленник, друг и биограф Льва Николаевича П. И. Бирюков, проживавший в Швейцарии.

Собирание подписей решено было сосредоточить у меня. Собственно, этого пожелал инициатор воззвания И. М. Трегубов, руководившийся одним соображением довольно сентиментального свойства.

Когда возник вопрос о том, что необходимо наметить лицо, к которому можно было бы направлять все новые подписи, я осведомился у Трегубова:

— Кто же бы взял это на себя?

— Возьмите вы,—ответил Иван Михайлович.—Пусть уж это воззвание исходит из Ясной Поляны, от могилы Льва Николаевича!..

Я охотно согласился. Признаюсь, я даже был рад, что И. М. Трегубов предложил именно мне такое рискованное, с точки зрения юридической ответственности, дело, как собирание подписей под воззванием. Я отлично сознавал, что когда впоследствии все выяснится для властей, то распространителю воззвания придется отвечать гораздо строже, чем лицам, давшим только свои подписи. Но именно потому-то мне и не хотелось передавать кому-нибудь другому эту роль. Я рассуждал так: «Моя подпись стоит первой под воззванием, я вполне сознательно иду на преследование за него, поэтому лучше всего мне же взять на себя и собирание подписей. Пусть тогда первый и наиболее сильный удар падет именно на меня! Я-то *ручаюсь* за себя, что вынесу его, а за других я не могу ручаться!..»

Но для чего были нужны под воззванием подписи?—может возникнуть вопрос. Ответ ясен. Мы не имели возможности опубликовать воззвание от имени какой-либо группы, потому что никакой организованной группы мы отнюдь не составляли; опубликовать же анонимно,—значило наверное дать повод всем и каждому из недоброжелательно настроенных к содержанию воззвания читателей уверять, что воззвание выпущено нашими «врагами» немцами и их шпионами и т. д. За воззванием непременно должно было находиться какое-нибудь лицо. И вот, не будучи людьми партийными и отвечая каждый сам за свои взгляды и

за свою жизнь, мы и решили дать, прямо и открыто, наши имена. Пусть эти имена, как таковые, могли сказать что-нибудь определенное лишь немногим,—тем не менее, при более внимательном рассмотрении их, желающим не трудно было бы убедиться в том, каков же все-таки истинный источник воззвания.

Воззвание дало возможность каждому из сочувствующих его содержанию единомышленников Л. Н. Толстого присоединиться к открытому и публичному протесту против войны. Но так как никакого общего постановления группы или партии, или чего-либо подобного, по вопросу о войне у нас не было, то, очевидно, что каждый из участников воззвания вкладывал в свою подпись свое личное отношение к затронутому в воззвании вопросу *и* свое личное, зачастую вполне своеобразное и отличное от других, внутреннее содержание. Отрицание войны об'единило всех участников общего дела, но мотивы этого отрицания, будучи индивидуальными для каждого отдельного участника, представляли большое разнообразие в своих подробностях. Их интерес и ценность от этого, конечно, не только ничего не проигрывают, но скорее, наоборот, выигрывают.

Отсюда ясно, что для того, чтобы настоящим образом понять воззвание и оценить его внутренний смысл и значение,—мы должны как бы вскрыть то содержание, которое вложено было в каждую из подписей, стоящих под воззванием, теми, кто создал этот коллективный документ и был его участником. Именно, нам необходимо познакомиться как с внешней обстановкой присоединения к воззванию того или другого отдельного лица, так и с его пониманием смысла и цели воззвания.

Подписи составителей привлекают наше внимание прежде всего.

Обращаясь к личным воспоминаниям, я мог бы сказать о мыслях и чувствах, владевших мною при составлении и подписании воззвания (кроме того, что уже было высказано мною в общей форме), следующее.

Мне кажется, что мною двигало, главным образом, просто чувство самой естественной и непосредственной жалости к тем, кто страдал на фронте. При начале войны я не мог равнодушно видеть военных картинок в журналах, я готов был плакать, вглядываясь в лица убитых офицеров, часто юношей, портреты которых пестрели всюду. Помню тяжелое впечатление, произведенное на меня смертью Олега Константиновича, сына великого князя Константина Константиновича. Тогда же в «Новом Времени» я прочел некролог юноши, написанный профессором, его воспитателем: судя по некрологу, убитый представлялся простым, сердечным, жизнерадостным мальчиком (на переходе к юности), одаренным при том же большой любознательностью и уже намечавшимися,—должно быть, по наследству от отца,—литературными

способностями. Я вглядывался в прелестное лицо Олега Константиновича (в «Искрах» был большой портрет), и, право, мне было так же больно при мысли, что едва начавшаяся и, может быть, много обещавшая жизнь милого мальчика прекратилась, как если бы это был мой ближайший родственник или друг. Ведь у меня не было сословных предрассудков, и отпрыск царского дома был для меня прежде всего только человеком, как и тот рабочий или крестьянин, которого одели в серую шинель и заставили стрелять в своих братьев.

Однажды Сергей Львович Толстой, старший сын Льва Николаевича, привез в Ясную Поляну последние номера иллюстрированных журналов. Он показал мне в «Огоньке» на снимок траншеи с застрявшим в ней трупом убитого немецкого солдата,— несчастным, серењким, скорчившимся, как мышенок... Я не мог глаза отвести от этого мышенка, твердя себе внутренно, что так поступили *люди* с *живым человеком*. На другой картинке изображалось, как священник, с крестом в руках, обходил поле после битвы. Он наклонился к раненому солдатику, думая, что тот еще жив, но то, что было недавно живым существом, стало уже ненужной мертвой ледышкой: глаза закрылись и ввалились и только оскаленный рот солдатика продолжал улыбаться, и мне кажется, что я не видал ничего страшнее этого крысиного оскала зубов убитого своими братьями человека...

Конечно, мы находились далеко от фронта. Но ведь не нужно было слишком живого воображения, чтобы ясно представить себе, хотя бы по этим картинкам в журналах, что там творилось. По крайней мере я лично, живя в Ясной Поляне, не мог бы чувствовать себя хуже, если бы фронт был не за сотни и тысячи верст, а где-нибудь тут, близко, под Москвой или под Тулой.

При таком настроении мне трудно было оставаться спокойным и пассивно, равнодушно переживать всечеловеческое несчастье. Я собрался, было, отправиться на войну санитаром. Я расхожусь со многими единомышленниками в оценке этого дела, как противоречащего христианским взглядам. Я думаю, что тут надо стоять на точке зрения Христовой притчи о милосердном самарянине, описанном в Евангелии: милосердный самарянин не спрашивал, кто и за что именно, и при каких условиях избил того человека, которого он нашел лежащим без чувств при дороге и которому надо было помочь. Но лежавший при дороге человек, без сомнения, нуждался в помощи, и вот самарянин, из простого чувства милосердия, решил помочь ему. И думается, что такого же отношения заслуживают и те несчастные братья, которых калечат на войне,—*хотя-бы* они сами шли добровольно на эту войну и *хотя бы,* по выздоровлении, они снова посланы были в сражение. Это—дело их и тех, кому они, по слепоте своей, продолжают подчиняться. Но если видишь, что не в силах оста-

новить преступление, между тем как страдание на-лицо, то помоги страдающему.

Помню, какое внутреннее облегчение почувствовал я от принятого решения пойти в санитары. Я не боялся, что меня отговорят товарищи и единомышленники. И, действительно, это не удалось им. Но меня отговорила С. А. Толстая, вдова Льва Николаевича, выставившая против моего плана чисто практическое возражение, состоявшее в том, что если я уйду на войну, то останется не оконченным мой труд по описанию Яснополянской библиотеки и тем самым я не выполню взятых на себя обязательств перед Толстовским Обществом и перед нею. Это простое возражение остановило меня,—*на время,* как я рассчитывал, предполагая, что я успею окончить описание библиотеки и затем все-таки уеду на фронт.

Статья «О войне» дала некоторый исход мучившим меня чувствам ужаса перед совершающимся злом и горечи от сознания своей пассивности, а вскоре затем подоспел и И. М. Трегубов с своим проектом общего воззвания единомышленников Л. Н. Толстого против войны. Нечего и говорить, на какую благодарную почву, в моем лице, упала его мысль о таком воззвании. Пусть я колебался вначале, следует-ли именно мне, высказавшемуся уже в статье «О войне» по поводу происходящего, браться за самое составление воззвания. Но, раз решившись на это и взявшись также за практическую организацию дела, я уже не мог не отдаться всей душой той могучей волне самого непосредственного увлечения мыслью о посильной борьбе с проявлениями военного кошмара, которая меня подхватила и понесла... И никогда в жизни я не испытывал такого глубокого и радостного удовлетворения от своей деятельности, как именно в те памятные дни и недели с момента составления и подписания воззвания до моего ареста...

В дополнение к изложенному, приведу выдержку из моего дополнительного показания на имя жандармской власти, написанного 2 июля 1915 г. в тульской тюрьме, по ознакомлении с материалами следственного производства:

«Мое внимание обратило, что повсюду в деле мирное обращение наше к братьям-людям именуется систематически призывом «к неучастию в войне» и приравнивается к пропаганде среди населения. Самым категорическим образом протестую против попытки судебного следствия придать нашему обращению такой смысл. Мы не собирались ни остановить войну, ни помещать ее, так называемому, «успеху», ни вызвать отказы от воинской повинности, ни в России, ни где бы то ни было. Для того, чтобы иметь силу отказаться от воинской повинности по религиозным убеждениям и претерпеть за это все гонения, нужна в каждом отдельном случае огромная предварительная внутренняя работа

человека над собой и над выяснением своего миросозерцания. Так что никакие воззвания не могут толкнуть человека на подобный поступок и заменить, следовательно, его собственную духовную работу. Массовым же выступлениям, основанным на мимолетном настроении, мы не сочувствуем, мы—не революционеры.

Нет, мы призывали не к неучастию в войне. Но мы поражены были, что люди, кинувшись выполнять животный закон взаимного истребления из-за низменных материальных интересов, казалось, забыли безвозвратно высший Божеский закон любви друг к другу, как к самому себе, закон, выраженный Христом в Евангелии и номинально признаваемый и русскими, и немцами, и всеми воюющими народами. Нам казалось, что наступает время всеобщей разнузданности, не сдерживаемой никаким нравственным законом, когда жизнь человеческая становится дешева, когда пролитие братской крови легко руке человека. И мы, как христиане, захотели крикнуть людям: «Назад, ко Христу! Или вы поступаете, как язычники»! Своим обращением мы решились напомнить всем нашим братьям без из'ятия о том, что может существовать высшая точка зрения на войну—Божеская, о том, что есть закон Бога—любовь, забвение которого черствит сердца, разрушает всю жизнь людей, заставляет оправдывать преступления, а зачастую и самое проявление Духа Божьего в людях считать за преступление».

Переходя к следующей подписи—И. М. Трегубова, можно сказать, что мотивы подписания им воззвания, насколько это можно понять из его показаний на следствии и на суде, заключались, главным образом, в стремлении исполнить свой долг, в качестве представителя христианской веры.

В своем замечательном показании от 11—24 июня 1915 г., начинающемся словами: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» и излагающем, на основании евангельских текстов и примеров из истории древней христианской церкви, отношение истинно-христианского учения к вопросу о войне, а также описание предшествующей деятельности автора по борьбе со всевозможными проявлениями организованного насилия, И. М. Трегубов, между прочим, говорит:

«Когда разразилась эта ужасная война, которая показала нам, как ничто более, что учение Христа действительно забыто и попрано почти всеми так называемыми «христианскими» народами, то мы, как христиане, не могли оставаться равнодушными зрителями этого еще никогда не бывалого попрания учения Христа самими же христианами, особенно немцами, изготовляющими орудия страшной, дьявольской разрушительной силы с кощунственной на них надписью: «С Божьей помощью», и мы сочли своим христианским долгом возвысить свой голос и крикнуть из глубины души, потрясенной всем этим: «Опомнитесь, люди—

братья»! И мы, по какому-то наитию свыше, почти не сговариваясь друг с другом, почувствовали, что надо протестовать против этих ужасов, и стали выпускать воззвания против войны в разных местах России».

В другом месте того же показания И. М. Трегубов указывает: «Сделанное мною во время настоящей войны есть прямой результат того, что я делал и раньше в этом же роде». Действительно, как я и говорил, вся жизнь И. М. Трегубова посвящена была борьбе с насилием и проповеди «любви без насилия».

Ф. Х. Граубергер (род. в 1857 г.), один из наиболее старинных и преданных последователей Л. Н. Толстого, бывший народный учитель, а затем специалист по садоводству, на допросе по поводу обстоятельств появления его подписи под воззванием «Опомнитесь, люди-братья», показал, что «подписал это воззвание, по его выходе, будучи согласен с сущностью этого воззвания, т. е. призывом к миру и согласию... Но подписал его не лично, а лишь дал согласие на помещение своей подписи через товарища, передавшего об этом согласии Булгакову».

Подробнее Ф. Х. Граубергер мотивировал свое присоединение к воззванию на суде. Он говорил:

— С того времени, как я сделался человеком религиозным и понял учение Христа в его истинном значении, я убедился, что убийство и война составляют грех против закона Божьего. С тех пор я не раз открыто протестовал против всякого насилия,— между прочим, на публичных диспутах в церквах со священниками. Так как войну я считаю насилием, и при том одной из самых высших форм насилия, то я решил, когда возникла война, протестовать против войны и стал говорить, где можно, о грехе убийства на войне и участия в войне. Встретившись с И. М. Трегубовым, я стал развивать перед ним тот взгляд, что война несовместима с нашими христианскими убеждениями и что нам следовало бы открыто протестовать против нее. Иван Михайлович согласился и сказал: «если можно, то составьте воззвание или «заявление веры», в котором протест против войны был-бы выражен так, чтобы он мог об'единить всех тех, кто считает своей потребностью протестовать против войны»... Случилось, однако, так, что Иван Михайлович сам, прежде меня, составил очень пространное воззвание против войны, которое при встрече прочитал мне и спросил, какого я о нем мнения. Он тут же сообщил мне, что предполагает собрать подписи под воззванием и затем отпечатать его за-границей на четырех языках, после чего распространять, как за-границей, так и в России. Я нашел это совершенно основательным и целесообразным и дал свое согласие, чтобы он поместил мою подпись. После оказалось, что опубликовано было не воззвание Трегубова, а воззвание—«Опомнитесь, люди-братья», составленное Булгаковым. Так как в этом

воззвании я видел протест против войны, а, кроме того, увидел в нем и призыв опомниться, призыв к миру, то я вдвойне присоединился к нему».

Народная учительница, дочь помещика Черниговской губ., Н. М. Стрижова (рожд. Чекан, род. в 1873 г.), вместе с своей приятельницей и единомышленницей, вдовой петербургского купца Е. П. Нечаевой (рожд. Калининской, род. в 1860 г.), проживала в г. Нежине, Черниговской губ., когда разразилась война. Известие об открытии военных действий потрясло одинаково, как Стрижову, так и Нечаеву. Они видели, что совершается что-то ужасное, недопустимое не только в христианском, но и в «самом наиязыческом обществе», как выражалась после Нечаева. Обоим казалось, что надо что-то предпринять, чтобы помешать ужасному делу или, по крайней мере, протестовать против него, говорить, кричать на улице, выпустить воззвание против войны и начать распространять его... И вот, как бы ответом на их «душевное мучение», получается письмо из Полтавы, от Ф. Х. Граубергера, который сообщает, что предполагается опубликовать воззвание против войны, и спрашивает, не согласятся-ли они присоединить к этому воззванию свои голоса.

Между тем Е. П. Нечаева и Н. М. Стрижова как раз прочитали в газетах о том, что все выступления против войны будут «караться по законам военного времени». Они не были искушены в тонкостях военной юрисдикции, и для них такая постановка вопроса обозначала: будут казнить. Тем не менее «боль за совершающееся беззаконие» была так велика, что обе, не колеблясь, тотчас же ответили на письмо Граубергера своим согласием на присоединение их подписей к воззванию.

Письмо их, однако, не было во время получено Граубергером, благодаря чему подпись Е. П. Нечаевой на воззвание не попала совсем *). Что же касается подписи Н. М. Стрижовой, то, как мы знаем, она присоединена была к воззванию Трегубовым, который хорошо знал о настроении Стрижовой в связи с войной. Несколько самовольный поступок Ивана Михайловича в действительности вполне ответил душевному желанию самой Стрижовой.

На суде Н. М. Стрижова так говорила о мотивах подписания ею воззвания:

---

*) Как будет видно из дальнейшего изложения, Е. П. Нечаева и впоследствии дважды заявляла властям о том, что она не только подписала воззвание, но даже распространяла его и надеется впредь распространять. Тем не менее к суду Нечаева привлечена не была, на том основании, что подпись ея не была обнаружена ни на одном из находившихся в распоряжении следствия экземпляров воззвания. Самое заявление Нечаевой приравнено было к «самооговору, не подкрепленному свидетельскими показаниями». (Постановление судебного следствия от 8-го июня 1915 года).

— Еще Японская война ужаснула меня. Ужас этот увеличился, когда вспыхнуло нынешнее взаимоистребление народов. Узнав из письма приятеля, что среди друзей готовится протест против войны, я с радостью послала свою подпись.

Девятнадцать веков тому назад великий учитель принес на землю благую весть. Христос открыл людям вечный благой закон Бога, нашего Небесного Отца, призывающего всех чад своих к взаимной любви и общему благу... Но закон Христа столкнулся с государственными законами его страны. И государственные законы Иудеи осудили Христа на смерть. В течение первых трех столетий людей, признавших учение Христа и распространявших его, преследовали, гнали и казнили язычники. С IV-го века преследование таких людей взяли в свои руки государственные законы христианских государств, принявших из учения Христа одно название. Девятнадцать веков идет борьба между законом Христа и государственными законами. Но закон Христа должен победить, потому что Христос сказал: «Я победил мир»!..

Государственные законы временны и непостоянны. Мы видим, как они изменяются на наших глазах за последнее время и только в одном государстве России. 10 лет тому назад японцы признавались этими законами нашими врагами, и русские люди призывались убивать и калечить японцев. Теперь этими же законами японцы об'явлены нашими друзьями и вместе с русскими призываются калечить и убивать австрийцев и немцев, которых 100 лет тому назад мы защищали от французов, наших нынешних союзников. Закон-же Христа—вечный, незыблемый закон Бога. Вечное царство мира должно наступить на земле... Для скорейшего наступления этого царства мира путь один, это—путь, указанный Христом его апостолам: распространение истины.

Далее, на вопрос председателя, не предполагала-ли она, что воззвание может вызвать отказы от воинской повинности, Стрижова ответила:

— Если бы я узнала, что человек, готовившийся итти на войну, прочтя воззвание, отказался-бы итти, я считала бы себя счастливой!

Н. М. Стрижова и на самом деле, по рассказам людей, знавших близко ее настроение в период подписания воззвания, готова была ожидать от воззвания не только моральных, но даже практических последствий, именно в виде отказов от воинской повинности. В этом отношении она стояла несколько особняком среди других участников воззвания.

Подпись М. С. Дудченко была поставлена под воззванием И. М. Трегубовым на основании его уверенности, что Дудченко «ничего не будет иметь против этого», как впоследствии оффициально показал Трегубов. Однако Трегубов ошибся, и ошибка эта имела крайне неприятные последствия: практические—для

Дудченко, потому что ему пришлось,—может быть, незаслуженно или против воли,—отбывать, вместе с нами, тюрьму, и моральные—не только для самого Трегубова, как прямого виновника неосмотрительного присоединения подписи, но и для меня, как лица, собиравшего подписи. Тем более досадно было все это недоразумение, что позиция, которую занял М. С. Дудченко во время следствия и на суде,—несмотря на вполне определенное, хотя и своеобразное, отношение его к делу о воззвании,—в чисто фактическом отношении страдала неясностью, непоследовательностью и противоречивостью. Человек удивительно мягкой и чистой души, во всех отношениях примерный христианин, Дудченко, казалось, растерялся в этом, столь чуждом и непривычном для него, мире жандармов и прокуроров, следователей и доносчиков, дознания и допросов, ссылок на антихристианский «закон» и угроз наказаниями за нарушение его... Он точно невольно сбился с верного тона, и все хотел нащупать его, и никак не мог!.. В конце концов, конечно, было бы лучше и справедливее, если бы подпись его совсем не фигурировала под воззванием «Опомнитесь, люди-братья».

Согласно сохранившемуся у меня списку тех лиц, которым было разослано воззвание тотчас по его составлении, первым из этих лиц был М. С. Дудченко. Я торопился послать Дудченко воззвание, так как, хотя и доверял И. М. Трегубову, что Дудченко ничего не будет иметь против заочного присоединения его подписи, но все-таки считал неудобным долго оставлять Дудченко в неведении относительно дозволенного нами себе самостоятельного распоряжения его именем.

В ответ на письмо и посылку воззвания, я получил открытку, но не от самого Дудченко, а от проживавшего у него в то время единомышленного нам юноши, народного учителя Андрея Чехольского. Чехольский обращался ко мне с просьбой, от имени М. С. Дудченко: «подождать с моим намерением», пока Митрофан Семенович не пришлет поправок и дополнений к воззванию, так как «редакцию некоторых мест ему желательно изменить».

Признаюсь, просьба Дудченко несколько раздосадовала меня. Редакция воззвания и без того подверглась уже значительной переделке. Мне казалось ясным, что если каждый из друзей будет настаивать все на новых и новых поправках в тексте воззвания, соответствующих его суб'ективному пониманию, то тогда мы никогда не получим окончательного текста. Между тем время шло, и уже раз мы приняли на себя нравственную ответственность по опубликованию протеста против войны, то мы не в праве были излишне задерживать это опубликование. Вот почему представлялось крайне нежелательным вновь ломать текст документа, выработанный, к тому же, не единолично, а целой коллегией близких к мировоззрению Л. Н. Толстого людей.

Я изложил свои соображения в новом письме к Дудченко, добавив, что так как рассчитывать на выработку такого текста, который удовлетворил бы решительно всех единомышленников, мне представляется невозможным,—то не лучше-ли было бы ему, как и другим друзьям, отбросив излишний педантизм, об'единиться на готовом уже тексте воззвания. «Было-бы крайне жаль, —говорил я в письме,—если бы, основываясь на расхождении относительно подробностей этого текста, ты отделился бы от нас, будучи в то же время, как и мы, горячим сторонником необходимости опубликования воззвания». В заключение я предлагал М. С. Дудченко, если ему представляется существенно необходимым оттенить различие с нами во взгляде на войну, изложить это различие в особой приписке, с тем, чтобы я мог поместить ее под воззванием, вместе с его подписью.

На письмо мое Дудченко ответил с опозданием. Я получил его ответ в конце октября, уже незадолго до моего ареста. Вот что писал он:

«Прости, что задержал ответ. Было несколько событий, которые отвлекли меня. Очень опечалила меня смерть Хилкова *), который, несмотря ни на что, был близкий мне человек...

Открытка Андрюши, вследствие своей неточности, не понята тобой. *Я лично совсем не хочу разделяться с вами, а затрудняюсь только насчет того, чтобы перевести подписи людей, разбросанных по разным уголкам России* **). Затрудняюсь же я потому, что смысл последнего заявления несколько иной, отличающийся от предыдущего. Отличие это, замеченное мною и многими другими, заключается в том, что центр тяжести насчет войны и извращения христианства здесь переносится на правительство и попов, тогда как там прямо утверждается, что вся ответственность ложится на нас самих,—т. е. тех, кто чувствует ее. (Что же взять с тех, кто не имеет этого чувства?..).

Поэтому-то обращение, прекрасно составленное, имеет все же частью социал-демократический (?!) тон, исключающий из среды «людей-братьев», к которым обращается—всех руководителей и попов. При этом, конечно, значение всяких руководителей преувеличивается. (Кто, например, натравлял Хилкова? Никто). Если бы в них самих, действительно, заключалась такая могучая демоническая сила, то дело человечества было бы непоправимо, и

---

*) Кн. Д. А. Хилков, известный в сектантских кругах общественный и религиозный деятель, не отличавшийся, впрочем, постоянством мировоззрения. В разное время Хилков сочувствовал то революционным идеям, то мировоззрению Л. Н. Толстого, то православным взглядам. В самом начале войны с немцами добровольно отправился на фронт и погиб в одном из первых же сражений.

**) Курсив мой. Дудченко говорит о том, чтобы механически перенести подписи лиц, присоединившихся к воззванию «Наше открытое слово», под воззвание «Опомнитесь, люди-братья».

ему надо бы было надеяться только на искупление и прочее в этом роде. Но, слава Богу, это не так. Это на самом деле только фикция, или, проще говоря, последствия нашей нечистоплотности. И тут получается выход, заключающийся в нашей творческой работе, которой не страшны никакие противодействия (даже всех чертей в мире, если они есть).

По этим соображениям, милый друг, мне бы очень хотелось, чтобы были изменены два места. Попытку такого изменения я посылаю вам. Для меня было тем труднее сделать эту новую редакцию, что я старался по возможности не отступать от вашей. Разумеется, хорошо бы было выразить это короче, но это так трудно вследствие об'емистости вопросов *).

Ты напрасно, брат, думаешь, что делать поправки—это соблазнительно и не нужно. Напротив, их нужно делать до тех пор, пока редакция не будет соответствовать тому духу, которому мы служим. *И ничего, разумеется, не будет ошибочного, если под новой редакцией мы будем подписывать тех людей, в которых мы уверены* **). Например, под своей редакцией, посылаемой тебе, я смело подписываю почти всех (около 100 человек), которые подписались под моей старой.

Кстати скажу, что просимое тобой прибавление к подписи я сделал. В случае, если ты окажешься очень упрямым или не разделяющим моего взгляда, прошу сделать к моей подписи следующую оговорку:

«Присоединяя свою подпись, считаю необходимым выразить здесь свое глубокое убеждение, что главным виновником всех наших несчастий (также и войны) является не правительство или духовенство,—не те или иные люди, толкающие нас к греху, на которых так легко и приятно бывает свалить всю нравственную ответственность, а настоящими виновниками являемся мы же сами... Думаю, что только это искреннее сознание даст нам всем возможность освободиться от того рабского положения, находясь в котором, мы часто не можем не совершать преступлений».

P. S. Дудченко добавляет:

«А И. М. Трегубов не точно передал тебе, что я подпишу все, что он подпишет; я ведь с ним во многом не согласен».

Письмо М. С. Дудченко несомненно заключало в себе ряд важных принципиальных соображений, но можно сказать, что

---

*) Новая редакция не была получена мною. Вероятно, Дудченко не послал ее, узнавши о состоявшемся вскоре моем аресте. После я увидел этот проект новой редакции у Трегубова и, по совести, не мог признать его более совершенным: воззвание оказалось не только излишне растянутым, но, во всяком случае, и не менее, если не более, «социал-демократическим», чем раньше, потому что Дудченко, стремясь примирить свою (по существу—прекрасную) и нашу мысль, добился только того, что не уничтожил последней и затуманил первую.

**) Курсив мой.

в то время соображения эти падали на неблагоприятную почву, ибо нечего было и думать о новом коренном изменении редакции воззвания, успевшего уже получить среди наших единомышленников значительное распространение и собравшего целый ряд новых подписей. Все, что можно было сделать, это—присоединить к воззванию приписку Дудченко. Я так и поступил. Но при этом, посоветовавшись кое-с-кем из друзей, я выпустил из приписки слова: «на которых так легко и приятно бывает сваливать всю нравственную ответственность». Слова эти,—казалось, направленные прямо против авторов воззвания, сбвинявших в вызывании войны правительство и духовенство (кроме, конечно, и самих себя),—представлялись какой-то неуместной иронией в устах лица, присоединившегося к тому же воззванию... О пропуске этих слов я тотчас написал Дудченко, прося у него позволения на такое сокращение приписки, но ответа от него уже не получил, будучи через несколько дней арестован.

Что касается слов М. С. Дудченко, что он сам лично не хочет разделяться с нами и только стесняется «перенести» под наше воззвание имена лиц, подписавшихся под обращением «Наше открытое слово», то, конечно, я мог только подивиться, как просто смотрит наш почтенный друг на возможность и допустимость такого «перенесения». Дудченко, повидимому, не замечал даже того, что в сущности он предлагал, таким образом, сделать по отношению ко многим ту непростительную ошибку, которую Трегубов сделал по отношению к нему самому. Я не преминул, в своем ответном письме к Дудченко, подчеркнуть, что мы, составители воззвания «Опомнитесь, люди-братья», вовсе не стремимся всеми доступными средствами собрать как можно большее количество подписей—хотя бы даже от лиц, не читавших воззвания; только сознательное присоединение к нашему делу каждого отдельного лица, согласившегося с содержанием воззвания, может быть нам дорого и интересно.

Во всяком случае, так или иначе, но, по получении приписки Дудченко с выражением согласия на подписание воззвания, я уже считал вопрос о присоединении его подписи формально решенным и покончeнным. Позже оказалось, что я ошибся.

На первом допросе жандармской следственной властью М. С. Дудченко показал, что «в октябре или начале ноября 1914 г. им было получено письмо от В. Булгакова, а затем от кого-то было получено и отпечатанное на пишущей машинке воззвание «Опомнитесь, люди-братья», которое, как не соответствующее его воззрениям, было им уничтожено. В то же время, по поводу этого воззвания он немедленно написал Булгакову письмо, в коем указывал на ошибку, допущенную в воззвании, именно, что страдания людей происходят от правящего класса, а не от них самих. В составлении этого воззвания он, Дудченко, никакого участия не

принимал, подпись же его помещена, вероятно, в расчете на его сочувствие, по указанию Ив. Трегубова. Сам же он полномочия на то никому не давал». (Обвин. акт).

Затем, 8 ноября 1915 г., Дудченко подал в Тульское губернское жандармское управление заявление, в котором, в дополнение к своему показанию, пояснял, что «отказываясь от своей подписи под обращением «Опомнитесь, люди-братья»,—в виду несоответствия редакции обращения с его религиозным жизнепониманием,—он в то же время вполне сочувствует добрым, непосредственно исходящим из сердца мотивам, которые лежали в основании данного поступка и были направлены только к достижению мира и любви со всеми людьми. Самое же появление своей подписи об'ясняет только тем простым, нередко случающимся недоразумением, при котором его друзьям могло показаться, что люди, близкие им по общему пониманию жизни, непременно должны быть солидарны и во всех частных, практических своих проявлениях».

Эти официальные показания Дудченко касались подписи его на первых экземплярах воззвания, где еще не было его приписки. Но вот 16 декабря 1914 г., при обыске у одного из участников воззвания Вениамина Тверитина в г. Тобольске, обнаружен был, в числе других документов, также и один экземпляр воззвания «Опомнитесь, люди-братья» *с текстом приписки Дудченко.*

Вновь допрошенный по этому поводу, Дудченко показал, что «Пред'являемая ему приписка по содержанию—та самая, которую он написал Булгакову; *но слова «присоединяя свою подпись» кем-то прибавлены».*

Это было самооправдание, которое обращалось в ужасное (не с полицейской, а с моральной точки зрения) обвинение против меня.

Вероятно, Дудченко сознал это, потому что 9 апреля 1915 г. он обратился к жандармскому полковнику, производившему дознание, с новым длинным письмом, заявляя при этом, что он как бы аннулирует этим письмом все свои прежние показания. Письмо это, во многом трогательное, помимо своего ближайшего отношения к исследуемому нами вопросу и всему «делу толстовцев», представляет также живой интерес в качестве исповедания веры одного из убежденнейших и последовательнейших учеников Л. Н. Толстого. Не желая передавать голоса М. С. Дудченко в извращенном и отрывочном изложении обвинительного акта, я привожу здесь это письмо полностью:

«В виду того, что последние свои показания я давал, находясь в состоянии нездоровья, и черезчур они могли оказаться неточными, считаю нужным высказаться теперь более обстоятельно.

Не ради самооправдания, а для того, чтобы восстановить

истину, я прежде всего упомяну о тех своих верованиях (чем жил и живу), которые могли бы пролить свет на предмет возводимого на меня обвинения.

Самым глубоким моим религиозным стремлением, с тех пор, как я сознательно стал исповедывать христианство, было то, чтобы не делать никакого насилия над людьми; выполнение чего, казалось мне, должно предшествовать всякому доброму, любовному чувству к человеку. И для осуществления этой цели перед мной стояли два пути. Первый—практический, заключающийся в том, что я в продолжении вот уже 25 лет не выхожу из условий трудовой земледельческой жизни и в этих же условиях воспитываю и свою семью, избегая больше всего соблазна привилегированности.

Второй—самый действительный путь—моральный, заключающийся в том, чтобы не требовать от людей большего, чем они дают. И эту мою нетребовательность я старался проявлять не только в отношении окружающих меня—в частности тех, которые могли делать мне какой-нибудь материальный ущерб, никогда не прибегая в этих случаях к содействию суда или полицейских учреждений, но и в отношении тех, которые составляют правящий класс общества и которых на языке своего чувства я называю братьями своими наравне со всеми людьми.

Нетребовательность к последним была для меня тем возможнее, что я не считаю их исключительными виновниками тех несовершенных форм общественной жизни, которые в действительности являются плодами несовершенства жизни всего общества. И поэтому мне чужда «политика», и я меньше всего озабочен мыслями об изменении внешних условий общественной жизни, зная несомненно, что только внутреннее (нравственное) изменение общества может действительным образом изменить и улучшить их. Кроме того, я глубоко убежден, что и самое внешнее воздействие на других, в хорошем смысле этого слова, невозможно по существу, как все то ,что не в нашей власти. Ибо говорит Иисус Христос: «Никто не придет ко Мне, если не призовет его Отец».

Вот те психологические основания, по которым я не мог разделять чуждой мне точки зрения, выраженной в обращении «Опомнитесь, люди-братья», несмотря на все свое желание быть за одно с авторами его—в тех мотивах, в мыслях христианского стремления к любовным и братским отношениям со всеми людьми, которые, я уверен, были в их сердцах. И вот почему, по получении этого обращения с моей подписью, я немедленно послал одному из подписавшихся—В. Булгакову—открытое письмо с категорическим отказом от подписи. В следующем своем письме, посланном через несколько дней на имя того же Булгакова, я счел нужным высказать и те основания, по которым редакция становилась для меня неприемлемой. При этом, не считая нужным снова говорить

об отказе от подписи, отчасти же щадя чувства товарищества, я больше не повторялся. Но, вместе с тем, я очень советовал отказаться от этого неудачного обращения, выразив в письме как раз те свои мысли, которые появились потом в виде моей оговорки или примечания под обращением.

Отрицая в своем предыдущем показании формальную связь содержания своей оговорки с упомянутым обращением, я имел в виду лишь несоответствие или несовместимость того или другого, полагая, что оно было бы более на своем месте в иной, более соответствующей, редакции. Но если, на основании моего же, недостаточно, может быть, ясного письма к Булгакову, была возможность отнести это мое «примечание» и к этому обращению, то только под условием моего несогласия с ним. И с таким пониманием своего участия в обращении «Опомнитесь, люди-братья» я (совершенно) согласиться могу.

Из вышесказанного, я полагаю, вытекает для меня очевидная внутренняя невозможность распространять то, с чем я был несогласен, и поэтому пред'являемые мне обвинения считаю несоответствующими действительности.

Само собой разумеется, что при таковом своем религиозном настроении, к начавшейся войне между народами я не мог отнестись иначе, как с чувством ужаса и не мог не выразить своего настроения в виде открытого заявления, сделанного мной в Полтаве, за что и был уже наказан».

Основная мысль М. С. Дудченко, конечно, ясна. Но с чисто фактической стороны это письмо, как и прежние его показания, неточно, сбивчиво и противоречиво.

После мы увидим, что будет говорить Дудченко на суде.

Последнее письмо, полученное мною от М. С. Дудченко, сопровождалось новой записочкой Андрея Чехольского, в которой он присоединялся к нашему воззванию.

«Милый Валя!—писал Чехольский.—Я бы очень хотел, чтоб ты принял изменения, сделанные Митрофаном Семеновичем в твоем воззвании. Последняя редакция мне очень нравится, и я всей душой под ней подписываюсь. А ведь, мне кажется, ничего не стоит перенести подписи со старого воззвания в новое и рассылать его в таком виде. Конечно, посылать новое воззвание нет смысла тем, кому посылалось уж старое. Приписка же М. С., которую он просит сделать в воззвании, если будет оно по-прежнему, меня не вполне удовлетворяет. Главное, что в последнюю редакцию М. С. переносит всех тех лиц, которые подписали его обращение, чего он не решается сделать под твоей редакцией. Поэтому я еще раз прошу, чтобы вы приняли новую редакцию.

...Если же вы все-таки примете старую, то тогда мою подпись сделайте после приписки М. С.

Шлю тебе сердечный привет!

Андрюша».

Приведеное письмо ясно показывает, как твердо установился среди окружающих Дудченко, столь щепетильного в отношении своей собственной подписи, взгляд, что «ничего не стоит перенести подписи со старого воззвания в новое», не спрашивая даже позволения подписавших и не посылая им нового воззвания. «В последнюю редакцию М. С. переносит всех тех лиц, которые подписали его обращение»,—Чехольский говорит это и, вероятно, сам не отдает себе ясного отчет в том, что обозначает эта фраза.

Подпись А. Чехольского была присоединена к воззванию, с оговоркой, что он присоединяется также и к приписке Дудченко. Эта подпись была найдена властями только на одном экземпляре воззвания, отобранном у В. Тверитина. Личность Чехольского (которого к тому же следственная власть все время по ошибке называла *Чехальским,* установлена не была, и к суду он не привлекался.

Я не помню, от меня или от Трегубова получил Д. П. Маковицкий (род. в. 1866 г.) воззвание. Скорее, от Трегубова. Но запамятовавши одно это обстоятельство, я за то помню так живо, как будто это произошло вчера, наш разговор с Маковицким после того, как я узнал о подписании им воззвания.

Это было в передней Яснополянского дома, около одного из книжных шкафов. Мы столкнулись с Д. П. Маковицким случайно: я зачем-то вышел из своей комнаты, дверь в которую ведет прямо из передней, а Душан Петрович как раз направлялся ко мне, с листком воззвания в руках.

Остановившись около книжного шкафа № 17, Душан Петрович молча протянул мне листок и при первом же взгляде на этот листок я заметил, что к прежним подписям присоединена новая: *Д. П. Маковицкий.*

— И ты хочешь быть с нами, Душан Петрович?—обратился я к старому другу, глубоко тронутый.

— Да.

— Но... легко ли ты это делаешь?.. Тебе не трудно подписать воззвание?

— О, совершенно легко!

— Ну, а то обстоятельство, что ты—австрийский подданный, тебя не останавливает?

— Это не имеет значения!..

Мне хотелось окончательно выяснить отношение Д. П. Маковицкого к вопросу о подписании воззвания, и я, вспомнив, что в свое время Душан Петрович не подписал полтавского обраще-

ния «Наше открытое слово», с текстом которого я его познакомил, спросил еще у него:

— Тогда почему же ты не подписал дудченковского обращения, а это воззвание подписываешь?

— Потому что у Дудченко была фраза, а у тебя выражена сущность!—ответил Душан Петрович.

Мне больше ничего не оставалось возразить. Я пожал Душану Петровичу руку и выразил свою радость, что он присоединился к нам.

В письме к присяж. повер. Н. К. Муравьеву от 20 марта 1916 г. Д. Ц. Маковицкий, в ответ на предложение изложить мотивы, побудившие его подписать воззвание, писал:

«На обращение «Опомнитесь, люди-братья» я смотрел как на напоминание блюсти мир в душах своих. Такое напоминание было мне самому нужно, так как я разжигался войной. Считал, что оно так же нужно и другим борющимся в себе с грехом войны. Подписал его как обращение главным образом *к себе*, ужасаясь тому, как затягивает меня война, и стараясь освобождаться от этого участия в ней мыслями и обретать должное христианское отношение к ней. При этом чувствовал, что я недостоин подписывать его, как обращение к другим, сам не приобретши еще мира в себе. Но все-таки не мог не поддержать возгласа друга, чтобы за ужасами войны мы не забывали бы Бога».

Наконец, одной из подписей, присоединенных к воззванию тотчас по его составлении, была подпись А. П. Сергеенко, старшего сына известного литератора П. А. Сергеенко и ближайшего помощника В. Г. Черткова по его литературным и издательским делам.

Как мы уже знаем, А. П. Сергеенко принимал ближайшее участие в редактировании воззвания вместе со мною и Трегубовым и, кроме того, выработал даже собственный проект воззвания, отклоненный друзьями. Очевидно, что он вполне сочувствовал делу опубликования воззвания против войны. Никаких письменных данных о мотивах подписания Сергеенко воззвания в моем распоряжении не имеется.

Впоследствии А. П. Сергеенко был привлечен к суду, вместе с большей частью подписавших воззвание. Однако, хотя личность Сергеенко и была установлена властями, открыть местопребывание его они не могли, а сам он на суд являться не пожелал. В виду этого дело об участии Сергеенко в составлении и распространении воззвания было выделено судом из общего нашего дела и в марте 1916 г. не рассматривалось.

ГЛАВА V.

ПОДПИСИ ОЛЕШКЕВИЧА, ЛЕЩЕНКО, НИКИТИНА-ХОВАНСКОГО, МОЛОЧНИКОВА, ПЛАТОНОВОЙ И ТВЕРИТИНА.

Следующие подписи под воззванием принадлежали лицам, жившим также в непосредственном соседстве с Ясной Поляной,— и, главным образом,—представителям единомышленной молодежи, обитавшей в доме Чертковых, в Телятенках.

Некоторые из этих подписей долго не могли простить мне родственники и друзья подписавшихся, казалось, выше всего ставившие личную судьбу своих близких. Они готовы были почти открыто обвинять меня в том, что я, как бы «вынудил» ту или иную подпись, воспользовавшись молодостью и «несознательностью» того или другого лица. Это был род той слишком усердствующей защиты, от которой обыкновенно бегают сами подзащитные, готовые предпочесть ей хотя бы даже и прямое обвинение!

Среди единомышленников, не подписавших воззвания, но, тем не менее, не без любопытства следивших за ходом и развитием всего дела, также проскальзывало подчас снисходительно-ироническое отношение ко всему, что мною предпринималось. Надо мной, над моим увлечением подтрунивали, сравнивали его с «спортсменством». В. Г. Чертков не раз, с преувеличенно-внимательным и в то же время шутливым видом, осведомлялся у меня:

— Ну, что, сколько еще новых подписей собрано?..

Все это были мелкие тернии того положения, в которое невольно поставил меня И. М. Трегубов, возложив на меня собирание подписей. Приходилось терпеть их.

Впрочем, пусть правдивый рассказ обо всех дальнейших обстоятельствах присоединения подписей к воззванию покажет, в чем я был свободен от обращенных ко мне упреков и в чем, действительно, заслужил их.

Дворянин, сын офицера и единомышленник Л. Н. Толстого, П. Н. Олешкевич (род. в 1889 г.), работавший по «Своду мыслей Л. Н. Толстого» в доме Чертковых, подписал воззвание в Телятенках.

Как заявил Олешкевич на суде, он вполне разделял выраженные в воззвании взгляды и потому счел своим нравственным долгом, долгом совести присоединиться к воззванию, дав свою подпись.

Отчетливо помню, как после одного из посещений дома Чертковых я собрался уходить обратно в Ясную Поляну и во дворе, близ мастерских, встретился с Григорием Лещенко (род. в 1882 г.), нашим общим другом, домашним слесарем и столяром у Чертковых, занятым какой-то очередной работой. Я при-

остановился, чтобы проститься с Лещенко, и тут он заявил мне о своем желании подписаться под воззванием против войны, прося присоединить к воззванию его подпись. Я ответил, что исполню его желание, но при этом, признаться, пожалел Лещенко: был светлый, солнечный день, Лещенко в одной рубашке, без шапки так хорошо работал во дворе, а, между тем, ведь он только что выпущен был из тюрьмы, где отбыл довольно продолжительное предварительное заключение по делу о распространении им запрещенных сочинений Л. Н. Толстого.

— А если тебе опять придется сидеть в тюрьме, Гриша?— спросил я у Лещенко.

Но он в ответ только махнул рукой: эка, мол, невидаль! отсидим, коли нужно будет! семь бед, один ответ!

Лещенко об'яснял мне после, что с об'явлением войны он сам не раз думал о том, что людям нашего жизнепонимания «надо хоть что-нибудь да делать» в противовес всеобщему увлечению войной. Но так как лично он работал больше в поле да в мастерской и литературой никогда не занимался, то он ничего и не предпринял. А когда появилось наше воззвание, решил поддержать его. И никогда в своей подписи не раскаивался.

Будучи привлечен к дознанию, Лещенко на первом допросе у следователя отказался отвечать на какие бы то ни было вопросы. Но затем показал, что дал согласие на помещение своей подписи под воззванием в разговоре со мной, *самого же воззвания не читал,* а только слышал о нем. Согласился же на помещение своей подписи потому, что сочувствовал содержанию воззвания. То же самое, приблизительно, показывал Лещенко впоследствии и на суде.

Только после суда он раз'яснил мне, что показал властям *не прямо*. Оказывается, Лещенко побоялся, что если он скажет прямо, что *читал* воззвание, то у него начнуть допытываться, кто именно дал ему воззвание и где он читал его. Опасаясь как-нибудь неосторожно проговориться, он и решил показывать, что не читал воззвания, а слышал о нем; ему казалось, что он может так говорить, потому что и в действительности, хотя он *хорошо знал воззвание, но сам не читал его, а только слышал, как оно оглашалось* на собрании в доме Чертковых. Кроме того, ночуя в одной комнате с Трегубовым, он вел с ним длинную беседу о воззвании. Такова была простодушная уловка этого милого человека, допущенная им с тою целью, чтобы не подвести кого-нибудь из друзей. А, между тем, какое странное впечатление производило на первый взгляд показание Лещенко, что он подписал воззвание, не читая его!..

А. Е. Никитин-Хованский (род. в 1892 г.), крестьянин по рождению и счетовод по образованию, бывший воспитатель одного из малолетних внучат Льва Николаевича (сына Андр. Л. Толстого), давно близкий с Чертковыми и в 1914 г. работавший у

них в качестве ремингтониста, подписал воззвание в Телятенках. Никитин-Хованский знал о составлении воззвания и знаком был с его содержанием, но, как и другие обитатели дома Чертковых, специального приглашения от меня принять участие в воззвании не получал.

Как-то я зашел в комнату А. Е. Никитина-Хованского,—или, проще, Саши Никитина,—и на письменном столе у него увидел открыто лежащий листок с нашим воззванием,—и даже, помнится, не один, а несколько таких листков. Комната была пуста, а дверь в нее открыта настежь.

Меня удивила такая неосторожность, и, встретясь с Сашей Никитиным, через несколько минут, в той же комнате, я обратил его внимание на валявшиеся по столу листки (или листок) воззвания.

— Как же это ты так неосторожен?

Мой молодой друг беспечно улыбнулся.

— Это я нарочно выложил: пускай читают!

Он посмотрел на меня, и мы оба рассмеялись такой «открытости».

— Отчего же ты сам не подпишешь воззвания?—спросил я.

— Я думал об этом,—ответил Никитин.—Но только—что же будет значить моя подпись, и мое имя, никому не известное и ничего не говорящее?..

— Как, что будет значить?!—с жаром возразил я.

Уже не в первый раз сталкивался я с этим взглядом, что будто только «известные» лица должны подписываться под воззванием. Я совершенно иначе смотрел на это.

— Будет значить то, что—вот и еще одна христианская душа протестует против войны!—сказал я Никитину. — Вовсе не одни только «знаменитости» могут подписываться под воззванием. Это совершенно ложный взгляд! Всякая подпись важна!

— Ты думаешь?—спросил Никитин.

— Конечно!—ответил я.

И тут, видя, что Саша не прочь подписать воззвание и колеблется только под влиянием сомнения относительно «ценности» своей подписи, я невольно перешел в шутливый тон: конечно, надо подписываться! тем более, что и фамилия у него такая славная, звучная: Никитин-Хованский! даже кажется, что будто два лица подписали: и Никитин, и Хованский...

Саша смеялся вместе со мной, а затем сказал, что подпишет воззвание.

— Но ты знаешь, за это мы можем попасть в тюрьму,—сказал я ему.

— Ну, что же, за то все вместе туда пойдем! Так и быть, отсидим три месяца!..

Никитин имел в виду как раз изданное в то время,—если

не ошибаюсь, московским генерал-губернатором, — постановление о том, что всякие «призывы к миру» во время войны будут караться арестом до 3 месяцев. Правду сказать, многие из нас именно на это наказание и рассчитывали.

В ответ на последние слова друга, я обнял и расцеловал его.

В особой записке, составленной впоследствии А. Е. Никитиным-Хованским,—частью для защитников, частью просто для сведения близких и друзей, между прочим, говорится:

«Несмотря на то, что главная цель «воззвания» одна, а именно: призыв вспомнить, что все мы—христиане, призыв к неубийству, и что все действовали из религиозных соображений, тем не менее, степень участия в этом деле каждого лица не одинакова, и мотивы, побудившие примкнуть к протесту, большею частью вполне индивидуальны.

Как нельзя упускать из виду того, что у многих из подписавшихся было при этом горячее желание высказать во всеуслышание свое отрицательное отношение к кошмарному, бессмысленному убийству, у иных же желание показать людям, что не все еще обезумели и что вовсе нет того всеобщего под'ема народных масс, о котором так много писалось в газетах,—так нельзя не допустить и того, что были и такие лица, которые подписали ради того, чтобы этим выразить свое сочувствие и согласие близким им по духу мыслям. Словом при одной главной цели было много самых разнообразных мотивов...

Давая свою подпись, я, разумеется, был согласен с основной мыслью этого протеста. Видел в нем добрые побуждения. Но дальнейшей судьбой его не интересовался...

Народ не хочет войны, с самого ее начала. Это станет ясно, если имеешь непосредственное общение с народом. Что бы ни кричали о всеобщем народном патриотизме (в газетах) и что бы ни говорили разные ученые и неученые экономисты о конечных благах этой «священной войны», народ уверен,—уверен своим долгими веками накопленным чувством,—что война, не говоря уж об армии калек, сирот и вдов, на долгие годы расстроенном внутреннем хозяйстве,—кроме еще более тяжелой жизни для народа, ничего принести не может.

Все сражающиеся рвутся к своим оставленным хатам, полям и к своей честной общеполезной трудовой жизни, и весь честно трудящийся народ ждет не дождется ее скорейшего прекращения.

И среди этого ли народа распространять воззвания о неучастии в войне? Говорить и желать ему то, что он лучше нас и давно знает и желает себе из покон веков!..

У каждого «серого героя» (как у нас прославляет их натравляющая, пишущая в газетах интеллигенция) из рода в род передается более понятное для них, чем это выражено в протесте «Опомнитесь, люди-братья», великое чувство уважения к жизни другого. И если бы не хитрое усыпление правительством и цер-

ковью народного сознания (водка, темнота, ложное толкование христианской религии), никогда бы не пошел он на такое дело, как убийство.

Все это я говорю к тому, почему я не могу смотреть на этот протест как на протест, предназначенный для распространения *в народе»*...

В первые же дни по составлении воззвания, однажды ко мне, в комнату мою в доме Толстых в Ясной Поляне, зашел 18-летний юноша А. В. Молочников (род в 1896 г.), бухгалтер потребительского общества крестьян Ясной Поляны, сын известного последователя Л. Н. Толстого в Новгороде. Скучая деревенским одиночеством, молодой Молочников частенько заглядывал ко мне.

Не знаю, увидал-ли он сам на столе наше воззвание или я предложил ему ознакомиться с ним, но только, присевши к столу, Молочников стал читать это воззвание. Он заявил при этом, что хотя и слышал о воззвании у Чертковых, но еще не успел прочесть его.

Помнится, что, едва дочитав листок, юноша схватился за ручку, чтобы подписать его. Тут я вмешался и,—по совету И. М. Трегубова, который говорил, что надо предупреждать о возможности правительственных гонений за воззвание всех, «в ком твердо не уверен»,—указал Молочникову на таковую возможность.

— Ну, что же!—возразил молодой человек: самое большее, что мне будет, это—высылка в Новгород, к отцу, как «несовершеннолетнего»!..

Но тут он спохватился и даже обратился ко мне за советом: может-ли он сам отвечать перед властями за свой поступок, будучи юридически несовершеннолетним? не могут ли власти переложить ответственность за его подпись с него самого на его отца?

— А на какие ты средства проживаешь?—спросил я у Молочникова: содержишь-ли ты себя сам, или тебя содержит отец?

— Сам содержу себя.

— Ну, значит, ты—самостоятельный человек.

Молочников удовлетворился таким ответом и подписал воззвание.

Вот за этот случай я чувствую теперь укоры совести: может быть, мне следовало бы, в виду проявленного Молочниковым хотя бы минутного колебания, непременно отговорить молодого человека от подписывания воззвания, а я своими словами как будто подтолкнул его на это.

К счастью, кара, понесенная А. Молочниковым за подписание воззвания, была невелика: всего полтора месяца предварительного тюремного заключения. И, нужно отдать ему справедливость, он с полным мужеством перенес это заключение в Тульской тюрьме, в камере рядом со мной.

За то чрезвычайно негодовали родители Молочникова на то,

что их сын был привлечен к участию в воззвании, или, вернее, на то, что ему пришлось угодить за это в тюрьму.

22 января 1915 г. Вл. А. Молочников писал И. М. Трегубову: «Сегодня получил из Телятенок печальное известие, что сын мой, в числе подписавшихся под воззванием, посажен в тюрьму... Вероятно, так Богу надо, но жалко Анну Яковлевну *). Тяжело приняла известие. Откровенно говоря, самое воззвание имеет в себе не только внутренние противоречия, но прямое доказательство несостоятельности его. «Не перестанем воевать, пока в нас зверь». Значит, надо бороться с злом в нас, а не со следствием. Вот почему легкомысленно было подсовывать мальчику для подписи».

Позже (1 января 1916 г.) отец—Молочников так писал присяж. пов. Н. К. Муравьеву, взявшему на себя защиту обвиняемых «толстовцев»: «Поддавшись всеобщему патриотическому одушевлению, Александр с такой страстью жаждал победы над немцами, что я не удивился бы, если бы узнал, что мой сын поступил добровольцем в армию. На мой вопрос он даже сказал, что *хоть сейчас поступил бы в армию, если бы только не чувствовал отвращения к убийству*». (Курсив мой).

В этом письме особенно примечателен конец: пошел бы в армию, если б не чувствовал отвращения к убийству. Это все равно, что сказать: с удовольствием бы зарезал и зажарил для вас этого петушка... если бы только я не был вегетарианцем!...

Мы не знаем, кому больше принадлежит эта фраза: Молочникову—сыну, подписавшему воззвание против войны, или Молочникову—отцу, желающему во что бы то ни стало спасти сына от грозящего ему наказания. Но допустим, что отец, да еще столь проницательный, лучше всего знал недостатки своего сына; учтем также и то, что, как мы увидим, молодой Молочников и сам, в письме к Н. К. Муравьеву, намекал на симпатии свои к задачам «союзников» и России в мировой войне (подобно старому Душану, обращавшемуся с призывом опомниться от гипноза войны прежде всего *к самому себе,* Александр Молочников, очевидно, также принадлежал к числу *колеблющихся).* И тем не менее, едва ли «лепо» было отцу-Молочникову, и именно ему, поступать так, как он поступал: добиваясь оправдания сына, прибегать к опорочению и дискредитированию того чистого и искреннего движения, результатом которого несомненно было подписание молодым Молочниковым воззвания.

Свое понимание смысла и назначения воззвания А. В. Молочников прекрасно выразил в следующем письме к Н. К. Муравьеву (от 2 января 1916 г.):

«Находясь в тюрьме, я как-то послал (нелегальным путем) Булгакову записку (его камера находилась рядом с моей). Я писал приблизительно, что, по моему мнению, смысл нашего воззвания

---

*) Мать обвиняемого.

состоит не в том, что мы призываем население России отказываться от войны с Германией или Австрией—эта мысль, при наших взглядах, без сомнения должна казаться нелепой,—а в том, что мы, указывая на войну, как на следствие вообще ложной, ошибочной жизни, обращаемся к людям-братьям с призывом изменить свою жизнь так, чтобы впредь не повторялись подобные бедствия, и не искать избавления от войн в устранении внешних условий, вроде прусского милитаризма.

Булгаков ответил, что он совершенно согласен со мной.

Так что ни о какой измене не может быть и речи.

А про себя я скажу, что более правой из воюющих сторон я считаю Россию и союзников и твердо уверен в том, что победа останется за ними».

Мне остается только добавить, что все, изложенное в этом письме, фактически совершенно верно.

Очень трогательно по своей обстановке было присоединение к воззванию молодой девушки, проживавшей у Чертковых в качестве портнихи, Кл. Дм. Платоновой (род. в 1893 г.),—или, как ее зовут все близкие, Клаши Платоновой.

Родом крестьянка Ярославской губ., очень развитой и интеллигентный человек, К. Д. Платонова была убежденной последовательницей мировоззрения Л. Н. Толстого. С друзьями Льва Николаевича она сблизилась через своего старшего брата Николая Платонова, отказавшегося в 1910 г. от военной службы по религиозным убеждениям и отбывшего за это 4 года в арестантских ротах. В 1910 г. в судьбе Н. Д. Платонова принимал участие и сам Л. Н. Толстой.

Обвинительный акт следующим образом протоколирует результаты первого допроса Платоновой:

«Клавдия Платонова об'яснила, что живет она у Чертковых в качестве домашней портнихи, но знает ли кого из лиц, подписавших воззвание «Опомнитесь, люди-братья», отвечать отказывается. Может лишь сказать, что означенное воззвание подписала собственноручно и знала, что оно будет распространено».

Подписала же воззвание Платонова так.

Однажды я был в Телятенках и там дал кому-то для прочтения экземпляр воззвания «Опомнитесь, люди-братья». Тогда же этот экземпляр, уже помимо меня, попал к Клавдии Платоновой.

Незадолго до моего ухода в Ясную Поляну, Платонова подошла ко мне и вручила мне аккуратно сложенный вчетверо листок с воззванием. Я поблагодарил ее, сунул листок в карман и ушел домой.

И только дома, развернувши листок, я увидал, что на нем имеется новая подпись: «Клавдия Платонова».

Встретившись, дня через три после этого, с Платоновой, я спросил ее:

— Клаша, а вы тогда подписали воззвание?

— Да, — просто ответила она, улыбаясь своей спокойной улыбкой.

— Почему же вы не сказали мне об этом, когда отдавали назад бумажку?

— Зачем? Я думала, вы увидите сами.

— А вы знаете, что это воззвание может иметь неприятные для всех нас последствия?

— Да, знаю.

На этом наш разговор кончился. Я почувствовал, что в искренности и твердости Платоновой не может быть ни малейшего сомнения.

На суде К. Д. Платонова следующим образом рассказывала об обстоятельствах и мотивах своего присоединения к воззванию.

— Я нашла воззвание в своей комнате, его читал мой брат и оставил у меня на столе. Я прочла, вижу, что в этом воззвании выразился крик против войны, согласилась с мнением, выраженным в воззвании... (улыбается) и подписала.

Председатель. Вы в этой комнате были одна, и никто не знал, что вы подписали?

Платонова. Да, никто не знал.

Председатель. Что же вы хотели выразить, давая подпись? Вами руководили соображения религиозные? Своей подписью вы выразили, что содержание этого воззвания вы вполне разделяете, что это содержание совпало с вашим внутренним духовным пониманием?

Платонова. Да, я вполне разделяю все то, что выражено в нем. Только я не согласна с таким способом распространения, чтобы расклеивать и разбрасывать воззвание, не зная, как отнесутся к нему те люди, к которым оно попадет. Может быть, они совсем не в силах понять его, или поймут иначе. Но если бы желающий чуткий человек попросил меня дать ему прочесть воззвание, или в беседе с ним я почувствую, что он понимает меня, то сочту своим долгом дать ему. Я бы не могла отказать.

Председатель. Допускали ли вы, что это воззвание может побудить к определенным поступкам — к отказам от военной службы?

Платонова. Нет, этого я никак не могла допустить. У меня есть брат на войне, человек мягкой души, который не сочувствует войне, но не имеет сил отказаться. И я терзаюсь душой, так как не могу помочь ему, не могу сказать ему: «брат, брось оружие, не ходи на войну», так как знаю, что внутреннее сознание у него не укрепилось, он не дорос еще до того, чтобы отказаться. Если я своему брату не могу посоветовать этого сделать, зная его больше, чем других, то тем более не могу сказать этого другим людям. А вот другой мой брат, старший, напротив, отказался от военной службы, но я не скажу, чтоб я его любила больше, чем младшего, совсем нет. Я знаю, что он живет

самой лучшей жизнью,—он нашел свой путь, по которому и идет. Но младшего брата я люблю даже больше, чем старшего, несмотря на то, что не сочувствую его жизни. Я считаю войну ужасной, недопустимой, и это не заставляет меня меньше любить его...

В Ясной Поляне присоединил свою подпись к воззванию Вениамин Тверитин, осложнивший после судебное следствие выпуском в г. Тобольске еще другого, самостоятельного, очень резкого воззвания против войны.

Если Александр Молочников достиг в момент подписания воззвания 18-ти лет, то Вениамину Тверитину едва-ли было 16. Это был самый юный из участников воззвания.

Тверитин впервые появился на яснополянском горизонте в 1913 или 1914 году, в качестве ученика старших классов Тюменьского реального училища. Он тяготился нудной школьной учебой и мечтал о выходе из училища, с тем, чтобы затем поселиться в деревне и заниматься физическим трудом, приглядываясь в то же время к народной жизни и к народным нуждам, «чтобы узнать как их лучше удовлетворить».

Это желание было через несколько месяцев осуществлено Тверитиным. Он поселился на первое время в единомышленной Л. Н. Толстому семье Булыгиных, в небольшом именьице Булыгиных при дер. Хатунке, Тульской губ., всего за 15 верст от Ясной Поляны. Семья состояла из отца —горячего, порывистого человека, М. В. Булыгина, выступавшего постоянно на судах в качестве защитника крестьянских интересов, и четырех сыновей, из которых двое взрослых—Сергей и Иван —были воспитаны и жили как простые рабочие. Жена Булыгина умерла несколько лет тому назад.

Это была одна из благороднейших и интереснейших семей, какие только мне доводилось знать. Сам М. В. Булыгин, сын сенатора и двоюродный брат бывшего министра внутренних дел, в молодости окончил пажеский корпус и служил офицером; затем, познакомившись со взглядами Льва Николаевича, он оставил службу, поселился в деревне и занялся сельским хозяйством. Государство, которое он приравнивал к воплощению «Антихриста», имело в нем теперь злейшего врага. Дети воспитывались и росли под мыслью, что, когда настанет время, они должны будут отказаться от военной службы и уйти на несколько лет в тюрьму. Старший из сыновей Сергей был чрезвычайно одаренный юноша. Он выдавался в особенности своей способностью к отвлеченному мышлению, а также глубокой религиозностью и высоко-нравственным, последовательным образом жизни. В последнем отношении ему вполне был равен и младший его брат Иван.

Нам не раз еще, в дальнейшем изложении, придется говорить о представителях этой семьи.

Тверитин прожил в Хатунке довольно долго, работая, как в имении, так и на деревне, счастливый от этой, незнакомой ему прежде, обстановки простой, трудовой жизни, среди милых и близких по духу людей.

Но через некоторое время безмятежное состояние его духа было нарушено целым роем новых, овладевших им мыслей. Близкое ознакомление с деревенской нищетой, особенно поражавшей Тверитина, как сибиряка, произвело на юношу настолько сильное впечатление, что он перестал уже удовлетворяться одним только чисто пассивным пребыванием в деревне, хотя бы и на положении простого рабочего человека. Пылкого юношу влекла к себе *активная общественная работа,* посредством которой можно было бы надеяться приблизить перемену всего внешнего строя народной жизни и тем самым содействовать скорейшему облегчению положения крестьян. Но что мог предпринять Тверитин, находясь в среде и под влиянием «толстовцев», отрицавших всякие внешние—насильственные или революционные—перевороты?! Может быть, находись в то время Тверитин в среде революционеров, он и сам сделался бы революционером. Но пока он не мог додуматься ни до чего другого, кроме как до того, чтобы открыть в имении Булыгиных, тайно от всех и даже от самого хозяина, типографию, с целью печатания и распространения нелегальных, противуправительственных и противуцерковных, сочинений Льва Толстого.

Тверитин открыл только одному мне свой план, а я уговорил его поделиться этим планом еще с Сергеем Булыгиным, чтобы затем обсудить все совместно.

При обсуждении, как я, так и Сергей Булыгин (рассуждавший в данном случае, разумеется, не как сын своего отца, а вполне об'ективно), отнеслись к предположениям Тверитина несочувственно. Мы указывали ему на то, что одностороннее ознакомление читателя с одной только *резко отрицательной* стороной взглядов Толстого может произвести совершенно нежелательное, с нашей точки зрения, впечатление, пробуждая чисто революционные стремления, чему мы, как противники всякого насилия, не можем сочувствовать. Мы доказывали поэтому, что не меньшую важность имеет параллельное, или даже предварительное, ознакомление читателей с глубокой *религиозной основой* мировоззрения Толстого, на необходимость чего постоянно указывал и сам Толстой. А для служения этому делу устройство тайной типографии, пожалуй, и не нужно.

Тверитин выслушал нас и, пока что, послушался.

И вот, когда мною составлено было воззвание против войны и я стал собирать подписи под ним, Вениамин Тверитин явился из Хатунки в Ясную Поляну и обратился ко мне с просьбой присоединить его подпись к воззванию.

Что мне было делать? В душе я вовсе не считал, что право и обязанность присоединиться к воззванию против войны должны измеряться годами подписывающего. В частности, в Вениамине Тверитине меня глубоко трогала та убежденность, которую он привносил в свое желание присоединиться к воззванию, а также безупречная чистота его души, на ряду с пылким энтузиазмом первых революционных, в лучшем смысле, порывов. Кроме того, я считал, что я лично, ведь, не имел собственно решительно никакого права отклонять или не отклонять ту или иную подпись, о желании присоединить которую к воззванию мне прямо и откровенно заявляли: иначе я становился бы в положение судьи своих единомышленников. Но, с другой стороны, крайняя юность Тверитина смущала меня. Я любил этого мальчика, как брата или как сына, вовсе не считая его «присяжным толстовцем», обязанным, как бы в силу своего положения, присоединиться к воззванию,—и на этом основании употребил все доводы, чтобы отклонить Тверитина от подписи.

Но все эти доводы разбивались о каменную гору его желания быть участником воззвания. В конце концов, разговаривая со мной, молодой человек, видимо, начал даже терять терпение...

И вот тут, глядя на него, мне пришло в голову, что не вышло бы хуже в том случае, если я настою на своем отказе принять подпись Тверитина. В самом деле, что, если я, оттолкнув Тверитина от возможности принять участие в столь редком и, пожалуй, даже единственном в нашей «толстовской» среде случае «активного» общественного выступления,—тем самым одновременно оттолкну его и от «толстовства»?! Что, если горячий мальчик, недовольный тем, что «толстовцы», под предлогом его молодости, не приняли его в свою работу, тотчас перекинется в лагерь революционеров, которые уж, конечно, не станут справляться в его метриках об его возрасте, а, наоборот, будут очень рады его, столь прямодушно предлагаемым, услугам?!

Судя по напряженному душевному состоянию Тверитина, такой оборот дела представлялся совсем не невероятным.

Но тогда о чем же рассуждать? Конечно, пусть лучше юноша примет участие в нашем общем христианском деле и пусть несет последствия этого дела, учась страдать смолоду, но за то избежит нежелательного уклона в ту сторону, где ему снова придется забыть о столь возвышающих и украшающих его жизнь идеях истинного братства и всеобщей любви. Осторожность не к месту бывает подчас хуже всякого безрассудства.

И я присоединил подпись Тверитина к воззванию.

В. Булгаков.

ГЛАВА VI.

ПОДПИСИ ХОРОША, БУТКЕВИЧА, ПИЛЕЦКОГО И НЕКРАСОВА.

М. И. Хорош (род. в 1894 г.), молодой еврей, сын конфектного фабриканта в местечке Почеп, Черниговской губ., один из самых верных и преданных участников всего дела, хорошо познакомился с воззванием в доме Чертковых, в Телятенках, где он гостил проездом, направляясь с своей родины в Москву, для поступления братом милосердия в лазарет, который предполагало открыть Вегетарианское общество. Он ждал окончательного ответа по этому делу от Вегетарианского общества, а в свободное время навещал друзей по окрестности. Собрался в с. Хмелевое, верст за 20 от Телятенок и верст за 10 от г. Тулы, к подвижникам «толстовства» Попову и Пульнеру. Узнав об этом, я дал Хорошу экземпляр воззвания для Сергея Попова и просил узнать мнение последнего о воззвании.

Вернувшись, Хорош сообщил, что Сережа Попов «с воззванием согласился, с оговоркой, что у него есть еще свой взгляд». Мне неясно было из этих слов, присоединился-ли Попов к нашему воззванию или нет (после оказалось, что да), и я не присоединил тогда его подписи к воззванию.

Передавая мне слова Попова, Хорош спросил:

— Почему же ты мне не предлагаешь подписать это воззвание?

Я ответил, что это—дело его и что, наверное, если бы он хотел подписать воззвание, то сам заявил бы мне об этом.

— Я охотно присоединю свою подпись!—сказал Хорош.

— Да, но ты знаешь, что за это может быть тюрьма? Вообще, это дело не так просто. Смотри, готов-ли ты?

Хорош настаивал на своем желании, и я тогда же, в Ясной Поляне (куда зашел Хорош по дороге из Хмелевого в Телятенки и где происходила наша беседа), подписал его имя под воззванием.

При этом один экземпляр воззвания молодой человек взял у меня для себя. На другой день, уже в Телятенках, он, несмотря на об'явленное по дому запрещение В. Г. Черткова пользоваться принадлежащими ему «ремингтонами» для размножения воззвания, сделал на пишущей машинке несколько копий воззвания и стал рассылать их своим друзьям.

О мотивах, побудивших его к подписанию протеста против войны, Хорош, в письме своем к присяжн. пов. Н. К. Муравьеву, от 4 января 1916 г., писал:

«... Я был крайне возмущен передовой печатью, литераторами, публицистами, писателями, которые стали выражать сочувствие войне, когда в мирное время они разглагольствовали о морали, о нравственности. И вот, читая воззвание, я ясно почув-

ствовал, что оно очень кстати: необходимо сказать, что есть такие, которые не с ними; что исповедуемая всеми воюющими державами религия—в корне своем против войны, что только неверующий в живого Бога Любви и Мира может поддерживать войну. Я подписал воззвание, разделяя душою и разумом все в нем сказанное».

В деле имеется еще следующее заявление Хороша, сделанное им жандармской власти по окончании следственного дознания:

«Присоединяя свою подпись к воззванию «Опомнитесь, люди—братья», я, во-первых, руководился сознанием долга, вытекающего из моих христианских взглядов, в основу которых я полагаю заповедь Христа о любви к ближнему, кто бы он ни был: враг или друг. Во-вторых, я чувствую, что воззвание не имело целью призыв к неучастию в войне, ибо это было бы равносильно желанию притянуть луну к земле, а также не имело целью измену Русскому государству, ибо мы (скажу словами христианского богослова Оригена), «призывая к ненарушению любви и мира, гораздо полезнее властям, чем их войны. Мы истинно участвуем в трудах, имеющих целью общественное благо, мы более всех воюем за благо государства. Правда, мы не служим под знаменами на поле сражения, но мы сражаемся за него на поле добродетели».

Это изречение Оригена, Хорош заимствовал из книжки по истории философии, которую он читал в тюрьме.

Именем Р. А. Буткевича открывается ряд подписей, поступивших в ответ на *письменные* мои обращения. Обращения эти, незначительно варьируясь в зависимости от моих личных отношений с тем или другим лицом, в общем имели однородную, короткую редакцию.

Вот образец таких обращений. Это—письмо, отобранное при обыске у В. П. Некрасова, одного из подписавших воззвание:

«Милый Василий Пахомович!

... Посылаю вам христианское обращение по поводу войны, которое будет распространено в России и в воюющих странах. Может быть, вы или ваши близкие и те, кому вы найдете нужным предложить, пожелаете присоединить свои подписи к нашим. Об этом будьте добры известить меня поскорее.

Пока желаю вам от души всего хорошего!

Любящий вас *В. Б.*».

Обращения подобного рода я рассылал только лицам, известным мне в качестве единомышленников. Очень немногие из них, —как П. Ледерле, А. Шур и С. Каневский, с которыми я не встречался,—названы были мне друзьями.

Один экземпляр воззвания я отправил в г. Томск, своей матери, с целью поставить ее в известность насчет того, что мною предпринималось, на случай всяких неожиданностей.

Всех обращений разослано было мною, до моего ареста, около 50 с лишним экземпляров.

Если кто-нибудь из адресатов, при своем ответе, возвращал мне обратно экземпляр воззвания, то я вновь пользовался этим экземпляром для посылки его другому лицу, присовокупляя только каждый раз вновь набравшиеся подписи.

Чтобы труднее было вскрыть конверт где-нибудь по дороге в «черном кабинете», я запечатывал каждое письмо отцовской гербовой сургучной печатью. Вид печати придавал письму солидность и благообразие, с оттенком известного консерватизма. Трудно было предположить, чтобы в конверте заключалась такая ересь, как наше воззвание. В самом деле, хотелось довести затеянное нами до конца.

Так воззвание облетело многие уголки России, с маленькими сосредоточиями «толстовцев». Но, конечно, далеко не все.

И подписывались под воззванием также отнюдь не все единомышленники, а только немногие из них: с одной стороны—те, кто был посмелее, с другой—те, у кого не возникало принципиальных возражений против формы или содержания воззвания. Но, конечно, не может быть сомнения в том, что если бы нам удалось довести до конца процедуру собирания подписей, то их набралось бы под воззванием не 40, а гораздо больше.

В моих бумагах нет ответного письма Буткевича. И, сколько припоминаю, ответ Буткевича с выражением согласия на подписание воззвания, был передан им мне устно, через посредство кого-то из наших общих знакомых. Сделать это было очень просто, так как хутор Буткевичей, при с. Русанове, Одоевского уезда, Тульской губ., находился всего в 35 верстах от Ясной Поляны и в 20 верстах от имения Булыгиных в Хатунке. Через Булыгиных обыкновенно и поддерживались сношения между Телятенками и Ясной Поляной с одной стороны и хутором Буткевичей, при с. Русанове, с другой.

Момент подписания воззвания роковым образом совпал для Буткевича с моментом отказа его от военной службы. Оба эти момента настолько переплелись, что я позволю себе говорить об обоих вместе.

Рафаил Буткевич (род. в 1893 г.—скончался в 1916 г.), сын известного пчеловода и одного из первых по времени последователей Л. Н. Толстого, принадлежал к наиболее чистым и идеалистически настроенным натурам, какие можно изредка встречать на земле. Христианское миропонимание развивалось и крепло в нем с детства, под влиянием семейных традиций и обстановки, а

также близости Ясной Поляны и постоянного общения с теми, кто ютился вокруг нее.

Вопрос об отказе от военной службы решен был Буткевичем заранее, давно уже и, как ему казалось, бесповоротно,—конечно, в положительном смысле. Эта перспектива отказа и тюрьмы оставляла юношу совершенно спокойным, но за то служила постоянным источником нравственных мучений для его матери, старавшейся охранять всеми силами действительно слабое здоровье своего сына, нежного и хрупкого, пережившего в ранней юности жестокий гнойный плеврит с серьезной операцией в грудной области.

Сын видел мучения матери, всей душой желал облегчить их, но считал, что веление Бога для него выше и обязательнее сыновних чувств.

Конечно, по всему состоянию своей духовной структуры, Рафаил Буткевич *не мог* быть солдатом. Но вопрос-то стоял иначе, «легче», и из-за этого именно мать проводила определенную политику относительно сына. Дело в том, что физическое здоровье Буткевича, в связи с последствиями тяжелого плеврита и операции, не оставляло никакого сомнения, что молодой человек будет «забракован» при приеме. Поэтому, все сводилось к тому, заявлять или не заявлять в воинском присутствии о своем нежелании служить солдатом, на основании отрицательного отношения ко всякому убийству и насилию. Мать доказывала, что такое заявление было бы совершенно излишне. Сын считал, что его долг заключается в том, чтобы, когда он будет призван, сделать заявление об отказе от военной службы еще до медицинского осмотра.

Когда, в начале октября 1914 г., наступил день и час явки, Р. Буткевич явился в воинское присутствие в г. Одоеве, предстал перед испытательной комиссией и... вспомнив о матери, не сделал никакого заявления о своих убеждениях. Его осмотрели, нашли непригодным к военной службе и освободили от нее навсегда.

Всеобщее ликование встретило юношу в доме родителей,—он вернулся туда мрачный. Совесть мучила его, что он ничего не сказал на призыве,—мучила до отчаяния.

Вот полное отчаяния письмо ко мне Р. Буткевича, набросанное им по прибытии домой из Одоева:

«Валя, голубчик! Я не отказывался. И если я раньше боялся пытки маминых страданий, то теперь попал еще в более ужасную пытку,—пытку совести, и никогда не чувствовал себя так тяжело, как теперь. И если бы ценою хотя бы самого тяжелого наказанья я мог вернуть себе прежнее положение, то не задумался бы сделать это, ибо только теперь яснее ясного понимаю, какой смертный грех из всех грехов смертных было мое молчание на призыве.

Первое зло было то, что я допустил для мамы медицинский осмотр, а для Бога, для совести был нужен отказ. И этот идиотский, гадкий компромисс на практике не выдержал у меня критики, и я молчал, где нельзя было молчать, где своим молчаньем я расписался перед всем, что творится самого ужасного и гадкого не только у нас в жизни, но признал и войну,—и никакие протесты, жалкие в сравнении с тем, что мне было дано, не искупят моего поступка.

Валя, больно. Нельзя было ехать туда, а если я согласился на это, то нельзя было допускать и мысли о каком-то осмотре, а надо было прийти, сказать о своем отношении и уйти. Ведь ни чуточки же я не боялся их, а боялся мамы,—и в этом было мое несовершенство. Какой бы радостью были бы для меня какие-нибудь арестанские роты, если бы я мог вернуть все прошедшее.

И если перед другими я мог выставить какое-нибудь жалкое оправдание, то, ведь перед Богом, перед совестью нет никаких, и здесь жжет, как каленым железом.

И пусть разочарованье друзей (никто из друзей не мог, вследствие этого, разочароваться в Рафе. В. Б.) и мука души будут должным наказаньем, и дай Бог, чтобы на этой почве выросло более глубокое отношение к жизни. Но, ведь, кажется, с таким душевным состоянием и жить-то не полагается.

Твой *Рафа*.

Воззвание послал одним знакомым для подписи, но, кажется, затерялось. Вася и Гриша Демыкины *), кажется, подпишутся, но нет текста, чтобы дать им прочесть. Господи! Хоть бы за него засадили, все бы легче было. Больно и гадко, гадко и больно».

Отчаяние Рафаила было настолько велико, что он не мог допустить остаться положению вещей таким, как оно создалось. Молодой человек решается на новый шаг: в специальном письме на имя Одоевского воинского начальника он изливает все свои чувства и мысли, вызванные войной и призывом его к отбыванию воинской повинности, и немедленно отправляет это письмо по назначению.

Письмо было получено, прочитано, и в результате из Одоева на хутор Буткевичей, в с. Русанове, немедленно командируется отряд конных стражников, во главе с одоевским исправником, для ареста автора дерзостного письма. Это было 13 октября 1914 года.

Рассказывают, что когда вся банда прискакала на хутор и дом был окружен, полицейские, с величайшими предосторожностями, вооруженные с ног до головы, стали входить в дом. Тут они потребовали к себе Рафаила Буткевича.

---

*) Крестьяне соседней деревни В. Б.

Тот вошел в комнату, где находились гости.—Так это он, страшный революционер?!

Худой, высокий юноша, в простой рубашке. Нежное, как у девушки, продолговатое лицо. Светлые и кроткие умные голубые глаза. Волосы, зачесанные назад... Мягкость и приветливость во всем облике и фигуре.

Полицейские взглянули на него, и у них руки опустились: стоило собирать столько народу, чтобы захватить такого молодца! А они-то—чуть не с дрекольем собрались на него!..

О, не впервые так ополчаются на Тебя, Сын Человеческий!..

Личное знакомство с человеком, обвиняемым в страшном государственном преступлении, произвело столь отрезвляющее впечатление на выполнителей предписания закона, что, после поверхностного, чисто формального обыска в комнате молодого человека, они, забыв всякие предосторожности, решили, с позволения хозяев, расположиться тут-же на хуторе на ночлег: время было позднее. Они и «преступнику» позволили ночевать в обычных условиях, в его собственной комнате. И преследуемый, и преследователи укрылись под одной крышей—у родителей первого.

Между тем письмо Рафы ко мне, в котором он изливал свое отчаяние по поводу несостоявшегося отказа его от военной службы, лежало разорванным на клочки в траве за окном его комнаты: он разорвал и выкинул его вон при появлении полицейских на хуторе. Получив «свободу» еще на один вечер, Рафа собрал клочки письма и склеил их осторожно полосками бумаги. Затем сел к столу и, пока стражники располагались рядом на ночлег, написал ко мне новое письмо, дышащее успокоением после исполненного долга совести:

«Милый Валя! Сегодня меня арестовали и завтра отправят в Одоев. Мой хороший знакомый расскажет тебе подробности. Чувствую себя хорошо. Не отказывался, но после призыва, мучаясь душой, написал письмо в воинское присутствие с протестом против войны и воинской повинности. И знаю, данный арест даст душе некоторое успокоение. Больно было за молчание на призыве.

Мама страдает, и мне больно за нее. Но пытка за поступок не по совести гораздо ужасней.

Крепко целую тебя.

Любящий тебя Рафа Буткевич.

P. S. В доме был обыск и, быть может, папа лишится места *). Вот это напрасно.

Если за обращение может сильно влететь, то меня не вписывай. Маме будет черезчур тяжело».

Это последнее письмо, а также письмо, склеенное из клоч-

---

*) Отец Буткевича состоял младшим специалистом по пчеловодству при Министерстве Земледелия.

ков, Рафа Буткевич направил ко мне в Ясную Поляну, при добром посредстве одного молодого человека, работавшего на пасеке Буткевичей в качестве практиканта.

На свободной страничке второго письма приписано было несколько слов рукою матери Буткевича, которая умоляла меня снять подпись Рафы с воззвания. Но умолять было не нужно: для меня одно малейшее желание Рафы (как подписавшего) в этом отношении было законом. Нечего и говорить, что подпись «Р. Буткевич» была уничтожена мною всюду, где только можно было, и уже не выставлялась на вновь рассылавшихся экземплярах воззвания.

По несчастью, при одном из обысков у лиц, заподозренных в причастности к воззванию, следователю удалось напасть на экземпляр воззвания с подписью Р. Буткевича. Тогда последний, уже высланный из пределов Тульской губ. за свое письмо к воинскому начальнику и проживавший на частной квартире в г. Владимире, был снова арестован и заключен в тюрьму.

В своем показании, данном на следствии, Буткевич заявил, между прочим, что в содержании воззвания он не видел призыва к изменническому деянию, а лишь призыв к выполнению воли Божией. В письме же к присяжному поверенному Н. К. Муравьеву (от 5 марта 1915 г.), он следующим образом изложил мотивы своего присоединения к воззванию:

«Недавно, просматривая, кажется в «Русском Слове», фельетон Гр. Петрова, я встретил в описании одного военного эпизода такое выражение: «немцы, как ошпаренные тараканы»... и т. д. И ведь эта милая словесность вот уже 2 года почти, в продолжении войны, заполняет газетные столбцы без различия политического направления, развращая читающий люд. Да что там! И самим безумно диким кошмаром войны, и печатью, и общественными настроениями вот уже столько времени попираются не только высшие ценности души человеческой—Христос, заветы Евангелия и все заповеди Божеские, но пошли на смарку простые, элементарные, нравственные понятия, простая, трезвая разумность.

А в начале войны это беспросветное безумие было еще сильнее и еще ярче, и больнее приходилось его чувствовать. И хотелось хоть чем-нибудь выразить свой протест и указать людям-братьям на тот путь христианской истины, от которого они отшатнулись. И понятно, что когда Вал. Фед. Булгаков прислал экземпляр обращения, я с готовностью присоединился к нему...

Теперь скоро за него нас будут судить. Судить за то, что мы «не во время» людям о Боге напомнили, напомнили о непреложном законе любви, о безумии их отношения. Апофеозом язычества нашей пресловутой европейской цивилизации, гигантским тупиком явилась для мира эта дикая бойня, и дай Бог, чтобы

после нее человечество действительно бы опомнилось и пошло иными путями!

И если нас и осудят, но наше дело послужит хоть маленьким лучом света в окружающем тумане,—я скажу, что мы оправданы».

Подпись Анания Пилецкого, молодого караима, родом из г. Конотопа, Черниговской губ., проживавшего в Москве и служившего рисовальщиком на одной фабрике кружев, в Марьиной роще, писавшего когда-то Л. Н. Толстому и после имевшего длинную переписку со мной, присоединена была к воззванию на основании письма Пилецкого ко мне, в ответ на мое письмо с приложением воззвания.

«Всей душой присоединяюсь к вашему протесту и прошу присоединить мое имя под призывом к людям—с душой и волей силы»,—писал Пилецкий (6 октября 1914 г.).

К суду Пилецкий не привлекался, так как жандармам не удалось установить его личность.

В. П. Некрасов (род. в 1884 г.), крестьянин Новгородской губ., бывший в течении пяти лет народным учителем, знакомый В. А. Молочникова и Чертковых, следующим письмом, от 9 октября 1914 г., ответил на мое приглашение присоединиться к воззванию:

«Дорогой Валентин Федорович!

Ваше милое, хорошее письмо от 2 октября, вместе с христианским обращением по поводу текущей войны, произведшим на меня весьма трогательное впечатление, я получил на этих днях, и потому сердечно вас благодарю. Я снял точную копию с вашего обращения и послал его к близкому мне по духу и убеждениям товарищу—крестьянину, отказавшемуся нынче от воинской повинности *). Очень желательно, чтобы это христианское обращение, дающее жизнь всему живому, получило самое широкое распространение как в пределах нашей России, так и в воюющих странах, охваченных страстью и злобой и потому проливающих целое море слез и братской крови, сами не зная за что.

Кажется, ясно как Божий день, что истинная свобода—внутри нас самих. «Царство Божие внутри вас есть; и оно усилием берется». Но очень жаль, что люди, огромное большинство людей, не понимающих смысла и назначения своей жизни, как бессмысленные скоты, вместо истинной свободы, живущей в душе каждого человека, ищут какой-то мнимой, внешней свободы в пушках, пулеметах и убийствах, захлебнувшись в крови...

«Петр! вложи меч в ножны своя: ибо все, взявшие меч, от меча и погибнут»,—сказал Божественный учитель 19 веков тому

---

*) Е. Г. Шурупову, впоследствии пославшему прокурору заявление о присоединении к нашему воззванию, не принятое во внимание. В. Б.

назад. Но люди все еще не вложили меча своего в ножны и по-прежнему продолжают, как дикие звери, терзать друг друга. Ведь это ужасно! Господи! Когда же прекратится эта бойня и водворится мир на земле?!

...Сейчас у нас носятся слухи, что в скором времени будут опять брать ратников. Народ скучает, плачет и просит Бога, чтобы скорей одолеть врага,—и замирилась война.

Где ни послушаешь—все только проклинают и ругают немцев, называя их «дикими зверями», «неверной силой» и т. п., которую по мнению мужиков, так и нужно душить. Иногда, слыша такие суждения, не вытерпев, скажешь им, что ведь и немец такой же человек, Богом созданный, как и мы, мыслить, любить и делать добро всякому человеку, жалеть и помогать ему. «А все-таки он—неверная сила!»—говорят мужики. Очень, очень озлоблен народ. «Что же? И ты, стало быть, за немцев стоишь?»—говорят они. Ужасно больно бывает на душе, когда слышишь такие суждения...

Вот и все. Пишите, милый Валентин Федорович, будет все повеселее.

К обращению я подписался. Увижу знакомых и предложу им подписаться.

Мне думается, что никакая современная пресса не напечатает его. Где оно будет напечатано,—пришлите мне, Валентин Федорович! А мне что с ним делать, когда подпишут еще несколько знакомых? Напишите.

До-свиданья! От души шлю вам свой искренний сердечный привет.

Остаюсь любящий вас В. Н—сов».

18 июля 1915 г., будучи освобожден из тюрьмы на поруки, В. П. Некрасов писал Н. К. Муравьеву о мотивах подписания воззвания:

«В тот момент, когда мне подали письмо от Булгакова, я сидел и писал письмо брату, находящемуся в действующей армии, на войне, взятому по мобилизации 18 июля 1914 г. Распечатав письмо Булгакова, я наскоро пробежал его и, не долго думая, подписал воззвание, приложенное при письме, думая, что если оно будет напечатано где-нибудь, скорей замирится война.

Кроме того, находясь в деревне, мне пришлось пережить и перечувствовать много тяжелого, видя на каждом шагу только одни слезы, стон и горе, ударявшие в самое больное место моей души. Общество, народ, семейные, отец с матерью все время скучают и плачут, прося Бога, чтобы скорей замирилась война... Очень тяжело жить и видеть плач и стоны деревни! Под влиянием пережитых мною впечатлений среди тревожно-кошмарного времени, я не мог, в силу своей духовно-нравственной природы и религиозно-христианских убеждений, равнодушно смотреть и

удержаться, чтобы не подписать воззвание, зная, что вокруг нас совершается страшное, нехристианское дело, проливающее целое море крови и слез».

ГЛАВА VII.

УЧАСТИЕ В ДЕЛЕ АРВИДА ЕРНЕФЕЛЬТА.

Вслед за подписью В. П. Некрасова, поступила подпись от известного финского писателя Арвида Ернефельта (род. 1861 г.), единомышленника Л. Н. Толстого, одного из достойнейших людей, каких я встречал.

Еще до составления воззвания, я посылал А. А. Ернефельту свою статью «О войне», но ответа от него не получил: как оказалось после, статья затерялась в дороге, при чем возможно, что пакет был перлюстрирован. Ернефельт упоминает об этом в той открытке, которой он ответил мне на письмо с приглашением подписаться под воззванием и которую я получил от него 16 октября 1914 г.:

«Дорогой Вал. Булгаков! Письма вашего с статьей я не получал. Обращение я подписал и послал для подписи Ольге Конст. Клодт *). Пишу открыткой, так как это самое лучшее средство доставки писем. Давай все писать открытыми письмами, чтобы не вводить в грех вскрытия чужих писем. Очень благодарю вас за память... Привет всем друзьям.

Ваш Арвид Е.».

Так как дело А. А. Ернефельта, как финляндского подданного, оказалось неподсудно русскому суду и потому рассматривалось отдельно в Финляндии, вне всякой связи с нашим процессом, то я изложу здесь сразу все факты, относящиеся к участию Ернефельта в нашем воззвании, чтобы затем уже не возвращаться к этому эпизоду.

23 декабря 1914 г. жандармский полковник Башинский, в сопровождении стражников, нагрянул в усадьбу А. А. Ернефельта, близ дер. Виркбю, Нюландской губ., в непосредственном соседстве с Гельсингфорсом.

Писателю пред'явлены были вопросы об участии его «в распространении, по соглашению с другими лицами, суждений, возбуждающих к изменническому деянию, а именно воззвания, призывающего население не принимать участие в войне с Германией, Австро-Венгрией и Турцией».

Добрый и мягкий Арвид Александрович не выдержал этого первого натиска жандармов и в показании своем позволил себе, к сожалению, одно очень важное уклонение от истины.

Башинский задавал свои вопросы по листочку, присланному

---

*) Родственница Ернефельта, единомышленница Л. Н. Толстого.

из Тулы. Отвечая на эти вопросы, Ернефельт поведал сначала о своем знакомстве с «преступниками» В. Ф. Булгаковым и Д. П. Маковицким в Ясной Поляне в 1910 г., а затем показал, что «в ноябре месяце *) он как-то получил от Булгакова письмо, в котором было вложено и обращение «Опомнитесь, люди-братья», отпечатанное на пишущей машине, с рядом подписей, *в числе которых находилась и подпись самого Ернефельта,—хотя раньше он о составлении такого обращения не знал и согласия на помещение своей подписи не давал* **); в письме же Булгакова, между прочим, была фраза: «не пожелает ли кто-либо из его знакомых присоединиться к этому воззванию», почему он, Ернефельт, это воззвание отослал для ознакомления своему знакомому, которого назвать не может, не желая подвергать того беспокойству».

Не трудно представить, в какое состояние горестного недоумения повергло меня это показание Ернефельта, когда я впервые прочел его в тюрьме, среди актов следственного производства по нашему делу, пред'явленных нам для ознакомления по окончании предварительного следствия! К счастью, я имел здесь дело с человеком крупным и совестливым: Ернефельт, как этого и следовало ожидать от него, не побоялся признаться в своей ошибке, а такая ошибка в счет не ставится...

На другой же день по от'езде жандармов, Ернефельт адресовался со следующим письмом к жандармскому офицеру, производившему допрос:

«Ваше Высокоблагородие.

Извините мне, что вашей ни фамилии, ни имени и отчества я не разобрал, когда мы рекомендовались друг другу вчера, у нас в Виркбю. Сейчас после вашего от'езда я почувствовал себя сильно виновным и перед вами, и перед собою в том, что не сказал вам всю правду. И как мне ни стыдно теперь это сделать, я не отклонюсь от своей обязанности поправить свою ошибку. Дело в том, что между подписчиками присланного мне христианского обращения, которое было писано на машинке, включая и эти имена, моего имени не было, но что я ответил на записку Булгакова так, что он имел полное право считать меня присоединившимся к этому обращению и машинкой или рукой приставить и мое имя в своем экземпляре обращеня. Все же прочее в показании моем, как, например, о моем отношении к Булгакову, о моем неучастии в составлении и прочее этого обращения и т. д. соответствует с истиною. Правда также, что я считал неуместным выражения о правительствах в этом обращении, но я отвечал Булгакову коротко, в открытке, и не касался этого вопроса. Мне казалось, что русская цензура не

---

*) Ернефельт запамятовал: это было никак не позже октября.
**) Курсив мой. В. Б.

допустит опубликования обращения, но уверенности у меня в этом не было, так как я не знаком с цензурными законами России, будучи финляндец. Вот все, что я имею добавить.

Еще раз прошу вас простить, что я говорил с вами не по правде. Прошу вас переслать это добавочное об'яснение тем Тульским властям, которые вам поручили составить протокол о моем отношении к этому делу.

Примите удостоверение в моем полном уважении.

Арвид Ернефельт».

В результате этого второго, прямого и искреннего письма, Арвид Ернефельт привлечен был тульскими властями «к формальному дознанию в качестве обвиняемого». И лишь некоторое время спустя, юристы из города самоварников и оружейников сообразили, что руки их не достают до Ернефельта, как уроженца Финляндии. Тогда дело о дворянине Ернефельте было выделено и «передано по подсудности» финляндскому суду. Гонители наши, вероятно, вполне успокоились, когда получили оффициальное уведомление от канцелярии финляндского генерала-губернатора о том, что делу об Ернефельте «дан законный ход, на основании § 8 гл. XVI Уголов. Улож. Великого Княжества Финляндского».

А между тем, еще в то время, как мы находились в тюрьме, нами получено было с воли от наших друзей известие о том, что дело Ернефельта рассмотрено было финским судом, при чем подсудимый... был оправдан. Этот неожиданный приговор (хотя и финского, а не русского суда) невольно и в нас возбудил луч надежды на более или менее благополучное разрешение нашей судьбы. Радовались мы и за Ернефельта. Очень хотелось узнать подробности его оправдания, но тогда мы их не получили.

Только много времени спустя, будучи выпущен—уже не тульскими, а московскими властями—под залог на свободу и ожидая суда, я написал А. А. Ернефельту письмо, с просьбой сообщить те основания, по которым финляндский суд оправдал его. И в ответ я получил следующее письмо Ернефельта:

«Дорогой Валентин Федорович.

Очень рад был получить ваше письмо, и спешу исполнить вашу просьбу.

Суд, оправдывая меня, руководился тем, что, во-первых, я не распространял «воззвания», а думал, что подписи собираются для опубликовки в газетах в виде открытого протеста,—я переслал бумагу только близкой женской родственнице (кому

именно, я отказался сказать).—Дело мое не кончено, а передано Гофгерихту, который—я в этом уверен—не переменит решения низшего суда, так как по нашему закону для обвинения в измене требуется доказать, что было желание повредить своему государству в пользу неприятельского, а это невозможно. Судья прямо и спросил у меня, имел ли я намерение повредить. Я ответил, что имел намерение принести пользу. Ну и освободили *),—только основываясь исключительно на том, что я не распространял.

Дорогому Маковицкому передайте мой сердечный привет. Если вы, милый, были благодарны судьбе за то, что было, вы, может быть, будете благодарны и за то, что будет, и не будете вперед беспокоиться. Все ведь к лучшему...

Любящий вас Арвид Ернефельт.

9. III—16. Virkby».

Приводя любопытный вопрос судьи и свой ответ на него, Ернефельт говорит о возможности или невозможности обвинения его в измене. По этому поводу, забегая несколько вперед, следует указать, что тульские власти, действительно, пред'явили ко всем участникам воззвания «Опомнитесь, люди—братья» обвинение по 1 п. 1 ч. 129 ст. Угол. Улож., карающему за «бунтовщическое или изменническое деяние». Квалификация эта впоследствии была смягчена прокурором Московского Военно-Окружного Суда. Финский суд, исходя из данных обвинительного акта, очевидно, также признал эту квалификацию просто недобросовестной и... оправдал Ернефельта. Как это и следовало из письма Ернефельта, по финским законам (почему только по финским?!), для признания человека виновным в измене нужна была... наличность этой измены, каковой суд в проступке Ернефельта не усмотрел.

Тем не менее, как мне кажется, остается далеко не выясненным вопрос: как поступил бы финский суд в том случае, если бы тульские власти, проявив известную умеренность в своем стремлении покарать «толстовцев», с самого начала пред'явили бы к последним не обвинение в измене, а другое, более мягкое и не столь явно дутое обвинение? Был-ли бы обеспечен и тогда за Ернефельтом оправдательный приговор? Вряд-ли. Вернее всего, что суд, оставаясь на прежней своей почве—строгой «законности»,—просто присоединился бы к точке зрения обвинителя.

Вытекающая отсюда мораль ясна: неумеренность, как оказывается, может вредить успеху даже прокурорского дела.

---

*) Ернефельт, очевидно, хотел сказать: оправдали. В. Б.

ГЛАВА VIII.

ПОДПИСИ АРХАНГЕЛЬСКОГО, ЗАВАДОВСКОГО, БРАТЬЕВ НОВИКОВЫХ И ГРЕМЯКИНА.

Подписи сибиряков А. В. Архангельского и И. В. Завадовского поступили одновременно. А. В. Архангельский (род. в 1884 г.— скончался в 1916 г.), сын чиновника Переселенческого Управления, занимавшийся свободной педагогической деятельностью в городах Тюмени и Тобольске, был хорошо известен мне в качестве убежденного последователя мировоззрения Л. Н. Толстого, и по переписке, и лично, по встрече с ним в Ясной Поляне, которую он приезжал навестить из Сибири уже после смерти Льва Николаевича. Что касается И. В. Завадовского, не разысканного следователями, то он привлечен был к участию в воззвании Архангельским. Никто из нас, ближе стоявших к воззванию, до сих пор ничего не знал о Завадовском.

Я получил следующее письмо от Архангельского и Завадовского, в ответ на приглашение подписаться под воззванием, посланное мною Архангельскому в г. Тюмень, Тобольской губ.:

«Дорогой Валентин Федорович!

Простите, что задержал Ваше обращение. Мы охотно подписываемся под ним. По нашему мнению, следовало бы составить его погорячей, чтобы оно сильнее повлияло на сердца читателей. Но, во всяком случае, лишнего мы ничего в нем не нашли, и кроме пользы оно ничего принести не может. Больше пользы принесло бы оно, если бы посильнее было составлено.

Задержал потому, что давал его своим знакомым и друзьям. Но все они, под различными предлогами, отказались подписаться под ним. Мы же, т.-е. я и И. В. Завадовский, решили подписаться. Так, что Вы присоедините наши подписи к нему.

Сообщите подробно, как будет обстоять дело с распространением обращения, и вообще все, что будет относиться к нему.

Подписался-ли В. Г. Чертков под этим обращением?..

Желаем успеха и шлем всем единомышленникам братский привет.

А. В. Архангельский.
И. В. Завадовский.

12 октября 1914 г.».

Скончавшийся до суда, А. В. Архангельский по поводу мотивов подписания им воззвания выразился так в письме к Н. К. Муравьеву:

«... Я мучился наступающим безумием войны, страстно искал способа помочь людям и, получив воззвание, подписал его, торопясь хоть что-нибудь сделать, облегчить свою измученную совесть...»

Так постепенно получал я письмо за письмом в ответ на рассылавшиеся мною экземпляры воззвания.

Но одновременно И. М. Трегубов, уехавший тотчас после составления воззвания из Тульской губ. в Москву, должен был устно предложить подписать воззвание нашим московским друзьям, в том числе многим из наиболее известных представителей «толстовства», как, например, Ф. А. Страхову, И. И. Горбунову-Посадову, Е. И. Попову и другим.

По дороге в Москву, Иван Михайлович решил сделать кратковременную остановку на ст. Лаптево, Москов.-Кур. ж. д., с целью побывать в лежащем за 4 версты от станции с. Боровкове, у тамошнего крестьянина Мих. Петр. Новикова (род. в 1871 г.), очень выдающегося и своеобразного человека, известного в качестве писателя по крестьянским вопросам, а также своей близостью к Толстому.

Незадолго до своей смерти, Л. Н. Толстой собирался даже поселиться на житье в с. Боровкове, в доме Новикова, или в наёмной хате, «хоть небольшой, но только тёплой», как писал великий мыслитель своему другу-крестьянину. Этот факт получил теперь широкую огласку, но едва-ли многие знают, что Новиков на первых порах *отклонил* просьбу Льва Николаевича подыскать ему помещение в деревне: не в пример, большинству представителей русского интеллигентного обществав, не перестававших «обличать» Толстого за то, что он продолжает оставаться в Ясной Поляне, крестьянин Новиков, отвечая Льву Николаевичу, умолял его на склоне дней воздержаться от резких внешних перемен в своей жизни: он боялся, что жизнь в деревне, не привычная для Льва Николаевича, могла бы дурно отразиться на его физическом состоянии и тем самым лишить его покоя, необходимого для продуктивности литературного творчества. Новиков не знал, что от'езд из Ясной Поляны решен Толстым уже бесповоротно. Возможно, что если бы он ответил выражением безусловной готовности пойти навстречу желанию Льва Николаевича, то Толстой к нему бы в Боровково и приехал. Судьба решила иначе. Получив письмо Новикова с увещаниями оставаться в Ясной Поляне, Толстой все-таки уехал, но уже не к Новикову, а в направлении на юг, откуда он, по совету сопровождавшего его Д. П. Маковицкого, расчитывал пробраться в одну из наименее затронутых «культурой» славянских земель,—может быть, Болгарию,—где бы он мог хоть на первых порах устроиться так, чтобы не возбуждать своим появлением нежелательной сенсации. Но, как известно, Лев Николаевич простудился по дороге, заболел и неожиданно скончался на ст. Астапово, Рязано-Уральской ж. д.

В Боровкове И. М.Трегубов встретился в новиковской избе не только с самим хозяином, но и с его братом Ив. П. Новиковым (род. в 1869 г.), летом обыкновенно крестьянствовавшим в Бо-

ровкове, а зимою служившим в качестве артельщика при книжном складе кн-ва «Посредник» в Москве. Трегубов решил ознакомить их с воззванием.

При чтении воззвания присутствовал, между прочим, еще один местный крестьянин, некто Журавлев, пожилой человек, умный и развитой.

Когда стали обмениваться мнениями по поводу воззвания, Журавлев обратился к Трегубову с вепросом:

— Зачем протестовать против войны? Если протестовать против войны, то прежде всего должно протестовать духовенство!

— Папа римский протестовал,—заметил Трегубов.

— А наше русское духовенство почему не протестует? Значит, оно боится чего-нибудь?... С вами я согласен вполне, война и христианские идеи несовместимы. Я желал бы подписаться, но я боюсь преследования...

На это Трегубов ответил:

— Если у вас есть хоть малейшее колебание, тогда не подписывайтесь!

И Журавлев не подписал воззвания. Напротив, братья Новиковы, повидимому, охотно присоединили свои подписи.

Подписав воззвание, М. П. Новиков снял с него копию для себя. Кроме того, оторвав от полулиста, на котором переписана была копия, клочек бумаги, он сделал на нем для Трегубова, отправлявшегося в Москву, следующию памятку:

«В «Посреднике» дать подписать Фекле Кондратьевой и у нее же узнать, где и когда увидать Виктора, Ваню и Колю для этой же цели».

Фекла Кондратьева была замужняя дочь М. П. Новикова, Ваня — его сын, два другие лица — товарищи сына. Трегубов впоследствии не собрался побывать у Ф. М. Кондратьевой.

Во всяком случае, все эти бумажки в свое время попали в руки следователя.

В Боровкове к воззванию присоединилось еще одно лицо — молодой местный крестьянин, сосед М. П. Новикова по усадьбе, И. М. Гремякин (род. в 1891 г.).

Трегубов был совершенно уверен в стойкости М. П. Новикова; что же касается подписей другого Новикова и Гремякина, то он не совсем был доволен ими, так как «не был лично знаком с их религиозными убеждениями».

Расставаясь с М. П. Новиковым, И. М. Трегубов просил его никому больше не давать подписывать воззвание и не распространять его среди крестьян, на том осневании, что сначала оно должно быть подписано единомышленниками, потем напечатано, — вероятно, за-границей, — на языках воюющих стран и уже только после этого будет распространяться одновременно во всех этих странах. Новиков принял к сведению это указание.

Как человек трезвый и рассудительный, он даже положил та-

кую надпись на обороте изготовленной им для себя копии воззвания:

«Цель настоящего воззвания прежде всего та, чтобы об'единиться ближе между собой всем духовным христианам, знавшим и уважавшим Льва Николаевича, и не дать заразиться злом, жестокостью войны, не дать очерстветь сердцу и позабыть заповеди Христа, как то, слышно, происходит среди так называемых революционеров, социалистов и даже в среде некоторых сектантов, кои за ужасами войны позабыли себя, как сынов Божиих, и отказываются от своих убеждений и идей. Во всяком случае, это обращение не должно публично оглашаться никакими способами и не должно иметь никакой пропаганды между иначе мыслящими людьми. Разве только в нейтральных странах между сочувствующими истинному христианскому учению. В особенности в Швейцарии и Румынии. М. Н. окт. 1914».

Я узнал о присоединении к воззванию подписей трех боровковских единомышленников из следующей открытки И. М. Трегубова, от 18 октября 1914 г., присланной им мне уже после того, как он побывал у московских друзей:

«Дорогой В. Ф., москвичи оказались либо холодно-рассудительны о «скопище» и нелогичности обращения к последствиям, оставляя их причины, либо откровенно боязливы. Но за то М. П. Новиков, И. П. Новиков (его брат) и Ив. Гремякин (его сосед) отнеслись с большим сочувствием и подписались. А у Вас что нового?.. Прошу передать мой привет Софье Андреевне и Душану Петровичу. И. Т.».

В речи на суде М. П. Новиков подробно осветил те мотивы, которые руководили им при подписании воззвания.

— Изучивши Евангелие,—говорил он,—я узнал, что основою жизни должна быть любовь человека к человеку, кто бы он ни был и какой бы он ни был. Любовь эта должна выражаться в милосердии, кротости, прощении обид, помощи друг другу в нужных и необходимых случаях жизни и полном непротивлении злу насилием. Исходя из этих мыслей и положений, я перестал противиться злу насилием и не искал удовлетворения в судах... Меня пьяные мужики били, оскорбляли, всячески вредили, но я никогда с ними в спор не вступал... Само собой, углубившись в Евангелие, на войну я стал смотреть как на самый ужасный грех перед Богом, на который только способны люди, как на самое ужасное бедствие и позор... Вражда войны губит и тяготит всех людей и повергает их в неисчислимые бедствия. Убийство по злобе и ревности еще мне понятно, но убийство с расстояния, без непосредственного повода к раздражению, приводило меня в такое состояние, что у меня от одного представления о нем начинала кружиться голова и опускались руки. А потому, когда я был призван на войну в 1904 г., то я подал заявление с отказом от оружия, даже по мотивам не религиозным, а просто потому, что

я физически не могу делать этого, так как убийство есть дело ненормальное, и без известного задора его делать нельзя. Я просил тогда поставить меня к такому делу, где бы я мог служить людям, а не убивать и не вредить. И моя просьба была уважена.

— А когда после Японской войны газеты стали писать, что эта война была по недоразумению, я стал разбираться и в других войнах, в истории войн, и все они оказались основанными на разных недоразумениях, во имя которых было погублено так много ни в чем неповинных людей. После того, как болгары стали врагами русских, и война 77-го года также стала недоразумением. И я уверен, что пройдет немного времени, как все мы поймем, что и эта ужаснейшая из войн будет признана таким же недоразумением, и люди убедятся, что, забывая законы Христа и вступая во вражду, они только губят бесцельно свою жизнь и друг друга.

— Тем более я имел поводов так относиться к войне, что, как вам известно, даже Государь Император также осудил войну, когда обратился с призывом ко всем правительствам собраться на мирную конференцию и, указывая на опасность и непрочность вооруженного мира и на непосильное обременение народов от военных вооружений, призывал всех «сплотиться в одно могучее целое, дабы великая идея всебщего мира восторжествовала бы над областью смуты и раздора». И вот этому-то призыву Государя радовались даже нехристианские народы, не зараженные национальной гордостью. В то время, бывая в Ясной Поляне, я читал об этом в газетах, которые указывал и читал мне Лев Николаевич, радуясь также этому событию. Я помню дословно, что и епископ англиканской церкви перед началом Гаагской конференции говорил, что факт конференции указывает на выростающее сознание, что господствующие международные порядки подрывают доверие к самому христианству, и что эта конференция и есть желанная попытка восстановить это доверие и привести людей к лучшей христианской жизни и братскому единению, и что людей, работающих на этом пути, будут благословлять во все времена. «Мир движется вперед,—говорил этот сановник христианской церкви,—и каждый истинный христианин должен помогать ему в этом». И вот, помня эти слова Государя и христианского епископа и не забывая своих обязанностей, я страшно мучился душой, когда началась эта война и не знал, что мне делать, чтобы так или иначе способствовать умиротворению расходившихся страстей. Я обдумывал, а потом писал письма духовным, профессорам и членам Думы. Пускай представители ложных экономических наук,—писал я русским иерархам,—продолжают доказывать, что войны неизбежны, что они—следствие мировой экономической конкуренции, но ваш пастырский долг—напомнить всем христианским народам о том, что задача жизни христианина лежит не в экономических только интересах, но и в этиче-

ских, в интересах христианской любви и разума, и что в этом и должен быть центр мыслей христианина. В этом должна быть высшая задача его жизни *).

— Вот то настроение, в котором я находился, когда началась эта ужасная война и когда ко мне приехал Ив. Мих. Трегубов и предложил подписать инкриминируемое нам обращение. Я в этом нашел выражение своих мыслей и подписал его с чистой совестью, понявши это обращение как документ принципиального значения, предназначавшийся не для тайного распространения в среде русского народа с преступными целями, как то доказывает обвинение, а для публичного оглашения, вперед в нейтральных странах, а через них и во всех воюющих, чтобы таким путем воздействовать на общественную международную совесть и тем самым содействовать уяснению греха войны и ее прекращению. И никакого худа я в этом не видел и не вижу, т. к. полагаю, что с таким принципиальным осуждением войны и призывом к любви и миру должны быть согласны все люди, носящие христианские имена»...

Что касается брата М. П. Новикова—И. П. Новикова, то можно сказать, что опасения Трегубова за его твердость впоследствии до некоторой степени оправдались.

Как рассказывал мне после сам И. П. Новиков, он сначала присоединился к воззванию почти что только внешним образом, не дав себе труда задуматься поглубже ни над смыслом воззвания, ни над значением своего собственного поступка и могущими вытечь из него последствиями.

В противоположность своему брату, Иван Петрович, вообще, не очень строго придерживался «толстовского» мировоззрения. К нему и поп ходил, а к брату нет. У него и дети крещеные, а брат—против всякой обрядности. И насчет «непротивления» Иван Петрович не был тверд. Он, по его признанию, скорее способен был увлечься не пассивной, а активной борьбой с существующим злом жизни; считая себя человеком *дела, а не слова,* он одно время,—правда, еще до более близкого ознакомления с Толстым,—знался даже с тульскими революционаыми организациями.

Между прочим, и в тот вечер, как Трегубов читал свое воззвание в Боровкове, Иван Петрович, слушая его и глядя на него, невольно думал про себя:

---

*) Новиков говорит: «Я обдумывал, а **потом** писал письма духовным, профессорам и членам Думы». Здесь слово «потом» нужно подчеркнуть, потому что написаны были письма уже после освобождения Новикова из тюрьмы, частью же в самой тюрьме, но не раньше приезда Трегубова, как это может показаться при чтении речи Новикова на суде. До приезда Трегубова в Боровково Новиков только «собирался» писать эти письма, как он и подтверждает это в письме к Н. К. Муравьеву от 29 декабря 1915 года, добавляя, что «в таком настроении и застал его И. М. Трегубов».

— Эх, кабы слово да сопроводить делом!..

На первом допросе жандармской властью И. П. Новиков ограничился краткими и ничего не значащими показаниями. Но затем, будучи уже арестован, раздраженный неожиданными осложнениями в деле, он отказался от всякой ответственности за воззвание: «подтвердив свои прежние показания, добавил, что подписал он листок, данный ему Трегубовым, не читая, вполне доверяя последнему; содержание же подписанного листка ему, обвиняемому, неизвестно». (Обвин. акт).

Кроме того, в особом письме на имя начальника Тульского охранного отделения И. П. Новиков заявил, что «вся его вина—в том, что он, зная Трегубова как хорошего человека и вполне доверяя ему, подписал воззвание, не спросив о целях, которые преследовались этим воззванием *), — подписал легкомысленно, необдуманно... У него, обвиняемого, никогда не было в голове никаких идей, кроме идеи о хлебе насущном, не было и никаких убеждений, кроме убеждения в том, что он должен работать, дабы его дети не были бы голодны, жена не пошла бы по миру и хозяйство не разнес бы ветер». (Обвин. акт).

В этом, написанном с чисто-новиковской, фамильной, энергией письме автор, разумеется, совершенно понапрасну клевещет на себя: если он и не был столь убежденным и преданным последователем идей Льва Толстого, за какого его могли принимать хотя бы вследствие репутации, установившейся за его братом,—то все же считать И. П. Новикова за человека, у которого «никогда не было в голове никаких идей»,—тем, кто его знал, не приходилось!...

Но... человек ходит, а Бог водит.

Совершенно исключительные и необычные впечатления судебного процесса до такой степени повлияли на И. П. Новикова (как и на многих других), что к моменту об'явления приговора он уже мог вполне искренно считать себя одним из убежденнейших сторонников воззвания и участников всего дела. Самооправданиям уже не было места. Новиков готов был, вместе с другими, нести кару за свой поступок, в котором он первоначально раскаивался.

Он навсегда сохранил самое светлое воспоминание о «толстовском процессе».

— Процесс наш—это что-то незабываемое!—говорил он мне летом 1915 г.—Такого переживания у меня в жизни никогда не было! Это, собственно, не процесс был, а... я даже не знаю, как назвать!..

---

*) Живя в Москве, И. П. Новиков слышал смутно о каком-то раскленном в Туле по улицам воззвании против войны. И он вообразил, что это Трегубов расклеил воззвание «Опомнитесь, люди-братья» со всеми подписями! Ему трудно было подавить чувство раздражения против Трегубова.

Третьим лицом, предоставившим И. М. Трегубову в Боровкове право присоединить его подпись к воззванию, был как мы уже говорили, молодой местный крестьянин И. М. Гремякин. Гремякин недавно возвратился в деревню из Москвы, где он работал на одной фабрике. Между прочим,—как он после рассказывал,—живя в столице и вращаясь среди рабочих, он заразился сначала духом чисто революционной злобы к «угнетателям». Но затем ему пришлось как-то попасть на одно собрание «евангельских христиан», и отсюда Гремякин, неожиданно для себя, почерпнул глубокий интерес к религиозному освещению вопросов жизни. После того попалась ему еще книга Толстого «Путь жизни», также глубоко заинтересовавшая молодого человека. Евангелики и Толстой явились тем «человеком с молоточком» для его души, о котором говорит Чехов в своем рассказе «Крыжовник». В сознании Гремякина стало назревать новое, религиозное отношение как к самому себе, так и ко всему окружающему. «С этого время,—писал мне Гремякин в 1916 г.,—я сразу изменил свою внешнюю жизнь, бросил пить водку, ругаться, не стал входить в споры, стал отдаляться от людей, живущих развратной жизнью, и на все обиды старался отвечать молчанием».

«Так вот, когда началась война,—рассказывает дальше сам Гремякин,—мне стало очень тяжело, я сразу почувствовал несправедливость. Жил я в это время в деревне, часто приходилось беседовать с М. П. Новиковым, я ему высказывал свои взгляды на войну. Вот почему он мне предложил прочесть это обращение, которое я и подписал. И чтобы в этом раскаиваться! Нет, я чувствовал, что я поступил справедливо».

Итак, Гремякин вполне свободно дал свою подпись после того, как М. П. Новиков (в котором он, вероятно, чувствовал единственного, способного понимать его человека в деревне) предложил ему ознакомиться с воззванием.

Между тем в первом показании Гремякина, полученном от него следователем на ст. Лаптево, 29 декабря, 1914 г., значится следующее: «Я не сразу согласился учинить свою подпись, но Новиков уверял меня, что это воззвание не будет публично распространено, что другие же подписывались, бояться нечего... Имел неосторожность подписать, по правде сказать, даже хорошо не прочитавши. Мне понравилось, что говорится о возможном мире, это и заставило меня согласиться на подпись».

Можно было удивляться противоречию между оффициальным показанием Гремякина и его частным письмом ко мне, но вот что мы узнаем еще из того же самого письма: жандармский подполковник и становой пристав, допрашивавшие Гремякина, как оказывается, с особым усердием «старались допрашивать» его о том, «не уговаривал-ли Новиков его подписать»? Вероятно, именно вследствие этих-то «стараний допрашивать», показание обвиняе-

мого, записанное к тому же не им самим, а рукою жандарма, и приобрело желательную для допрашивавших редакцию.

Но все-таки можно допустить и то, что первоначально Гремякин, подобно И. П. Новикову, не обнаружил достаточной твердости перед лицом начавшихся преследований. Тем удивительнее та духовная эволюция, которую пережил молодой человек под влиянием участия в деле, ибо он не только в высшей степени мужественно держался на суде, но, будучи уже зачислен солдатом, после процесса отказался по своим убеждениям от военной службы, был арестован и с твердостью нес последствия своего искреннего и вполне сознательного поступка.

Спрошенный на суде о мотивах подписания воззвания, Гремякин тронул всех нас своими простыми, прочувствованными словами:

— Мотивы,—сказал он,—были самые обыкновенные: любовь и жалость к людям. Истина в любви к людям, и людям не только добрым, но и злым; не только к друзьям, но и врагам. Война противна закону Бога, потому что в войне нет любви, а только зло. Я, как крестьянин и живущий среди крестьян, хорошо вижу все, что принесла крестьянину война. Я хорошо видел, как плакал крестьянин от этой войны. А если крестьянин от войны плачет, то это значит: она ему не нужна... А больше всего меня возмутила война, отразившись на моей двоюродной сестре. Ее муж, как запасный солдат, призванный по первой мобилизации, уехал к воинскому начальнику и больше оттуда не возвращался.

Она, моя сестра, осталась одна с детьми, больная, не оправившаяся от родов, убитая горем. Она не могла вставать и сготовить пищу ни себе, ни детям, и дети должны были произвольно бегать, без всякого присмотра, по улице, где ежеминутно могли попасть под лошадей и быть задавленными, могли попасть в пруд, в колодезь... И, видя все эти ужасы, все эти страдания людей и сознавая, что всё это принесла война, разве можно со спокойной совестью смотреть на всё это? Я невольно чувствовал, что должен что-то сделать,—и, между прочим, что же я мог сделать, такой маленький человек? Остановить войны я не мог, материально помочь людям тоже не мог. А совесть мучила... И когда подвернулось мне под руку это воззвание, в котором выражался протест против войны,—разве я мог оттолкнуть его, когда я сам был на пути к тому, чтобы итти и кричать: долой войну! долой слёзы! да здравствует вечный мир! Да здравствует вечная радость! И я с радостью подписал это воззвание, успокаивая свою совесть тем, что я как бы все сделал, что мог сделать...

ГЛАВА IX.

СЕМЬЯ РАДИНЫХ. — ПОДПИСИ ИКОННИКОВА, ГУБИНА И КРАШЕНИННИКОВА.

Исключительного внимания заслуживает участие в деле о воззвании семьи Радиных, подписавшей воззвание наличностью всех своих членов,—отца, матери и троих взрослых детей.

А. И. Радин (род. в 1858 г.—скончался в 1917 г.), бывший народный учитель, а затем владелец небольшого хутора в Острогожском у., Воронежской губ., который он обрабатывал исключительно трудом рук своих и своей семьи, до процесса известен был большинству близких и друзей Л. Н. Толстого, особенно из молодежи, только по наслышке.

Это был тип тех, сравнительно немногих, наиболее последовательных единомышленников Л. Н. Толстого, которым во внешней жизни удавалось вполне осуществить заветное желание—труда на земле и которые, поселяясь где-нибудь далеко-далеко в деревенской глуши, не успевали снискать себе решительно никакой известности: ни непосредственной близостью к Толстому, ни в качестве наиболее видных представителей учения, ни вообще в сфере общественной или литературной. Умаляется-ли от этого значение трудов и деятельности таких лиц? Конечно, нет. Влияние этих, исключительной душевной чистоты, идейных тружеников, сказывается невольно на всех, кто только приходит с ними в какое-нибудь соприкосновение. Бескорыстная деятельность их преображает хотя маленький, непосредственно окружающий их кружок, но за то, наверное, преображает. Они и сами верят, что эти скромные результаты их деятельности и есть всё, что́ они могут и должны дать своим близким. В своей чрезвычайной простоте и скромности, переходящей у лучших из них в истинно христианское смирение, эти люди и не помышляют о более широком влиянии на общество. К тому же они не склонны обманываться насчет тех ложных форм общественного, в частности государственного служения, какие привлекают к себе многих людей с теми же, как у них, способностями, но за то с гораздо более покладистой на «неизбежные» компромиссы совестью.

Из этих идейных отшельников большинство покидает многошумящую общественную и политическую деятельность, не расставаясь с глубоким убеждением, что каждое, даже нечаянно оброненное, доброе слово, каждый, хотя бы и незначительный с первого взгляда, добрый поступок—не пропадают в жизни, входят непреложным звеном в великую цепь причин и последствий в общей сумме взаимночеловеческих отношений. Отражаясь друг в друге, укрепляя друг друга, отпечатлеваясь навеки в человеческих сердцах,—такие слова и поступки создают свою неизбеж-

ную «карму», последних ступеней которой нельзя предвидеть. Но все хорошее, доброе—к лучшему. Незначительные размеры зародыша не имеют значения, лишь бы этот зародыш был добрый и истинный. Последствий слов и поступков предвидеть нельзя. И из горчичного зерна способно вырости большое дерево, в ветвях которого будут укрываться птицы. Надо только верить, что все, не доделанное человеком, будет таинственным и непостижимым для него образом доделано и закончено Богом. И когда придет срок, всеобщее Царствие Божие все-таки осуществится на земле.

Надо только, в душевной жизни, всегда быть *готовыми,* т.-е. способными к восприятию и осуществлению Высшей Воли, чего нельзя предвидеть заранее. Надо в чистоте содержать свою душу,—и, когда пробьет час, Бог сделает через нее свое, нужное Ему дело.

И, дйствительно, бывают в жизни таких людей моменты, когда, какими-то неисповедимыми путями, то, что́ было тайным, вдруг делается явным; то, что, может быть, скромно никло долу, поставляется не верху горы, и то, что́ питало только одну или две, три родственные души, начинает питать громадное множество людей. Хорошо тогда тому, кто оказывается *готовым* к подобному моменту: «Се жених грядет в полунощи, и блажен раб, его же обрящет бдяща»... С каким благоговейным умилением все преклонятся перед обнаруженной чистотой душевной жизни!

И не то же ли вышло с семейством Радиных?

— Я не боялся за подсудимых,—говорил после суда на собрании у Чертковых в Москве присяжный поверенный Б. О. Гольденблат, выступавший защитником в нашем процессе—я ясно чувствовал, что им не может сделать больно суд. Я чувствовал, что они захлороформированы высотой своего чувства и крепостью своего верования, тем, что они правы в своей собственной совести, в своем собственном сознании, и что их сбить нельзя с этой позиции, им ничего нельзя сделать... За мной сидел старик Радин, которому я безумно завидовал. Я впервые услышал слова человека, который говорил, что он счастлив, что он не знает компромиссов в жизни. В нем есть глубокая вера, из которой вытекают все его поступки. Я с своей опустившейся душой, с разбитыми нервами, болезненный, смотрел с безумной завистью на Радина. Я, сидевший в первом ряду, во фраке и со значком, смотрел с завистью на этого Радина, которому грозили арестантские роты. И мне казалось чем-то странным, что я защищаю Радина. а не наоборот. Радин вдохнул в меня живую силу, и не только один Радин, но и все его товарищи, которые сидели на скамье подсудимых, наши и его друзья, они вдохнули в меня эту веру и показали, что существуют начала высшие в жизни, что существует то, что Лев Николаевич считал высшей ценностью жизни, это—любовь!».

Таков неожиданный свет, зажженный чистотой души воронежского землепашца в душе старого, видавшего,—как говорится,—виды, адвоката и общественного деятеля!..

Письмо мое, с предложением подписать воззвание, получено было на хуторе у Радиных 12 октября. Первой прочитала его дочь Александра Ивановича Юлия, девушка 21 года. Она ходила за почтой, пришедшей к одному из соседей, и по дороге домой распечатала и прочла мое письмо с воззванием, адресованное на имя ее отца... Придя домой, девушка вручила распечатанное письмо отцу.

Уже стемнело. Зажгли лампу. Александр Иванович уселся за стол и прочел воззвание вслух.

Подписать воззвание казалось таким простым, естественным и само собой понятным делом, что среди собравшихся членов семьи даже не было на этот счет никаких особенных разговоров.

С невозмутимым спокойствием Александр Иванович взял письмо и подписал воззвание, а за ним подписались и все остальные члены семьи...

В каком настроении и с какими целями это было сделано каждым отдельным из членов семьии? На это отвечает письмо Ю. А. Радиной, присланное ею мне уже летом 1919 года.

«Относительно папы,—говорит Ю. А. Радина, — не может быть и речи, чтобы у него было какое-нибудь сомнение в том, подписать-ли или нет; эта подпись и связанный с нею риск, были для него лишь одним из внешних проявлений того внутреннего, строго определенного начала, которое он неуклонно, сурово, иногда почти безжалостно по отношению к себе проводил в жизнь, не позволяя себе никаких отступлений. Он был рад случаю громко сказать о своих убеждениях и пострадать за это.

... О маме можно сказать почти то же, что и о папе. Хотя ее взгляды и не так строго определенны и более неустойчивы, но и ее жизнь была вся—одно посильное стремление к осуществлению известной идеи; пусть у нее случался иногда упадок духа, но это бывали только минуты,—в общем же она бодро, почти радостно сносила всё—вообще в своей жизни, и в частности в том, что́ связано было с нашим процессом.

Относительно мальчиков я затрудняюсь сказать, насколько взгляды, привитые с детства, и насколько свои личные, сознательные убеждения были в основе их побуждения подписать воззвание,—мне кажется, на подобный вопрос они и сами затруднились бы ответить. Но, во всяком случае, они знали, какие последствия может повлечь за собою подпись, и сознательно шли на это.

... Что сказать о себе? Да, у меня было колебание. Да, я раздумывала, неся домой уже прочитанное воззвание: подписать его или нет? Но основою этого колебания не было ни несоответствие моих убеждений с духом воззвания, ни страх перед ожидающим

за это «воздаянием». (Это ожидание было, наоборот, мотивом скорее «за», а не «против» подписи). Причиной этого колебания было отсутствие яркого, сильного порыва, захвата, когда всем существом, не считаясь ни с чем, ничего не видя больше перед собой, стремишься осуществить захватившую себя мысль. Что греха таить, и мое отношение к войне было основано тогда, главным образом, на принятых с детства взглядах, еще не испытанных почти сомнениями и опытом, еще не выношенных, еще не выстраданных, еще не воспринятых всем внутренним существом, как неот'емлемая, неразрывно с ними связанная часть.

И вот, видя и сознавая это, я спрашивала себя: добросовестно ли это — выражать так или иначе свое мнение, раз это будет делаться не от всей души? Но, с другой стороны, казалось непростительным упустить случай присоединить свой голос к голосам, протестующим против этого ужаса, который какою-то страшной, непонятной, очень далекой сказкой, был в воображении. И решила подписать».

На суде, на вопрос о мотивах подписания воззвания, старик Радин сказал, между прочим, следующее:

— Я думаю, что мысли и поступки человека должны соответствовать с его религиозными убеждениями вполне. Если он не исполняет, то он и не верит. Если человек не вполне верит, то он не будет вполне и религиозным, в том смысле, в каком он об'являет свои убеждения. Это мне пришлось проверить не только своими соображениями, но и своею жизнью. Мне 57 лет. В течение этой своей жизни я вполне убедился, что покой человека, лучшие минуты его жизни—это те моменты, когда его жизнь больше всего подходит к его религиозным убеждениям... Если человек следует по возможности своим религиозным убеждениям, то он испытывает ту свободу, которой не могут дать и которой не могут отнять у него никакие государственные учреждения, ни конституция, ни монархия, ни республика, ни революционные, ни другие политические учреждения,—а только одна религия... Когда мне приходилось испытывать тяжелые минуты и когда я старался исследовать вполне чистосердечно: отчего это?—то всегда находил, что виноват никто другой, как я сам. Я сознавал, что это несчастие зависит ни от кого другого, ни от внешних причин, а единственно от меня самого... Я знал и знаю, что полная свобода—внутри человека. Если я буду ставить себя в зависимость от внешних условий, от обстановки, от богатства, то я никогда не получу полного удовлетворения, я никогда не буду счастлив.. А если я буду свою жизнь ставить в исполнении требований своих религиозных убеждений, то по мере того, как я буду приближаться к идеалу и мои поступки будут далеки от компромиссов, я всегда буду чувствовать себя счастливым, независимым, и такую независимость никто у меня не может отнять. Посадите меня в тюрьму, сошлите в Сибирь,—и там я буду счастлив, более

счастлив, чем другие, я буду гораздо счастливее, чем в этаком удобном помещении (указывает на своды зала)... Всё зависит от убеждений. И поэтому моя подпись есть результат моего отношения к религии. Я думал, что если, получивши это обращение, я его не подпишу,—я на себя буду смотреть с презрением, потому что те истины, которые выражены в воззвании, вполне соответствуют моим убеждениям. А презрение к самому себе — это очень тяжелая вещь и очень тяжелое положение в жизни человека! Мне это приходилось и приходится испытывать на тех компромиссах, которые мне, как грешному человеку, приходится в свою жизнь вводить... Если человек не победит соблазна, он всегда страдает. А если он побеждает соблазны, которые на каждом шагу окружают нас, он чувствует радость. Это отчасти подтверждает и мое недавнее прошлое. Подписывая воззвание, я знал, что мне придется страдать. Я, гг. судьи, боялся тюрьмы, думал, что я с трудом перенесу эти страдания, думал, что мне будет очень трудно. Но потом оказалось, что я получил радость.

Дальше нами будет рассказано, в каких невероятно тяжелых условиях находился Радин в тюрьме.

Жена А. И. Радина, Мария Степановна Радина (род. в 1867 г.) приблизительно так изложила на суде мотивы своего присоединения к воззванию:

— Когда я прочитала воззвание, я увидела, что оно соответствует моему мировоззрению. Мировоззрение это сложилось у меня с детства и состоит в признании законом жизни любви ко всему живому. Я всегда, даже не читая Льва Николаевича, возмущалась всяким насилием. При чтении Библии меня всегда поражало, что Бог допускает и даже предписывает убийство и насилие. Я очень удивлялась всегда и на людей, которые установили и переносят такую жизнь, что народы на войне истребляют друг друга. Потом у меня сложилось убеждение, что даже для собственной защиты, если бы меня кто-нибудь убивал, я не должна прибегать к убийству и к насилию. Поэтому я, не задумываясь, подписала это воззвание против войны и насилия.

Автор цитированного выше письма, Ю. А. Радина, на суде кратко заявила, что подписала воззвание по согласию с его содержанием. В письме же к присяж. пов. Н. К. Муравьеву от 3 января 1916 г., в ответ на вопрос о мотивах подписания воззвания, сообщила:

«... Просто хотелось противопоставить свой протест общему течению—увлечению войною и преувеличению «гуманности» ее целей. И быть может,—как знать,—положить начало новому, обратному течению».

19-летний Александр Радин подписал воззвание, как он выразился через год на суде, «вследствие своих нравственных убеждений, предполагая, что в людях это воззвание может вызвать мысли против войны».

18-летний Алексей Радин показал на суде, что был согласен с содержанием воззвания.

О согласии Радиных подписать воззвание я узнал из следующего письма А. И. Радина на мое имя, от 13 октября 1914 г.:

«Вчера, Валентин Федорович, получил Ваше письмо и христианское обращение по поводу войны и, конечно, как я, так и вся моя семья (жена, дочь и два сына) вполне согласны со всеми высказанными в нем мыслями, почему с большою готовностью все и подписываемся под этим воззванием.

Вот только я не знаю, выслать-ли это воззвание с нашими подписями обратно, или будет достаточно этого письма. *).

Очень благодарны Вам, как я, так и вся моя семья, что Вы дали нам возможность принять хотя и незначительное участие в этом Вашем деле. Буду рад и на будущее время принять участие, по мере своих слабых сил, в Ваших работах, если это участие найдете полезным.

Шлю Вам от себя и от моей семьи дружеский привет.

Алекс. Ив. Радин.

Россошь, Воронежской губ.».

Непосредственно вслед за письмом от А. И. Радина, я получил новые письма, с выражением согласия подписать воззвание: от А. И. Иконникова, Фоки Губина (со ст. Орелька, Екатеринославской губ.) и В. Е. Крашенинникова (из Москвы),—от первых двух—на одном листе и в одном конверте.

А. И. Иконников—один из первых за последние годы отказавшихся от военной службы по религиозным убеждениям в России. Он потерпел от правительства за свою стойкость особенно жестоко: семь или восемь лет мучили Иконникова по тюрьмам и дисциплинарным батальонам, пока, наконец, не выпустили на свободу, вскоре после смерти Л. Н. Толстого, который при жизни живо интересовался судьбой Иконникова и часто писал ему в тюрьму.

Фока Губин—сектант, впоследствии примкнувший ко взглядам Льва Николаевича. Милый и любезный человек из народа. Я мельком как-то видел его в начале 1910 г. у Чертковых и он произвел на меня самое отрадное впечатление всем своим моральным обликом.

Вот что писали они оба:

«18 октября 1914 г.

Охотно присоединяю свою подпись к Вашему «обращению». Предполагаю, что вы прислали мне копию «обращения», которую я желал бы оставить у себя, если можно?

Ант. Иконников.

---

*) Я ответил, что достаточно письма; но Радин, не успевши получить моего ответа, вскоре прислал воззвание с подписями.

Я тоже с радостью подписываю ваше «обращение».

Фока Губин».

Оба эти лица остались не привлеченными к дознанию: нашему следователю, жандармскому подполковнику Демидову, не удалось разыскать их. Он особенно усердствовал в поисках Иконникова: чуть не полдюжины разных Антонов Иконниковых было допрошено жандармскими властями по лицу земли русской, согласно циркулярного письма Демидова. На настоящего Антона все никак не могли попасть.

Помню, знакомясь в тюрьме, в присутствии подполк. Демидова, с актами законченного уже производством следственного дознания, я не мог не обратить внимания на длинный ряд донесений разных жандармских управлений о безрезультатных поисках Иконникова. При этом я не удержался, чтобы вслух не поиронизировать над старанием жандармов.

В ответ подполковник Демидов только пожал плечами и скромно заметил:

— Искал, но не нашел!..

В. Е. Крашенинников—молодой врач, работавший во время подписания воззвания в одном из московских военных госпиталей. Позже он переведен был на фронт. Крашенинников еще со студенческой скамьи проявил большой интерес к мировоззрению Л. Н. Толстого и даже переписывался со Львом Николаевичем.

Судебному следователю не удалось и в данном случае установить, какому именно Крашенинникову принадлежит фамилия Крашенинникова, благодаря чему этот врач, вместо того, чтобы отсиживать, подобно своему коллеге—Д. П. Маковицкому, месяцы в тюрьме, продолжал свободно лечить людей.

Для характеристики взглядов Крашенинникова на войну, я позволю себе привести выдержку из его более подробного письма ко мне, написанного уже с фронта, в самый разгар войны. Письмо отражает и личные настроения врача—«толстовца», несомненно легшие в основу его решения подписать воззвание.

«...Спасибо тебе за твое дружеское пожелание бодрости. Стараюсь, сколько есть сил, не забывать то дело служения, к которому каждый из нас призван, но иногда не выдерживаю, падаю духом, и тогда хочется, как говорится, «завыть волком»; и гадко, и мучительно стыдно—молча созерцать то, перед чем, казалось бы, и «камни должны заговорить»!.. Одно утешение: должно же это когда-нибудь кончиться...

Сейчас с интересом слежу за мирным выступлением Вильсона. Только мне кажется странным, как люди не могут понять, что никакие конгрессы, мирные договоры, проекты сокращения вооружений—не избавят человечество от бедствий войны, пока человек не изменит самого себя. Для меня несомненно, что

прочный, продолжительный мир невозможен, пока человек не изменит своего отношения к насилию. До тех пор, пока принципиально допускается необходимость и разумность палки для установления правды Божией на земле, пока христианская доктрина кажется только утопией, пока нет веры во «внутренний закон» любви и совести,—всё останется по-прежнему.

В самом деле, не наивно-ли предполагать, что мы, признавшие насилие внутри обществ против внутреннего врага, даже минимальное (с сокращением вооружений и армией только для охраны порядка), откажемся от него (насилия), если нам это будет необходимо, против врага внешнего?...

«Где сокровище ваше, там ваше и сердце».

...У людей не может быть иного отношения к насилию, пока «сокровище» их заключается в неудержимом стремлении к увеличению материальных богатств, что в настоящих условиях жизни достигается только порабощением одного человека другим. А потому и пожелания Вильсона, в основе своей прекрасные и возвышенные,—это цветы, расцветшие среди суровой зимы: они завянут; и иначе быть не может, пока в сердцах людей нет настоящей весны...

Да, все это как будто бы и просто, а сколько нужно еще времени, чтобы эта простая истина вошла в жизнь людей! Сколько нужно усилий, чтобы она сделалась такой же основой жизни, какой является теперь вера в правовое насилие, как условие культурной жизни!»...

ГЛАВА X.

ВОЗЗВАНИЕ ЮРИЯ МУТА.

В то время, как в Ясную Поляну понемногу стекались со всех сторон подписи под воззвание «Опомнитесь, люди-братья», за 35 верст, в уездном городе Крапивне, сын местного акцизного чиновника Юрий Мут, живший незадолго перед тем в Телятенках у Чертковых в качестве одного из работников над «Сводом мыслей Л. Н. Толстого» и сочувствовавший в общем свободно-христианскому жизнепониманию, произвел самостоятельную и довольно дерзкую попытку опубликовать воззвание против войны.

Об яснополянском воззвании Мут не знал ровно ничего. Точно так же не захотел он осведомить кого-нибудь из единомышленников и о своем шаге.

Собственно, нельзя считать Ю. Мута последователем или единомышленником Л. Н. Толстого в строгом смысле. В то время это был еще очень юный, не старше 20 лет, безусый, неуравно-

вешенный молодой человек, с длинными волосами и в пенснэ, только *увлеченный* взглядами Толстого. Позднее, в тюрьме, он стал склоняться как бы к революционному миросозерцанию, а во время революции 1917 года называл себя уже анархистом—индивидуалистом. Но несомненно, что душевный порыв, заставивший Юрия Мута в 1914 г. выступить с резким протестом против загоравшейся всемирной бойни, был совершенно искренний. И по смыслу его поступок явился тем же, чем было и наше выступление: криком наболевшего сердца и голосом христианского сознания, возмущенного неправдой и жестокостью творившегося.

О намерении составить и опубликовать воззвание Юрий Мут ничего не говорил и своим семейным.

Только накануне того дня, как он развесил по городу воззвание (23 октября 1914 года), мать и сестра его, ездившие в Тулу навестить своих хороших знакомых, узнали от них об аресте Рафаила Буткевича за его письмо к воинскому начальнику.

Услыхав об этом, г-жа Мут заметила:

— Если бы так взяли моего сына, я не знаю, что бы со мной было!

И она подчеркнула свое сочувствие не только к пострадавшему Рафе, но и к его бедной матери. Между тем судьба готовила ей самой именно такое же испытание.

В течении двух или трех дней, Юрий по вечерам запирался в своей комнате, об'являя родным, что он занимается. Для своих «занятий» он потребовал, между прочим, у сестры Евангелие, так как оно понадобилось ему для некоторых цитат. Составивши свое, довольно длинное, воззвание, Мут сам же, постепенно, переписал его на-чисто, в семи экземплярах, на больших листах бумаги.

После подполковник Демидов, во время одного из моих допросов, заметил как-то по поводу воззвания Ю. Мута:

— Как у него только терпенья хватило исписать такие простыни!

К сожалению, у меня нет под рукою не только точного текста воззвания Мута, но и обвинительного акта по его делу, где это воззвание цитируется. В тюрьме Мут давал мне однажды обвинительный акт для прочтения, а затем уничтожил его, как негодную бумаженку. Между тем, я помню, что в обвинительном акте приводились довольно интересные выдержки из воззвания,—правда, извлеченные крайне односторонне составителем—прокурором, включившим в обвинительный акт все наиболее резкое, носившее политический оттенок и могущее послужить к обвинению автора, вовсе опуская при этом мысли религиозного, христианского содержания, каких, по словам Ю. Мута, было очень много в воззвании.

Все же, по выдержкам из воззвания, приводившимся в обви-

нительном акте, можно было составить некоторое представление о самом воззвании. Последнее написано было, несомненно, искренно, горячо, а вместе с тем—и крайне резко, определенно. В нем говорилось о двух законах, руководящих жизнью людей: государственном законе или законе насилия, и религиозном законе, законе любви; о преступности и лживости первого и истинности второго. Указывалось на необходимость подчинения единственно религиозному закону, закону любви, выраженному Христом в Евангелии, но затем извращенному духовенством. Раз'яснялась вся фальшь и недальновидность идеалистического оправдания войны. Солдаты прямо призывались к отказам от военной службы, при чем автор ссылался ни более, ни менее, как... на пример Рафаила Буткевича, который-де отказался недавно,—призывая новобранцев следовать этому примеру. (Мут не знал еще, что Буткевич, явившись в воинское присутствие, не осуществил своего намерения). «Сегодня вас заставляют убивать немцев, а завтра прикажут расстреливать ваших же отцов и братьев, и вы так же безропотно должны будете покориться этому приказанию!»—говорилось в воззвании.

Возвание носило заглавие «К новобранцам» и было сознательно приноровлено Мутом ко времени происходившего в Крапивне призыва новобранцев. Всё это, с юридической точки зрения, должно было впоследствии чрезвычайно отяготить вину Мута перед судом. Но, конечно, молодой человек и не думал об этом.

Итак, это-то воззвание,—отчасти предвосхитившее по своему тону и содержанию позднейшее, тобольское воззвание Вениамина Тверитина,—Мут, составивши, переписавши *и подписавши* его, в 5 час. утра 23 октября развесил по городу Крапивне, где придется, на столбах и заборах.

Так как прямой связи с нашим процессом судебное дело Мута не имело и закончилось оно значительно раньше, то я передам здесь вкратце его историю до конца, подобно тому, как я поступил с разбиравшимся в Финляндии делом об участии в нашем воззвании Арвида Ернефельта.

Воззвание Мута не долго украшало улицы Крапивны. Как только народ стал просыпаться, кто-то из блюстителей порядка в этой тихой веси заприметил воззвание и донес о нем уездному исправнику.

Не трудно представить себе, какое ошеломляющее впечатление должен был произвести на представителей уездной полиции прочитанный ими необыкновенный документ—призыв «К новобранцам!» Вероятно, живописная, холмистая Крапивна от дня самого своего основания не порождала еще ничего подобного по смелости и дерзости прямых и открытых нападок на наиболее освященные обычаем и законами устои общежития!..

Около 10 час. утра в квартиру семейства Мут явились по-

мощник исправника и два городовых. Их встретили г-жа Мут, ее сын и дочь—девочка.

Поздоровавшись с г-жей Мут, глава отряда, помощник исправника, задал вопрос, в немножко странной для официального визита, но понятной в условиях существования уездного городишки, форме:

— Папа дома?

— Нет, папы нету. А вам что нужно?

— А Юрий Юлианович Мут дома?—в несколько приподнятом тоне спрашивает помощник исправника, несмотря на то, что Ю. Ю. Мут, улыбаясь, стоит тут же рядом и сам вопрошающий отлично знает его.

Мать, услыхав имя сына, сразу почуяла что-то недоброе и испугалась...

— Это я—Юрий Юлианович Мут!—ответил молодой человек.

— Господин исправни просит вас прийти к нему!

— Если я нужен исправнику, так он может сам прийти ко мне.

— Нет, так нельзя!—говорит помощник исправника и вынимает прокламацию.—А это вы знаете?

— Да, знаю.

Помощник исправника повторяет свое требование—итти к исправнику.

— Да я *не могу* итти,—смеется Мут,—у меня ботинки в починке!..

Он не сочинял. Что делать? Послали за ботинками к сапожнику, а тем временем полицейские приступили к обыску, который не дал никаких результатов.

Помощник исправника не стал ждать, пока принесут ботинки, и ушел, оставив для охраны арестованного только одного городового.

Ведя молодого человека в здание полицейского управления, городовой стал выказывать к нему явную симпатию и, в свою очередь, понравился Муту.

— Ведь, вот, ты меня арестовываешь, а не знаешь—за что!—говорил Мут городовому и вынув из кармана последний, остававшийся у него, экземпляр воззвания, передал его своему провожатому.

«Может быть, сам с пользой прочтет, да и другим даст почитать»...

Прокламация эта тоже оказалась в руках у следователя, а симпатичный городовой фигурировал после на процессе Мута в качестве свидетеля обвинения.

Первоначально Мут был помещен в Крапивенском уездном полицейском управлении,—в той самой камере, где в 1909 году содержался в заключении секретарь Л. Н. Толстого Н. Н. Гусев.

Крапивенские городовые, сменяясь на дежурстве в управлении, приходили поочередно и глядели на Мута, как на некое чудовище. Почти все ругали его, а он с пылом доказывал городовым свою правоту. Понемногу городовые привыкали к своему пленнику и, вспоминая Н. Н. Гусева, сравнивали его с Мутом, при чем некоторые находили даже, что Мут «лучше»: он не чуждается их и беседует с ними, а Гусев, будто бы, сидел печальный и молчаливый и ни с кем не разговаривал. Несомненно, впрочем, что особенная словоохотливость и общительность Мута на этот раз зависели не столько от добрых свойств его характера, сколько от того нервного и возбужденного состояния, в котором он находился...

Через 4 дня Ю. Мута отправили в Тулу, где и заключили в губернскую тюрьму.

В Туле Мут сидел очень долго, не менее полутора с лишним лет. Из этого срока ему пришлось провести некоторое время на испытании в местной психиатрической лечебнице, так как родителями его был возбужден вопрос о признании сына действовавшим в состоянии психической невменяемости. Они указывали на разные странности характера сына, проявлявшиеся с детства, после того, как его однажды придавила куча песку и т. д. Сам Мут горячо протестовал всюду, где только было можно, против этого стремления об'явить его невменяемым.

Мнения врачей—психиатров о молодом человеке разделились, между тем как в вопросе об освобождении его от ответственности за совершенный им поступок могло играть серьезную роль только *единогласное* заключение врачей о его психической ненормальности.

Окончательное решение суда по делу Мута состоялось не ранее осени 1915 года. Дело разбиралось в Туле, выездной сессией Московской Судебной Палаты. Суд признал Ю. Ю. Мута виновным по 5 п. 1 ч. 129 ст. Уг. Ул., т.-е. в призыве к неповиновению к войскам (хотя ни один солдат, может быть, не прочел воззвания Мута!), и приговорил его к лишению всех прав состояния и к ссылке в Сибирь на поселение.

Защита апеллировала в Сенат, представив собранные к тому времени почти единодушные свидетельства врачей о невменяемости подсудимого.

Высшее судебное учреждение постановило: приговор Судебной Палаты утвердить, в виду особой тяжести преступления, принимая во внимание переживаемое время, когда все без исключения граждане Российской империи должны находиться в рядах защитников отечества.—«И невменяемые в том числе?»—хотелось спросить у Сената.

По утверждении приговора Сенатом, Мут продолжал еще долго оставаться в тюрьме, ожидая отправки в Сибирь, и, наконец, летом 1916 года был отправлен по этапу в Иркутскую

губ., где и водворен на жительство в Качукской вол., Верхоленского уезда.

Февральская революция 1917 г. освободила юношу, амнистированного указом Временного Правительства, в качестве «политического».

При всех, отмечавшихся некоторыми, личных недостатках характера, Юрий Мут всё же, если не очень терпеливо, то с редким упрямством и, как ни как, с полным достоинством нес все выпадавшие на его долю тяжелые испытания. Он вынес гораздо больше, чем мы, хотя, быть может, и был менее готов к этому.—Воззвание Ю. Мута, как будет указано в следующей главе, послужило непосредственным толчком для составления другого, получившего бóльшую известность воззвания Сергея Попова, который, по примеру Мута, избрал и тот же способ распространения—открытое развешивание по городу. Эпизод с воззванием Мута, несомненно, всколыхнул немного и сонную Крапивну, сообщив вялому ее сознанию новую мысль: о преступности войны с точки зрения провозглашенного Христом закона о всечеловеческом братстве. Наконец, смелое выступление Мута порадовало и других защитников той же идеи, какая руководила им.

Все это—и страдания, и дело—заставляет нас с умилением и благодарностью вспомнить о решимости, проявленной при начале мировой войны никому неведомым юношей где-то в глуши русской провинции.

ГЛАВА XI.

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ВОЗЗВАНИЯ «МИЛЫЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ».

В тот самый день, как крапивенские власти старались ликвидировать попытку протеста против войны, произведенную Ю. Мутом, срывая воззвание «К новобранцам» с заборов и арестовывая его автора,—к потревоженному городку приближались со стороны села Русанова два необычного вида странника. И если с наружностью каждого из них в отдельности глаз мирился и было возможно причислить обладателя ее к какому-нибудь типу, классу или состоянию,—то взаимоотношение обоих спутников всё же оставалось непонятным: почему они идут вместе? И что может быть между ними общего? Очевидно, это—просто случайная встреча по дороге, не более.

Так говорил внешний вид странников.

Один из них, невысокого роста, с светлой, свалявшейся бородой, с румяными, как яблочки, щеками и с кроткими голубыми глазами, был, очевидно, нищий, бродяга, одетый в какое-то отребье самого последнего разбора: на нем была длинная, грубая, очевидно—самодельная, вязаная в редкую клетку из конопли

рубаха, поверх нее—нечто в роде короткого пиджака, кое-как смастеренного из полосатого деревенского бело-розового половичка, на ногах—лапти, а на голове—остроконечный шлычек, в роде монашеского, только белый, сшитый из небольшого куска парусины... Из-под шлычка опускаются почти до самых плеч длинные, белокурые спутанные волосы. За плечами—котомка, в руках—посошек... Чисто русский тип: юродивого или монашка, странствующего от города к городу; от монастыря к монастырю.

Другой—типичный еврей. Еще совсем молодой, худой, сгорбленный, с бледным лицом, с черной бородкой клинышком, с вытянутой вперед шеей. На глазах—очки. Взгляд—серьезный и какой-то напряженно-боязливый, а улыбка—детски-простодушная... Одет он в старый, поношенный триковый пиджачек, городского фасона. Вокруг слабых и тонких, как у гуся, согнутых в коленах ног треплются поношенные дешевенькие брючки. Голова увенчана каким-то темно-зеленым, с серыми полосами, блином, вроде остова старой дамской шляпки,—должно быть, чей-нибудь подарок на бедность...

Еврей, бессильный и бескровный, прятал руки в рукава и вообще, видимо, сильно озяб на холодном осеннем ветру. Монашек шел бодрее и увереннее...

Что же это за люди?

Не более, как два «толстовца»: Сергей, или Сережа Попов и Лев (Лейба), или Лёва Пульнер.

Оба, как мною уже упоминалось при рассказе о подписании воззвания Хорошем, проживали в с. Хмелевом, за 10 верст от Тулы. Теперь они возвращались из гостей,—с хутора Буткевичей близ Русанова и через Крапивну, направлялись дальше, к Булыгиным в Хатунку. После того им предстояло посетить Чертковых в Телятенках и т. д. Друзья задумали и осуществляли как-бы целое кругосветное путешествие по хуторам и местечкам двух или трех уездов, где проживали близкие по духу люди.

Сережа Попов родился в 1887 г., в Петербурге, в интеллигентной семье. Отец его, рано умерший, был «кандидат коммерции». Родной дядя Сережи ко времени возникновения дела о воззвании был товарищем председателя окружного суда в одном из губернских городов, а брат—инженером. Мать его проживала безвыездно в Петербурге.

Впрочем, Сережа давно порвал с семьей все связи и даже мать навещал крайне редко. Он вышел из 7-го класса гимназии (Императорского Человеколюбивого О-ва в Петербурге), чтобы с тех пор вести образ жизни бездомного Божьего странника.

История внутреннего переворота Сережи была такая.

Как-то один из товарищей по гимназии подал Сереже книжку—«В чем моя вера?» Толстого—со словами: «Вот какая-то поповщина! Не хочешь-ли почитать?» Сережа прочел книжку и

поразился новизною и глубиною открывшегося ему жизнепонимания. Толстой сильно заинтересовал его. После того, сидя в садике, около Исаакиевского собора, Сережа прочел как-то рассказ «Молитва»—Толстого, и был до слез тронут его содержанием. Затем последовало уже систематическое изучение религиозно-нравственных писаний Толстого, преобразившее духовный мир юноши.

Правда, было еще одно сочинение, прочитанное С. Поповым до Толстого, которое также оказало на него большое и до известной степени однородное влияние,—это именно «Утопия» Томаса Мора. Уже после «Утопии» Сережа стал задумываться над вопросом о выходе из гимназии, так как к «науке», преподававшейся в гимназии, он давно уже успел получить прямое отвращение. «То-ли дело жить в труде, в свободе, по-христиански!»—думал Сережа.

Бросив гимназию, Сережа Попов, как и большинство неофитов «толстовства», увлекся, по его словам, сначала преимущественно внешней, казовой стороной учения: бросил паспорт, опростил до последней степени весь обиход своей жизни и т. д. Вместе с тем, ему не раз приходилось ловить себя на различных душевных недостатках: пристрастии к спорам, раздражительности с матерью и т. д. «От меня ускользнуло главное»,—сказал тогда самому себе Сережа: это то, *чтобы во всяком положении быть добрым*». Он понял, как важна, помимо чисто внешней последовательности, эта скрытая от других людей внутренняя работа над собой, работа над своим духовным совершенствованием.

Конечно, придя к такому выводу, Сережа в то же время отнюдь не намеревался изменить тому внешнему пути простой, трудовой жизни, на который он уже вступил. Внутренняя работа и внешняя последовательность, как выражения одной и той же религиозной истины, должны были взаимно дополнять друг друга, стремясь образовать одно гармоническое целое. Сначала Сережа поступил работником к одной довольно странной особе в Петербурге, которая все свои денежные средства употребляла на то, чтобы содержать в своем доме до 40 собак и до 20 кошек. Эта необыкновенная любительница животных самоотверженно, часто больная, ходила за своими питомцами, а Сережа помогал ей в более трудных работах по хозяйству: колол дрова, носил воду, чистил коровник, варил овсянку собакам, щупал кур даже; летом-же занимался покосом и огородом. Это были первые шаги его трудовой жизни.

А затем он узнал о существовании так называемых «толстовских» земледельческих общин, и его потянуло туда. В течение длинного ряда лет Сережа исколесил чуть-ли не всю Россию, навещая друзей и единомышленников по разным губерниям и областям или работая у крестьян. Он предлагал людям свой

носильный труд, не беря за него никакого вознаграждения, довольствуясь только пропитанием. Охотно делился с каждым, встречавшимся ему, человеком также и своими взглядами. Но, главное, поучал не словом, а жизнью.

Он постепенно выработал в себе удивительную незлобивость и мягкость. Ко всем относился одинаково кротко и любовно, обращаясь не только к людям, но и к животным, как к братьям. Он не брезговал никакой самой грубой и неприятной работой. И трудился настолько добросовестно, что первое время, от непривычки и от чрезмерного напряжения, с ним случались даже обмороки. Потом он вработался во все сельско-хозяйственные работы и нес их, как заправский работник.

В личной жизни был крайне воздержан и прост. Одевался во что Бог пошлет, что дадут добрые люди, лишь бы прикрыть тело. «Хорошо, брат,—даже мужички не завидуют»!—говорил он мне про тот костюм, в котором застало его наше описание. Спал на соломе. Не употреблял в пищу не только мяса или рыбы, но даже молока и яиц, а также меду,—на том основании, что, как ему не раз приходилось наблюдать, все, даже лучшие, пчеловоды нередко, по неосторожности, убивают пчел. Не употреблял он и обуви из кожи.

Сережа любил и жалел всякое живое созданье. Он, например, отвергал пользование трудом лошадей в хозяйстве, и, если ему случалось самостоятельно засевать хлеб или сажать картошку, то он не запахивал поле лошадью, а сам вскапывал лопатой...

Поработавши в одном месте, Сережа мирно прощался с хозяевами и шел дальше, в другое. Круг общения его с людьми и со всем миром Божьим, таким образом, никогда не замыкался.

Очень часто по дороге Сережу останавливали какие-нибудь деревенские или уездные власти и требовали пред'явить паспорт. Но Сережа давно уже отказался от паспорта и не имел его при себе. Тогда его спрашивали, кто он такой и из какой губернии.

— Я—сын Божий, по телесной оболочке—Сергей Попов,—отвечал обыкновенно Сережа.—Все люди—братья. Весь мир—дом Божий, вся земля—Божья, а губернии—это самообман, мираж...

Но власти настаивали на ответе о звании, происхождении и т. д. Сережа отвечал то же самое. Его ругали, били,—ничего не помогало. Тогда кроткого упрямца хватали и сажали под арест в какой-нибудь клоповник, на месяц, на два, а иногда и больше, пока стороною собирали о нем необходимые справки. В конце концев, его обыкновенно выпускали, при чем, за время более короткого знакомства с ним, отношение к нему его гонителей совсем менялось: вместо ожесточения, они начинали испытывать к «брату Сергею» почти любовь.

— На тебе, Сережа, двугривенный, пригодится в дороге!—

бывало, обращался к Сереже, выпуская его из плена, какой-нибудь сердобольный исправник, может быть, недавно угощавший «бродягу» тумаками.

— Благодарю, брат! Я уже обедал сегодня, брат!—отвечал Сережа своему недавнему притеснителю и, кротко отклонив дар (он старался не иметь денег), отправлялся дальше...

Так протекала его подвижническая жизнь.

Лето 1914 года Сережа Попов проводил на хуторе некоего С. М. Соломахина, «толстовца» из сектантов, близ с. Хмелевого, Тульского уезда. На земле, принадлежащей Соломахину, Сережа вырыл себе в лесу землянку, и там жил, днем выходя на работу к крестьянам, которые платили ему за труд натурой—картошкой и хлебом.

Одиночество Попова на этот раз разделял молодой еврей Лев Пульнер (род. в 1890 г.), уроженец местечка Почеп, Черниговской губ. (земляк Хороша), сын местного «сейфера», т. е. переписчика Торы, недавно познакомившийся с мировоззрением Толстого и выказывавший сильный интерес к нему.

Пульнер давно слышал о Сереже Попове от разных единомышленников. Ему хотелось поближе познакомиться с Сережей и поучиться у него, как жить. Нарочно за этим Пульнер и приехал в Тульскую губ., узнав, что Сережа Попов обосновался в Хмелевом. Сережа охотно допустил в свое общество незнакомого приезжего юношу, уступив ему местечко и лишнюю охапку соломы для спанья в своей землянке. С того времени Л. Пульнер стал во всем делить «труды и дни» Сережи Попова.

Сережа и Лева еще ничего не знали об аресте Рафы Буткевича, неожиданная весть о котором, по пришествии в Русаново, одновременно и огорчила, и порадовала их: жаль было Рафу, но в то же время—радостно от сознания, что ужасному кошмару войны противопоставляются верующими людьми столь смелые обличения.

Что касается Сережи, то он и сам очень тяжело переживал войну. В беседах с хмелевскими крестьянами, иногда группами приходившими к нему в землянку, Сережа высказывал такие мысли о войне:

— Война—это разросшийся кошмар личного блага. Жизнь человека не принадлежит ему, она принадлежит Богу. Настоящее «я» человека духовно, и «я» это одно во всех. Когда мы сознаем наше духовное единство с другими людьми и любим друг друга, то и на душе у нас легко и хорошо,—мы выполняем закон Бога. И, наоборот, когда каждый из нас хочет служить только своему «я», исполнять желания своего тела,—ничего, кроме мучений, для всех нас из этого выйти не может. Поглядите на властвующих и богатых,—у них идет борьба с братьями-людьми из-за богатства и из-за власти; у подвластных мы видим тоже

личные интересы: боязни за свое тело, страха смерти... Отсюда и раздор среди людей, отсюда и война, которая вызывается, с одной стороны, насилием властвующих, а с другой—подчинением этому насилию подвластных... Не боялись бы люди за себя, отказывались бы итти на войну, и войны бы не было, и люди были бы целы...

Мужички, слушая Сережу, как будто понимали его.

— Правда, правда!—говорили они, покачивая головами.—Да, ведь, как же быть-то? Не пойдешь—посадят в тюрьму! Останутся без призора хозяйство, дети...

Сережа часто думал о том, что ему следует публично исповедывать перед властями свое отрицательное отношение к войне. Невысказанность мыслей и чувств, возбужденных войной, становилась все более и более мучительной для него,—тем более, что вокруг развертывалась ужасная картина все новых и новых наборов среди крестьянского населения... Сереже неприятно было и то, что его могли считать за уклоняющегося и скрывающегося от воинской повинности. И вот, он решил явиться для личных об'яснений к Тульскому воинскому начальнику..

Сережа настолько серьезными представлял себе последствия этой явки, что долго колебался, прежде чем осуществить свое намерение. Он слышал от мужиков о воинском начальнике, как об очень суровом и строгом человеке; вполне понимал он и то, что при всеобщем увлечении войной всякое открытое свидетельство против нее должно вызывать особенно жестокое отношение со стороны власти. И он думал, что, решаясь пойти к воинскому начальнику, надо готовиться прямо к смерти. «Ведь он может возбудить против меня толпу,—думал Сережа,—и толпа разорвет меня! Или меня велят расстрелять»... И Сережа ловил себя на чувстве страха.

Колебания были так сильны, что Сережа несколько раз выходил, было, из дому по направлению к Туле, но затем опять возвращался назад.

Но, наконец, он сказал себе: «Да будет воля Твоя! Какое суеверие—смерть, когда жизнь—в любви, в правде!»...

И пошел к воинскому начальнику.

Он явился в воинское присутствие, когда там шла горячая работа по приему и записи новобранцев. Сережу выслушали, навели о нем какие-то справки и затем категорически заявили: «Уходите, нам вас не надо!»... Сережа вышел из помещения присутствия и обратился к толпившимся у крыльца новобранцам с речью, в которой стал развивать свои взгляды. Выбежавшие из присутствия писаря и солдаты подхватили Сережу под руки и вывели его вон из толпы... Тем дело с явкой к воинскому начальнику и кончилось.

Правда, Сережа сделал еще письменное заявление воинско-

му начальнику о своих взглядах, которое послал по почте; но на заявление это никакого ответа не получилось.

Узнав от Хороша, что в Ясной Поляне составлено воззвание против войны, Сережа просил Хороша передать мне о его согласии подписаться под воззванием. Но Хорош не вполне точно понял Сережу, и я первое время воздержался от выставления подписи С. Попова под воззванием.

Сережа и Рафу-то Буткевича захотел повидать, главным образом, потому, что слышал о его намерении отказаться. «Очень ценны душевные переживания перед призывом»,—думал он и надеялся на плодотворное духовное общение с Рафой. Не застав Буткевича, он, вместе с Левой Пульнером, тронулся дальше, в Хатунку, к Булыгиным.

Судьбе угодно было устроить так, что, когда Попов и Пульнер проходили 23 октября через Крапивну, по пути из Русанова в Хатунку, они совершенно случайно наткнулись на одного городового, который, разговорившись, сообщил им о необыкновенном событии, взбудоражившем сегодня утром город: сын чиновника Юрий Мут расклеил по городу прокламации против войны, начальство переполошилось и приказало городовым посрывать все прокламации и никому о них не рассказывать, самого же Мута арестовали и посадили в тюрьму...

Столь необыкновенное сообщение произвело сильное впечатление на наших друзей. Сереже понравились мужество и открытый образ действий Мута. Соблазн последовать его примеру был слишком велик.

«В самом деле,—думал Сережа,—ведь я могу не только в деревнях говорить об истинном благе, но написать воззвание и развесить его в городе, где много людей. Ко мне в землянку приходят понемногу, а если я изложу письменно свои мысли и вывешу их на людной улице в городе, то я могу сразу сообщить их многим людям...»

И вот, придя к Булыгиным, Сережа улучил момент, когда, вечерком, он остался один в так называемом «Новом доме» (флигельке, где обыкновенно ночевали бродившие летом по тульским весям «толстовцы») и попытался набросать текст обращения к людям—братьям по поводу войны. Он сделал это сначала на обороте переплета своей любимой книги «Путь жизни» Толстого, с которой не расставался, а затем переписал текст на листок почтовой бумаги.

Поднявшись на другой день утром с постели, Сережа еще раз просмотрел и исправил этот текст.

К этому времени в Хатунку явился новый гость —наш друг и единомышленник Василий Иванович Беспалов (род. в 1879 г.), крестьянин Пензенской губ., живший когда-то у Чертковых в Телятенках, в качестве чернорабочего.

Это был человек в высшей степени почтенный и своеобразный. Сохранив цельность склада и язык человека из народа, Василий Беспалов, религиозная пытливость которого не ограничивалась только личным общением с «толстовцами» и сектантами, приобрел за время своих духовных исканий большую начитанность в религиозно-философской литературе. Человека, впервые сталкивавшегося с ним, этот степенный и серьезный крестьянин, —своим пожилым, продолговатым лицом, почти без всякой растительности, напоминавший несколько католического ксенза,—неожиданно поражал вполне сознательными и точными ссылками на таких писателей, как Толстой, Ницше, Руссо, Ренан, Шопенгауэр, Бюхнер и др. Но если была удивительна образованность Беспалова, то не меньшего удивления заслуживали и черты его личного характера: степенность, серьезность, мудрое немногословие, редкая деликатность по отношению к собеседнику (вместе с некоторой торжественностью в обращении), а также—определенно проступавшая во всех его поступках сердечность и доброта.

Вот что показал на суде о Беспалове один его односельчанин, крестьянин Безруков: «Сначала Василий вел жизнь порочную, как все мы; увлекался пьянством. Судился за кражу. А после этого в нем произошел душевный перелом, и он сделался человеком, каких мало бывает, и мы его не могли узнать. Он сделался кротким, смиренным. Он все больше странничал. Когда жил у себя на селе, то помогал работать, ходил к своим сестрам, которые жили в разных селах: работал то у одной сестры, то у другой, то у отца... И всюду приносил с собой смирение, мир и спокойствие. Никто не мог сказать про него слова порицания»...

Беспалов очень любил и ценил Сережу Попова,—без сомнения, за то же, за что Сережу любили и ценили все: за его последовательность, любовность, жизнь, полную самоотречения. Он и на этот раз приехал с родины, подобно Пульнеру, нарочно для того, чтобы повидаться с Сережей. Не застав Сережу в Хмелевом, Беспалов два дня прожил в Сережиной землянке, напрасно поджидая хозяина, а потом решил пройти к Булыгиным в Хатунку.

Тут друзья встретились и Сережа поспешил познакомить брата Васю с своим намерением опубликовать воззвание против войны. Тот отнесся к этой мысли вполне сочувственно. Он и не мог отнестись иначе, так как война и в нем самом вызывала сильный душевный протест.

При обыске, произведенном у Беспалова, в с. Богородском-Голицыне, Пензенской губ., 26 ноября 1914 г., найден был, между прочим, экземпляр «Календаря для каждого» Зонова, на полях которого, против стих. Л. Медведева «Война», оказалась такая надпись, сделанная рукою Беспалова: «Взявший меч от меча

погибнет. Нужно уже раньше, при первом заслышании клича войны, быть твердым, сосредоточив все нравственные силы—для кроткого и твердого отречения от нее, дабы сохранить Дух Господень и не низринуться в разверстый ад торжествующего зла». Эта краткая и решительная, не лишенная оттенка несколько мрачной торжественности, надпись очень характерна для В. Беспалова.

Сережа прочел составленное им воззвание трем братьям: Васе Беспалову, Леве Пульнеру и Сереже Булыгину. Первые двое тотчас высказали пожелание присоединить свои подписи к воззванию, между тем как Сергей Булыгин колебался: в принципе и он сочувствовал воззванию, но тем не менее, как он говорил, для него еще оставалось неясным, этот-ли именно путь он должен избрать для проявления своего отрицательного отношения к войне. Перед ним вырисовывалась еще возможность другого пути: отказа от воинской повинности...

В беседе о тех задачах, какие должно было преследовать воззвание, Сережа Попов выражал ту мысль, что назрела потребность напомнить людям об истинном Божеском законе и указать, что тот «Божеский» закон, именем которого правители и их подчиненные ведут войну, не есть Божеский закон. Необходимо напомнить об истинном, евангельском пути для выхода из положения того зла, в какое впали люди.

Распространить воззвание Сережа предполагал в г. Туле, тем самым способом, к какому прибег Юрий Мут для распространения своего воззвания в Крапивне, т. е. расклейкой по улицам.

Не откладывая в долгий ящик осуществления этого намерения, все трое участников воззвания—С. Попов, Л. Пульнер и В. Беспалов—в то же утро двинулись из Хатунки на Тулу. Им предстояло идти через Телятенки и Ясную Поляну.

В Телятенках путешественники сделали кратковременный привал на деревне, во вновь отстроенной избе сына В. Г. Черткова Вл. Вл. Черткова, недавно женившегося на крестьянке и серьезно собиравшегося обосноваться на жительство в деревне, в качестве крестьянина-землепашца. Тут воззвание в последний раз было проредактировано, при чем одна фраза («Те, кого вы называете врагами» и т. д., кончая словами: «что насилие и убийство дозволено Богом»), вставлена была в текст воззвания по желанию Васи Беспалова.

Таким образом, воззвание приобрело, в окончательной редакции, следующий вид:

«Милые братья и сестры!

Наш общий дух, дух Божий, побуждает нас обратиться к вам. Опомнитесь, одумайтесь, проснитесь от ужасной греховной жизни, от ужасной ложной веры в то, что насилие и убийство дозволено, что оно может быть даже благодетельно. Проснитесь

от ужасного военного кошмара! Все люди мира—братья и сестры, проявление той Высшей Силы, которая дает жизнь всему, без нея ничего бы не было. Дух Божий один и тот же во всех людях. Откажитесь от войны, пожалейте, не убивайте друг друга! Те, кого вы называете врагами,—дети того же Бога—Отца,—ваши божественные братья. Настоящий враг наш—в нас самих,—это грехи, соблазны и суеверия; ложная вера в то, что насилие и убийство дозволено Богом. Бог—Дух—наш истинный Отец. Не делитесь на своих и чужих. Все люди родные, во всех единая светлая радость. Дух Божий—любовь. Опомнитесь же, милые братья и сестры, откажитесь от ужасного закона насилия, закона войны. Поверьте и живите истинным законом души вашей, законом Бога—любовью. Любите друг друга. Одна душа во всех.

Ваши братья: *Сергей Попов, Василий Беспалов, Лев Пульнер*».

В. Беспалов, обладавший хорошим, четким почерком (он служил когда-то, в худшую пору своей жизни, волостным писарем), переписал воззвание на-чисто.

После этого друзья отправились в большой дом Чертковых, стоявший отдельно на усадьбе: просить «брата Владимира Черткова» позволить размножить воззвание на ремингтоне. Но такое позволение дано не было и тогда, по совету ремингтониста Чертковых С. М. Белинького, докладывавшего о просьбе пришедших В. Г. Черткову, Попов, Пульнер и Беспалов решили отправиться с аналогичной просьбой к «брату Вале Булгакову», в Ясную Поляну: «ведь Булгаков сам распространяет свое воззвание против войны,—говорил им Белинький,—он, наверное, не откажется переписать и ваше воззвание».

По совету того же С. М. Белинького, в воззвание Попова внесен был еще один, чрезвычайно характерный штрих: это именно—указание адреса Попова.

Белинький, просмотрев воззвание, высказал ту мысль, что в таком деле лучше всего действовать открыто, а если так, то открытость эту нужно довести до конца, т. е. прямо указать адрес авторов воззвания. Сережа нашел это замечание вполне уместным и правильным, и, в результате, в конце воззвания, рядом с фамилией Попова, появилась пометка: «Дер. Хмелевое, в 10 верстах от г. Тулы». Сколько улыбок,—то насмешливых, то восхищенных, то просто недоумевающих вызовет впоследствии этот штрих на лицах тех, кто будет знакомиться с воззванием!..

— Сережа Попов,—вед, это же идиот, идиот!—будет восклицать в беседе с Т. Л. Сухотиной-Толстой один из следователей по нашему делу тов. прокурора тульского окружного суда Воронцов:—ну, что у него тут в голове?! Составляет воззвание—и адрес, адрес пишет!!!

Итак, Сережа Попов и два его сподвижника являются в Ясную Поляну.

Вот они все сидят передо мною на мягких креслах. Вася Беспалов и Пульнер—торжественно-серьезные и молчаливые, а Сережа—весь мягкий, любовный и словоохотливый.

В дружеской беседе Сережа изложил мне просьбу о переписке воззвания, рассказал о поступке Юрия Мута и сообщил о своем намерении развесить воззвание по улицам г. Тулы.

Я удивился в душе столь упрощенному способу, какой избрал для распространения своих мыслей Мут, а теперь избирал Сережа, но в то же время безотчетно порадовался самоотвержению их обоих. Потом попросил дать мне посмотреть воззвание и, читая, тронулся, заметив в конце адрес.

«Переписать-ли воззвание Сереже? Конечно, мой долг—переписать. Ну, а если участие мое, благодаря аресту Сережи, сделается преждевременно известным властям, и это помешает мне закончить собирание подписей под воззванием «Опомнитесь, люди—братья»?... Но что же я скажу Сереже!»...

А Сережа смотрел на меня доверчивыми голубыми глазами и ждал.

Я решил положить все на волю Божию.

Часы показывали уже более 11-ти утра. К этому времени наверху, в зале, где находилась пишущая машина, обыкновенно собирались уже за кофеем немногочисленные, проживавшие тогда в Ясной Поляне, члены семьи Толстых. Мешать им стуком машинки мне бы не хотелось...

Я побежал наверх, взглянуть, что там делается.

Дочь Льва Николаевича Татьяна Львовна, в кружевном утреннем капоте, сидела в старом вольтеровском кресле своего отца перед мольбертом и цветными карандашами зарисовывала уголок зала: с круглым столом, креслами красного дерева вокруг него и бюстом Толстого, работы Ге, на высокой подставке... Внучка Льва Николаевича прелестная Танечка Сухотина занята была какой-то игрой, тут же подле матери, под руководством англичанки—воспитательницы... Утреннее солнце мягко освещало эту идиллическую картину.

Узнав о том, что мне нужно переписать что-то на ремингтоне, Татьяна Львовна, с присущей ей деликатностью, стала уверять меня, что стук машинки ни чуточки не помешает ее работе.

— А что вы хотите переписывать?—осведомилась она, между прочим, не отрываясь от своего рисунка.

— Это—секрет!—ответил я.

Сбегав вниз, я взял у Сережи Попова воззвание и переписал его на самой тонкой бумаге в 20 копиях, в два приема, по 10 копий сразу.

Между прочим, уходя во второй раз наверх, для переписки воззвания, я предварительно обратился ко всем трем братьям с вопросом:

— Вполне-ли вы готовы к тем последствиям, какие могут произойти для вас после того, как воззвание будет развешено?

— Да, милый брат, я вполне готов!—кротко кивая головой, тотчас произнес Сережа,—видимо, без всяких колебаний.

Категорически и деловито подтвердил то же самое Пульнер, хотя в действительности именно он-то и был менее всего готов. Как выяснилось после, Пульнер почти не представлял себе характера той ответственности, которой он подвергался, да и не ожидал этой ответственности, наивно предположив, что власти и на этот раз не захотят иметь дела с таким простаком, как Сережа, и не отнесутся слишком серьезно к его воззванию... Правда, тюрьма в высокой степени подняла дух Пульнера, но в самый момент подписания воззвания он просто шел, не рассуждая, за своим учителем Сережей.

Вася Беспалов ответил на мой вопрос, что подписал он воззвание в полном сознании важности и правоты этого дела, но к тому, чтобы пойти вместе с Сережей открыто развешивать воззвание по городу и подвергаться той опасности, которая может угрожать за это, он еще не чувствует себя готовым. «Хотя,—добавил Вася,—он ничего не может возразить и против такого способа распространения воззвания»...

Сказал он это, как всегда, искренно и просто.

После того, как я вручил друзьям переписанное воззвание, попросив при этом позволение один экземпляр его оставить для себя, они обратились ко мне с просьбой присоединить их подписи также и к воззванию «Опомнитесь, люди—братья».

Затем гости мои поднялись уходить: Сережа—в Тулу, развешивать воззвание, Вася—проводить его до города, а Лева один —домой, в Хмелевое.

— Может быть, скоро увидимся,—в тюрьме?—обратился ко мне при прощаньи, с своей кроткой улыбкой, Сережа.—Ведь ты, брат Валя, кажется, выражал надежду, что и тебя возьмут скоро?

— Да, я думаю, что долго здесь не останусь! — сказал я, смеясь.

И повторил то, что не раз говорил в беседах с друзьями за последнее время: что тюрьма, наверное, облегчила бы ту душевную тяжесть, какую я испытываю, благодаря войне.

Однако едва-ли я и Сережа рассчитывали в тот момент, что встреча наша в изменившихся условиях внешней жизни произойдет так скоро, как это, действительно, случилось.

ГЛАВА XII.

ПОСЛЕДНИЕ ПОДПИСИ ПОД ВОЗЗВАНИЕМ «ОПОМНИТЕСЬ, ЛЮДИ—БРАТЬЯ».

Решительный шаг, предпринятый Сергеем Поповым для распространения составленного им воззвания «Милые братья и сестры», как я втайне и опасался, предрешил также судьбу и общего, яснополянского воззвания. С самого момента появления Попова в Туле 24 октября, карающая десница государственной власти нависла не только над головою его и двух участников его выступления, но и над головою всех тех, кто принял участие в воззвании «Опомнитесь, люди-братья». И удар последовал очень быстро.

В этот короткий промежуток времени между посещением Поповым Ясной Поляны и последовавшим вскоре затем моим арестом мною получено было еще несколько заявлений от лиц, выражавших желание присоединить свои подписи к воззванию «Опомнитесь, люди-братья».

Ив. Ал. Мельников (род. в 1887 г.), крестьянин с. Мясново, Тульской губ. и уезда, по образованию техник, начинающий провинциальный литератор, отбывавший впоследствии (в 1915 — 1917 гг.), каторжные работы в Шлиссельбургской крепости за отказ от военной службы по религиозным убеждениям, прислал мне следующее письмо:

«Любезный Валентин Федорович!

Кровавая волна событий захлестнула собой и здравый смысл, и волю всех обитателей Европы. Больно, досадно от той мысли, что миллионы людей с удивительной готовностью, со штыком в руках, идут на воображаемого врага, забывая все, что есть лучшего в человеке в частности, и людях вообще. Забыты идеалы Христа, попраны лучшие чувства, разбиты лучшие надежды миллионов молодых людей, могущих любить и на основах этой любви строить новую жизнь, не окропленную кровью своих братьев.

Ужасно, ужасно наше время! Но ужас этот становится более чудовищным и диким тогда, когда на месте увидишь жизнь крестьян, отпустивших из своих соломенных гнезд так много отцов, братьев и детей.

Я послал письмо в редакцию «Ежемесячного Журнала», в котором описываю, насколько это хватит моих сил, теперешнее положение деревни. Население в отчаянной нужде и положительно не заинтересовано в кровавой бойне.

Я слежу за событиями и все более и более удивляюсь тому, до какого варварства дошли люди, прикрываясь то государственными соображениями, то мнимым христианством с его облачениями, кумирнями и «христолюбивым воинством».

Чувствую, что мы—капля в море. Когда говорю, что не нужна война, меня никто не понимает; смеются надо мной. Понимают лишь крестьяне, которые отпустили кормильцев защищать «*свою родину*», состоящую из ¼ надельной земли и хаты, оцениваемой в жалкие гроши, и православие, загнавшее их в непроходимые дебри невежества. Я разговорился с одной солдаткой. Она готова за кусок хлеба в полном смысле слова продать себя. Потому что оставшемуся на руках ребенку не на что купить баранок...

Рад, что ты собираешь подписи под обращение. С великой радостью подписываюсь и я.

22 октября 1914 г.

Крестьянин села Мясново (Тульск. г.) *Ив. Мельников*».

К суду Мельников привлечен не был. Подполковник Демидов, видимо, тоже «искал, но не нашел» его.

Старик П. М. Ледерле, брат известного петербургского издателя М. Ледерле, писал из Новгородской губ. (19 октября 1914 г.):

«Дорогой брат!

С искренней радостью прошу вас присоединить и мою подпись к христианскому обращению по поводу войны, копию которого получил от вас вчера.

Передайте, Валентин Федорович, нашим друзьям мой сердечный привет.

Любящий вас *Петр Ледерле*».

А вот—краткое извлечение из письма —автобиографии лично неизвестного мне 19-летнего юноши В. Кеберле, прочитавшего воззвание у одного нашего общего знакомого в Петербурге:

«... До вчерашнего дня я чувствовал себя вдали от Бога, ближних, чувствовал себя эгоистом, т. е. прескверно, но вчера и сегодня, под влиянием хороших книг, я понял всем сердцем то ужасное зло, вернее—бессмысленность того, что совершается, и потому, от души желая прекращения этой бойни человеческой, я хоть подписью под вашим обращением, быть может, чуть-чуть поспособствую этому или, по крайней мере, совместно с вами всеми, мною очень любимыми и уважаемыми (хотя я вас даже и не видел) людьми, выражу свое сочувствие тому, что в вашем, Валентин Федорович, обращении высказывается»...

В. Кеберле, равно и П. М. Ледерле, к суду привлечены не были.

Совершенно не помню, каким способом через какого-нибудь посредника или письмом по почте, передал мне И. М. Трегубов подпись одного из участников будущего нашего процесса—Я. Л. Демиховича (род. в 1879 г.),—имя, слышанное мною тогда впервые. Это—киевлянин, содержавший в Киеве вегетарианскую столовую, семейный человек, еще молодой. Когда-то Демихович был близок по своему религиозному миросозерцанию к «евангели-

кам», интересовался также одно время теософией. Теперь он сочувствовал взглядам Л. Н. Толстого.

На допросе Я. Л. Демихович показал, что «узнав содержание воззвания, разрешил поместить и свою подпись, так как принципиально с содержанием воззвания был согласен».

Н. К. Муравьеву он писал (2 января 1916 г.): «По моему убеждению, всякий человек, желающий быть христианином, должен не только верить в правоту учения Христа, но и исповедывать его делом. И вот я, веруя в учение Христа, как самое лучшее и совершеннейшее из всех существующих учений, могущее привести людей к почти всеми желанной цели общественного благоустройства на началах любви и божеской справедливости, не мог не присоединиться к голосу немногих, направленному против войны,—явления в высшей степени грубого, жестокого, противного не только божеской справедливости, но и здоровому чувству сколько-нибудь гуманных людей, принижающего и позорящего человеческое достоинство».

На суде Демихович говорил:

— Когда разразилась эта война, я страшно болел душой. Видя патриотизм, охвативший все сословия, я страшно волновался, не знал, чем выразить свое отношение к событиям... В это время я узнал про воззвание. Я возрадовался, что нашлись люди, которые дерзнули выразить, вопреки всеобщему настроению, свой протест против войны... Я был чрезвычайно рад. Я знал, что, присоединив свою подпись, могу подвергнуться наказанию, но я не считался с этим... Вся жизнь моя—на компромиссе, вся жизнь моя—на насилии. Но не присоединиться к этому воззванию было бы самым ужасным компромиссом. И голос внутренний преодолел. И вот я присоединил свою подпись»...

Накануне моего ареста, 27 октября 1914 г., ко мне в Ясную Поляну зашел Вениамин Тверитин, сообщивший мне о желании одного своего тюменьского товарища З. Лобкова подписаться под воззванием. Я присоединил подпись Лобкова.

Эта подпись по числу явилась *сороковой* и, в сущности, последней.

Я мог бы упомянуть еще о двух подписях: Н. И. Ефремова, очень близкого многим из нас человека, бывшего студента историко-филологического факультета Московского университета, работавшего одно время в Телятенках, в качестве секретаря В. Г. Черткова, и в момент подписания воззвания проживавшего на родине, в г. Воронеже, а также—поселившегося в г. Майкопе, Кубанской обл., молодого болгарина Христо Досева, редактора болгарского ежемесячного свободно - религиозного журнала «В'зраждане» («Возрождение») и переводчика сочинений Толстого на болгарский язык, большого нашего друга, неоднократно бы-

вавшего в Ясной Поляне и в Телятенках, еще при жизни Льва Николаевича.

Но писем, посланных мне двумя этими лицами, с просьбой присоединить их подписи к воззванию, я в свое время почему-то не получил, так что имена Ефремова и Досева не появились под воззванием.

Итак, перечисляю еще раз всех подписавшихся, в порядке поступления их подписей, обозначая при этом местожительство каждого лица, чтобы дать наглядное представление о «географии» нашего воззвания:

В. Ф. Булгаков (Ясная Поляна, Тульской губ.), И. М. Третубов (Петербург), М. С. Дудченко (Полтава), Ф. Х. Граубергер (Федоровка, Полтавской г.), Н. М. Стрижова, Е. П. Нечаева (Нежин, Черниговской г.), Д. П. Маковицкий (Ясная Поляна, Тульской г.), А. П. Сергеенко, П. Н. Олешкевич, А. Е. Никитин-Хованский (Телятенки, Тульской г.), А. В. Молочников (Ясная Поляна, Тульской г.), К. Д. Платонова (Телятенки, Тульской г.), В. Д. Тверитин (Тобольск), М. И. Хорош (Хмелевое, Тульской г.), Р. А. Буткевич (Русаново, Тульской г.), А. Пилецкий (Конотоп, Черниговской г.), С. Попов (Хмелевое, Тульской г.), В. П. Некрасов (Кривско, Новгородской г.), А. А. Ернефельт (Виркбю, Финляндия), А. В. Архангельский, И. В. Завадовский (Тюмень, Тобольской г.), М. П. Новиков, И. П. Новиков, И. М. Гремякин (Боровково, Тульской г.), А. И. Радин, М. С. Радина, Ю. А. Радина, Алр. А. Радин, Алс. А. Радин (Ильюшевка, Воронежской г.), А. И. Иконников, Ф. Губин (Орелька, Екатеринославской г.), В. Е. Крашенинников (Москва), В. И. Беспалов (Богородское-Голицыно, Пензенской г.), Л. Н. Пульнер (Хмелевое, Тульской г.), И. С. Мельников (Мясново, Тульской г.), А. Чехольский (Полтава), Я. Л. Демихович (Киев), П. М. Ледерле (Меглецы, Новгородской г.), В. Кеберле (Петербург), З. И. Лобков (Тюмень, Тобольской г.), Н. И. Ефремов (Воронеж), Х. Досев (Майкоп, Кубанской области).

Всего 42 человека, распределяющихся по местожительству следующим образом: Тульская г.—15 человек, Воронежская г.—6 человек, Тобольская г.—4 человека, Полтавская г. и Черниговская г.—по 3 человека; г. Петербург, Екатеринославская г. и Новгородская г.—по 2 человека; г. Киев, г. Москва, Кубанская обл., Пензенская г. и Финляндия—по 1 человеку.

Так создалось воззвание «Опомнитесь, люди-братья».

Читатель заметил, вероятно, что люди, подписавшие воззвание, отличаются между собою—по возрасту, образованию, душевной зрелости, внешнему положению, по темпераменту, по характеру отношения своего даже к самому воззванию и т. д. По составу участников воззвания, без сомнения, очень трудно определить то, что можно было бы назвать «типом» толстовца. И

это понятно, потому что такого типа в сущности нет. По крайней мере, не те или иные внешне уловимые черты определяют его. Вот почему и участников воззвания нельзя принимать за какие-то отвлеченные, ходячие идеи, за манекены «толстовства»,— все это—самые обыкновенные живые люди, со всем разнообразием их индивидуальных особенностей, хотя, быть может, и одушевленные одним общим стремлением к добру, к правде. Отсюда и самое воззвание так называемых «толстовцев» против войны и то судобное дело, в которое оно разрослось, следует рассматривать как живой организм, живое тело, с нервами и кровью, а не как какую-то разнаряженную мертвую куклу.

Нас собрала и соединила наша общая вера в добро и в человека. Нас соединила вера в святость человеческого долга. Этим идеалам на наших глазах грозила гибель. Все человечество, преклонившись перед каннибальскими принципами войны, всеобщего разрушения и взаимного уничтожения, шло, как это мы ясно видели, не только к великим материальным бедствиям, но и к глубокому моральному разложению. Какое же счастье, что даже наши слабые голоса все-таки не остались без отголосков! Поистине, это была лучшая проверка нашей веры в добро и в человека!..

Весь процесс возникновения воззвания «Опомнитесь, люди-братья» дал повод присяжн. пов. Б. А. Подгорному подыскать соответственную параллель... у Гоголя. В черновом наброске не произнесенной на суде речи Б. А. Подгорный пишет:

«Когда палач приступил к Остапу с последними мучениями, Остап на мгновение пал духом. В последний час сжалось его сердце, ощутившее одиночество. Ему захотелось услышать родной голос, чтобы подкрепить свой дух. И он позвал: «батько, где ты? Слышишь-ли ты меня»?—«Слышу»!—раздалось в ответ.

И мне кажется, что так-же, как Остап, воскликнул, или мог воскликнуть Валентин Булгаков: «Слышишь-ли ты меня, брат мой, где ты»?—«Слышу»!—тотчас-же радостно ответил Трегубов и присоединил свою подпись. Всегда деятельный и тревожный, он немедленно отправился к Михаилу Новикову и спросил: «Слышишь-ли меня»? Новиков откликнулся.

И вот стали они перекликаться, и каждый новый голос растил в них надежду. Им откликнулись из Тюмени, Полтавы, с берегов Дона, с берегов Кубани. Они уже чувствовали, что не одиноки, что их хоровод насчитывает столько пожатий!..».

В том же черновом наброске не произнесенной речи Б. А. Подгорного находим любопытную сравнительную характеристику обоих воззваний:

«Воззвание «Милые братья и сестры»,—говорит Подгорный,— образец той истины, которая глаголется устами младенцев. От него веет радостью, несмотря на скорбь и жалобу. «Все люди

родные,—говорится в нем,—во всех единая светлая радость. Дух Божий—любовь. Опомнитесь же, милые братья и сестры, опомнитесь от ужасного закона насилия, закона войны. Поверьте и живите истинным законом души нашей, законом Бога — любовью. Любите друг друга. Одна душа во всех». Конечно, это не призыв к толпе, ведущий к определенным действиям. Это—тихий зов из землянки. Это трогательная жалоба без укора, это—слезы, зовущие к светлым слезам и умиленным улыбкам...

Второе воззвание иного склада. Оно также говорит о любви, но написано от рассудка и полно доказательств. В нем чувствуется риторика. В нем ссылка—на науку, конечно, ложную; на культуру, несомненно, внешнюю; на цивилизацию, разумеется, машинную. Историческая аргументация приводит пример Аттилы и Чингис-Хана, обычные примеры толстовских поучений. Это — декларация. Но за нею, несмотря на ее риторику, чувствуется сильный драматический момент... Это не тихий зов, это—клич скорбной и смятенной души».

ГЛАВА XIII.

(ИЗ ПИСЕМ ЛИЦ, ОТКАЗАВШИХСЯ ПОДПИСАТЬСЯ ПОД ЯСНОПОЛЯНСКИМ ВОЗЗВАНИЕМ.

Чтобы закончить историю возникновения воззвания «Опомнитесь, люди-братья», и в целях об'ективности, я позволю себе привести здесь несколько писем от лиц, *отказавшихся* по тем или иным соображениям подписаться под воззванием.

Если была интересна картина того сочувствия, которое вызвало воззвание в единомышленных кругах, то не может не быть интересна также и сводка тех случаев, когда близкие и, в общем, единомышленные авторам воззвания люди не пожелали принять участие в их выступлении.

Об отношении к воззванию В. Г. Черткова, высказавшегося против «коллективности» в такого рода делах, а также об отношении московских друзей, опрошенных И. М. Трегубовым, я уже упоминал.

Но вот—письмо, которое я склонен считать наиболее веским из всех присланных на мое имя писем с возражениями против воззвания. К сожалению, я прочел его только через год после его написания: я уже был заключен в тюрьму, когда оно составлялось. По освобождении, я получил это письмо от Чертковых, на адрес которых оно было прислано для меня.

Автор письма, почтенный старик Н. Д. Ростовцев, бывший председатель Острогожской уездной земской управы (Воронеж. губ.), принадлежит к старинным и преданным друзьям Л. Н. Толстого, взгляды которого он вполне разделяет.

«Дорогой Валентин Федорович!

Не подпишу я вашего воззвания, главнейшим образом, потому, что всегда уклоняюсь от публичных выступлений (не в моем это характере). Потом, такое воззвание при настоящем настроении массы, даст повод к еще большему озлоблению и руководителей ее натолкнет на преследование тех, которые разделяют взгляды воззвания, и тем помешает их главной деятельности—постепенному усвоению этих взглядов и проведению их в жизнь. *Зверя* приручают не тогда, когда его инстинкты особенно возбуждены—с'ест и будет доволен. Таким образом, воззвание это практически будет скорее вредно. И если может оно принести хоть какую-нибудь пользу, то разве только тем, что напомнит нетвердым о высших идеалах. Но еще вопрос, что из этого выйдет. Место такому воззванию целесообразнее после войны, когда увидят ее результат, который далеко не оправдает ожиданий, но на деле только убедятся, что «взявшие меч (даже не в буквальном смысле: как немцы до войны) мечом погибнут». Увидят всю бессмыслицу материальной культуры, не имеющей своим двигателем запросов нравственности или хоть не противоречащей им. Я не имею претензии думать, что мои соображения всеоб'емлющи. Бывают, например, случаи обуздания словом и возбужденной толпы, но для этого нужен мощный голос, вызванный глубоким сильным чувством авторитетного человека, да еще пожалуй в той же наглядной обстановке зла, против которой ратуют, Я боюсь, что подпись этого воззвания при данных условиях у некоторых может быть вызвана просто желанием, из чувства солидарности, пострадать со всеми за общее благо, хотя иначе понимаемое...

Простите, что не скоро ответил—был занят.

Дай вам Бог побольше «смиренномудрия, терпения и любви».

Любящий вас Н. Ростовцев.

2 ноября 1914 г.».

Как знать, получи я это письмо до своего заключения в тюрьму, может быть, я и задумался бы над его доводами...

С другой стороны, припоминая теперь то, что произошло на нашем судебном процессе, я думаю, что, может быть, тут мы как раз и имеем один из тех исключительных случаев успешного влияния на толпу даже при самых неблагоприятных условиях, о которых говорит Н. Д. Ростовцев.

Е. И. Попов один из наиболее известных единомышленников Л. Н. Толстого, его старинный и прилежный корреспондент, следующими строками ответил мне на письмо с приложением воззвания:

«Милый друг В. Ф.!

Я понимаю твое и других желание высказать свое отноше-

ние к войне, но думаю, что способов этого выражения может быть много и у каждого свой; кроме того, выступления скопом прямо как-то чужды моей природе,—поэтому я не подписываю присланного тобою листка и возвращаю его обратно.

Почти ту же версию, как мне помнится, привозил Ив. Мих.*) и предлагал нашим друзьям, тем самым, которым мог предложить и я, поэтому я возвращаю листок без новых подписей.

Всего тебе хорошего. Е. Попов».

А вот—письмо нашего талантливого беллетриста и очень непостоянного в своих взглядах человека, «неистового» И. Ф. Наживина, одно время стоявшего очень близко к Л. Н. Толстому и его миросозерцанию:

«Нет, голубчик, подписать этой бумаги я не могу, так как вижу в ней внутреннее противоречие. Все мы, неизвестно почему, вообразили себя христианами. Это суеверие пора разрушить. Худо или хорошо, но ясно, что жизнь—борьба, и в этой борьбе мы, пишущие романы, описывающие библиотеки и пр., и пр., и пр.—победители. Мы—на солнышке. Поэтому мы не имеем ни малейшего права говорить другим: не боритесь за лучшее, по вашему мнению, будущее.

Второе: совсем в нас нет любви. Мы *только говорим* о любви. И потому апеллировать к ней—не имеем права.

В-третьих, я совершенно не согласен теперь, что свобода *только* внутри нас. Нет, я хочу свободы и внешней, я не хочу, чтобы какая-нибудь каналья мешала мне дышать свободно. И потому я должен бороться за эти свои неот'емлемые права человека. Довольно «неделания», непротивления и пр.

Я был бы готов подписать протест против всех этих безумий, но совсем не в этой форме. «Ибо написано» для меня не аргумент.

Скоро я опубликую статью «Моя ошибка», в которой будет (увы, кратко) рассказано, в чем и как изменились мои убеждения. Прочтите ее.

Если будете в Москве, милости просим ко мне. Буду рад видеть вас. Если я отошел от вас, это не значит, что я не хочу быть с вами в самых хороших отношениях. И мы найдем легко почву для близости.

Ваш Ив. Наживин».

Письмо—чудесное в своем роде. Отдельные его места, остроумные и злые, в свое время очень позабавили меня. Но не могу не возразить против одной фразы в письме, которую нахожу не совсем справедливой: «Мы—на солнышке, поэтому мы не имеем ни малейшего права»... и т. д.—Так-ли, Иван Федорович? *Все* ли мы на солнышке? Можно-ли сказать это также и про таких аске-

*) Трегубов.

тов, как С. Попов, И. М. Трегубов, Л. Пульнер, В. Беспалов, Д. П. Маковицкий, А. Иконников и многих других из числа подписавших воззвание? Очевидно, что нет. А если так, то выходит, что даже и с вашей точки зрения этих людей нельзя лишить права обращаться к другим с своим словом.

Авторы приведенных трех писем определенно высказались против воззвания, хотя и по различным мотивам. Но были также письма и от лиц, вполне сочувствовавших воззванию и только воздержавшихся, по тем или иным соображениям, от присоединения своей личной подписи к нему.

Очень тронуло меня письмо, полученное от нашего кавказского единомышленника Я. Т. Чаги, отказывавшегося в 1905—6 г. от военной службы, а затем обосновавшегося на своем хуторе близ г. Пятигорска и отдавшегося всецело занятию земледельческим трудом:

«17 октября 1914 г.

Дорогой брат Валентин, письмо ваше с обращением получил, за которое приношу благодарность.

Воззвание это мне и некоторым моим друзьям очень понравилось, и кое-кто из нас решили распространить его между своими близкими. Но подписываться показалось нам не важным: мы не принадлежим к сильным мира сего и совершенно неизвестны для широкого общества людей (на что, собственно, мне кажется, и расчитано это обращение), а потому наши подписи не играют в данном случае почти никакой роли.

Если понадобится в будущем денежная помощь для напечатания и распространения этого воззвания, то я готов с удовольствием послать некоторую сумму в ваше распоряжение; если у вас будет отпечатано это обращение, то будьте добры выслать мне сколько можете и найдете нужным.

Сняв копию с обращения, я передал его, вместе с вашим письмом, дальше,—тому лицу, о котором бы упоминали *).

С любовью к вам,
ваш брат Я. Чага».

Отвечая Чаге выражением глубокой благодарности за его письмо, я не мог в то же время не указать, что тот довод, вследствие которого он и его близкие отказались подписаться под воззванием, не может играть в моих глазах никакого значения. «Мы не принадлежим к сильным мира»... Но разве мы-то, подписавшие воззвание, подписали его потому, что считали себя принадлежащими к «сильным мира»?! Было бы очень дурно во всех отношениях, если бы мы так рассуждали! И я повторил Чаге те слова, которые я когда-то употребил в разговоре с А. Е. Никити-

*) Речь шла о каком-то из единомышленников в Пятигорске. В. Б.

ным-Хованским, также сомневавшимся, подписывать-ли ему воззвание его скромным именем: «Каждая новая подпись показывает только то, что вот и еще одна христианская душа протестует против войны»...

Бывший секретарь Л. Н. Толстого Н. Н. Гусев, которому я тоже послал воззвание, писал (9 октября 1914 г.):

«Дорогой Валентин Федорович,

Получил твое письмо и воззвание. Как мне ни хотелось бы принять участие в общем таком хорошем деле, но, сколько я ни думал об этом, что-то в моей душе противится участию в нем. Может быть, то, что воззвание обращается ко всем с заповедью Христа о любви: я же, по жизни своей так далек от того, чтобы быть учеником Христа, что такое обращение с моей стороны было бы ненатурально. Второе — что в обращении неясно то, к чему собственно оно призывает людей (практически); заключение же его говорит о том, что его цель—заявить перед всеми о том, что подписавшие его «не на стороне войны». Но я не чувствую внутренней потребности делать такое заявление, потому что не думаю, чтобы кому-нибудь было нужно знать это. В своей последней статье в «Русских Ведомостях» Кропоткин упоминает о том, что есть такие противники войны, не заявляющие о себе публично; мне приятнее остаться в рядах этих неизвестных людей, так как я знаю, что поскольку в моей душе есть любовь к истине, она проявится в моей жизни и без того, чтобы я заявлял людям о том, что она есть.

Наконец, если бы я решил обратиться к людям с воззванием, то высказал бы в нем все, что думал об этом; есть такие стороны этого вопроса, которых воззвание не касается.

Все это я говорю только для того, чтобы выяснить, почему я не принимаю участия в вашем деле, но никак не потому, что хотел бы помешать ему. Я стараюсь руководствоваться в своих отношениях к людям тем, что пути, по которым люди осуществляют истину в своей жизни, бесконечно разнообразны, и каждый пусть идет своим путем; все, что делается с искренним желанием добра, несомненно служит добру. Уже одно то, что под воззванием стоит подпись такого самоотверженного идеалиста, как Иван Михайлович *), заставляет меня относиться к этому делу с уважением и желать ему успеха.

Твой Н. Гусев».

Если причины, по которым Н. Н. Гусев не подписал воззвания, носят, главным образом, чисто суб'ективный характер, то автор нижеследующего письма,—М. Н. Яковлева, молодая девушка, окончившая незадолго перед тем один из московских женских

*) Трегубов.

институтов и уже в последний год жизни Толстого обменявшаяся с ним рядом чрезвычайно важных и интересных писем,—основывает свой отказ от подписания воззвания на несовершенстве самой редакции воззвания.

«23 октября 1914 г.

Милый Валентин Федорович, я не могу подписать Вашего воззвания. Под теми строками, которые я подчеркнула красным карандашем, я подписалась бы охотно, но остальные, по-моему, не только лишние, но прямо вредят нашему делу. «Истинная свобода—только свобода внутренняя». Мы верим в это. Следовательно, политическая свобода совсем не должна интересовать нас. Она не нужна нам; она никому не нужна. И, говоря об угнетенном правительством народе, о государственном насилии и т. д., мы впадаем в тон революционных прокламаций и приближаемся к революционерам. Этого не должно быть. Вы знаете, что Лев Николаевич всегда жалел о том, что ему иногда случалось говорить слишком резко, оскорбляя этим чужие верования. В книге Гусева *) есть упоминание о том, что ему не нравилась какая-то «политическая» песня, которую пели крестьяне и которую очень любил В. Г. **) Л. Н. находил, что она проникнута чувством ненависти и злобы. *Мы же должны служить только делу любви.* Милый брат Валентин Федорович!—Пишу Вам это не для того, чтобы *себя* оправдать, но искренно хочу, чтобы слова мои дошли до Вашего сердца, и Вы согласились бы со мной. То, что вы решили выступить против войны, прекрасно; но не отклоняйтесь в сторону от этой цели! В отмеченных мною строках сказано все, что нужно: Люди-братья, слушайтесь только закона своей совести—Божьего голоса в вас. Закон этот говорит вам: не убий! Так не участвуйте же в убийстве!—Вот все, что можем сказать *мы.*—«Еще совет: старайтесь *как можно меньше* предпринимать и говорить, и как можно больше воздерживаться и от поступков *и от слов*». Это из письма Л. Н. ко мне.—Не надо же лишних слов, а тем более злых слов! Потому что—простите меня, В. Ф.—слова ваши о правительстве и церкви все-таки злые. Это именно те слова, в которых раскаивался Л. Н.

...Буду рада—хотя не смею на это надеяться,—если Вы измените редакцию воззвания, отбросив все лишнее и резкое. Тогда я подпишу его с радостью...

Преданная Вам М. Яковлева.

... Буду рада—хотя не смею на это надеяться если Вы изме-

этого по понятным причинам. Я выпустила бы из него строки, идущие после слов «истинная свобода—только свобода внутрен-

---

*) «Два года с Л. Н. Толстым». М. 1912.

**) Чертков.

няя», кончая словами «солдатский штык», и дальше от слов «Бесконечно горько сознавать» до слов «с изображением распятого Христа». Все остальное—прекрасно».

Я отвечал М. Н. Яковлевой подробно. Я писал, что вполне уважаю ее чувства и считаю, как и она, что, разумеется, ей не следует подписываться под воззванием, если внутренний голос подсказывает ей, что она не должна этого делать. Тем не менее, я брал на себя смелость утверждать, что «злых слов» в нашем воззвании нет.

В самом деле, по поводу этих, не от одной только Яковлевой исходивших, дружеских указаний на то, что в наше воззвание вторгся будто бы элемент революционный, политический (или «социал-демократический», как выразился Дудченко), я не могу не высказать здесь своего искреннего удивления. Ведь я же знаю, что все те, кто брался утверждать нечто подобное о воззвании, сами постоянно, в своем кругу,—в письмах, беседах и т. д.,—ровно постольку же и точно таким же образом оценивали деятельность церкви и государства, как это сделано в воззвании. И вот, как только дошло до открытого выражения подобного рода мнений,так, вдруг, по каким-то ложным соображениям мнимохристианской стыдливости, и самое содержание, и форма давно всем знакомых утверждений стали казаться недопустимыми, невозможными!..

Но, право, я лично,—не питающий даже и тени какого-нибудь озлобления против представителей церковной и государственной власти, *как отдельных людей,* готовый на улице остановить и братски расцеловать первого попавшегося навстречу священника или офицера,—не могу тем не менее, когда заходит речь об об'ективной оценке роли *церкви и государства* в жизни народов, не сказать прямо и с беспощадной откровенность того, что только в малой мере сказано в воззвании. *Людей* я не имею права резко обличать, но *учреждения*—да. Только бы делать это искренно и не для того, собственно, чтобы во что бы то ни стало «обличить» кого-то или что-то, но чтобы смело и открыто выразить весь ужас души перед деятельностью, скажем, таких организаций, как церковь и государство; чтобы помочь раскрытию того обмана, в сетях которого путается сознание народа,—при том, не привнося в обличение ничего личного: никакого мелочного раздражения, или голоса ущемленного самолюбия, или неудовлетворенного тщеславия и т. д. Слово иногда действует как меч, но оно должно быть чистым и направленным бескорыстно, из подчинения только внутреннему чувству справедливости,—и не по людям, а, как говорил Толстой, по «обманам веры», по отягощающим нашу жизнь злым «суевериям».

В условиях внешней несвободы, рабства слова,—прямое и мужественное указание на подлинные язвы общественного бытия

приобретает особенное значение. Лучше быть искренним и высказаться, чем носить то же слово в душе и мучиться тем, что знаешь и видишь, только про себя, скрытно от соседей, хотя бы молчание твое и было невыгодно им же. Конечно, с христианской точки зрения, надо во всем исходить из требований любви, но когда огромные, мощные организации (хотя бы самых милых тебе по отдельности людей, к числу которых, может быть, принадлежат твои отец, братья, друзья), извращая совесть, влекут людей по обманной дорожке к погибели,—ты должен крикнуть в лицо этим организациям: бессовестные, вы обманываете и губите народ! остановитесь, во имя Бога, во имя совести!—как и сказал мальчик Тверитин в своем тобольском воззвании, как пытались и мы сказать.

И только бы ты имел в эту минуту чистое сердце,—Бог, всемирная совесть, простит тебе и этот пыл души, и даже те невольные ошибки, какие тобою могут быть при этом сделаны.

Таким-то образом, по зрелом обсуждении вопроса, я и до суда, и во время суда, и после него не мог, и теперь не могу: взять назад те слова воззвания, которые М. Н. Яковлева,—ошибочно, по моему мнению,—назвала злыми. Вся историческая обстановка последних ужасных лет жизни России и мира такова, что выраженный лишь отчасти в воззвании взгляд мой на значение церкви и государства в жизни человечества, под влиянием событий, мог только укрепиться во мне.

Наконец, были в числе полученных мною писем с отказом подписаться под воззванием такие, авторы которых с прямодушной откровенностью заявляли, что они и рады бы присоединиться к общему делу, но боятся за последствия этого присоединения для себя и для своей семьи.

Одно из таких писем,—от некоего Арона Шура, домашнего учителя в м. Почеп, Черниговской г., скончавшегося в 1917 г., поразило меня своим тоном, исполненным истинного трагизма:

«18 октября 1914 г.

Дорогой Валентин! Я получил Ваше письмо. От подписи отказываюсь—по своей трусости. (Отчасти из жалости к больной жене своей). Простить мне эту измену Христу—я не прошу, потому что единственное мое утешение в том только, что это и многое другое мне не простится. Понимайте состояние это как хотите, но я так чувствую.—Друзья! Не прощайте вы тому, кто знает, что творит. Вы, братья дорогие, которых ведут теперь тысячами на бойню, чьей кровью пропитана земля—не прощайте! Проклятие посылайте из своих могил тому, кто оставался немым и глухим к вашим стонам, к вашим страданиям.

Хотя не смею, но я позволю себе сказать несколько слов по

поводу Вашего обращения. Оно написано... чернилами, не кровью Христа распятого, да и теперь распинаемого нами. И написано оно как бы к любезным читателям... к «представителям всех умственных течений»—не к тем, за которых «смертельно скорбела» душа Христа. Потом, философское выражение: истинная свобода—свобода внутренняя,—кажется, вовсе неуместно тут.

Недостойный брат Ваш Арон».

Все, кто отказывался подписать наше воззвание, но разделял наши чувства, были,—я это искренно сознавал,—наши желанные союзники. И каждому из них, в своих ответах, я писал, что, разумеется, это дело его совести—подписывать или не подписывать воззвание,—и что бороться с войной, как и вообще служить делу любви, можно разными способами. У Бога путей много. Лишь бы итти к Нему, а не от Него.

Часть вторая.

Аресты и следствие.

ГЛАВА I.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ С. ПОПОВЫМ ВОЗЗВАНИЯ «МИЛЫЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ» И ЕГО АРЕСТ.

Получив от меня 24 октября 1914 г. 19 экземпляров своего воззвания, Сережа Попов направился по «большаку» прямо в Тулу, развешивать это воззвание. Его сопровождал Вася Беспалов.

Проходя мимо расположенного при в'езде в город громадного белого каменного здания тюрьмы,—вероятно, жадно глядевшей своими бесчисленными глазами-окнами на жертву, поглотить которую предстояло ей так скоро,—Сережа купил в одной из близ лежащих лавченок коробочку кнопок, чтобы прикреплять воззвание к столбам и заборам.

Тут же Вася Беспалов расстался с Сережей. Обливаясь слезами обиды за самого себя, что у него не хватало решимости сопутствовать Сереже и дальше, с тем, чтобы разделить его участь, Вася нежно простился с своим другом. А Сережа направился в город, вниз по главной, Киевской улице.

Был час вечернего гулянья. По тротуарам широкой и прямой, как стрела, улицы сновали толпы отдыхающего и развлекающегося по окончании трудового дня городского люда.

Сережа потихоньку подвигался вдоль улицы и в разных местах спокойно прикреплял кнопочками к столбам и заборам листки воззваний. Первый он повесил неподалеку от тюрьмы, второй —немного ниже по улице, и т. д.

Иногда к нему подходили люди, спрашивая:

— Что это?

— Обращение к людям,—спокойно отвечал Сережа и шел дальше.

У этого бедняка,—вернее, босяка,—видимо, зарабатывавшего свой жалкий кусок хлеба расклейкой об'явлений, был такой спокойный, уверенный и степенный вид, что никому и в голову не приходило заподозрить в его поведении что-нибудь недоброе и остановить его или погнаться за ним...

Так Сережа развесил 17 экземпляров воззваний, у него осталось еще только два. Он решил пока сохранить их при себе и, так как уже стемнело, то он отправился на ночлег к одному своему знакомому, земскому служащему, жившему в скромной квартирке вместе с своей старушкой-матерью.

Сережа застал дома только старушку и еще другую женщину, снимавшую комнату в той же квартире. Обменявшись приветствиями, он рассказал обеим женщинам, зачем он явился в Тулу и что он сделал сейчас на Киевской улице. При этом прочел воззвание.

Женщины переполошились. Страх перед полицией, свойственный русскому обывателю, оказался настолько силен в простодушных женщинах, что они уже не могли чувствовать себя вполне спокойно, находясь под одной крышей с таким важным государственным преступником, как Сережа. Они решили, что, наверное, Сережа был замечен полицейскими, когда входил в дом; или что его вот-вот выследят и явятся за ним. Воображение их до того разыгралось, что уже в каждом шорохе за стенами дома чудилась им приближающаяся погоня за Сережей.

Заметив впечатление, произведенное его рассказом, Сережа счел за лучшее пойти переночевать в другое место, чтобы не беспокоить и не волновать понапрасну женщин своим присутствием в их доме. Он попрощался с ними и направился к одной своей приятельнице, некоей старушке Гурской, известной среди тульских «толстовцев» тем, что она выделывала вегетарианскую обувь и обучала этому искусству других, как детей, так и взрослых. Было уже совсем поздно, когда Сережа постучался к Гурской. В квартире все спали. Сереже открыли дверь, поздоровались с ним и указали место, где лечь. Сережа тотчас расположился на ночлег и заснул до утра.

Что же делалось в это время на Киевской улице? Воззвание Сережи Попова, конечно, не могло остаться не замеченным, и сведения о нем моментально достигли до слуха тульских властей.

Среди тех, кто, между прочим, прочел на улице Сережино воззвание, был и один молоденький чиновник Государственного Банка, фланировавший в толпе. Неподалеку от здания Крестьянского Банка этот чиновник заметил группу лиц, читавших какое-то об'явление. «Уже не обо мне-ли? Не новый-ли призыв»?—подумал молодой человек, числившийся ратником 2-го разряда. Но лень было протискиваться сквозь толпу к об'явлению, и молодой человек прошел дальше. Тут он повстречался с приятелем, таким же, как и он сам, фланирующим юношей, благонамеренных убеждений.

Приятель сообщил любопытную новость:

— Тут развешено воззвание к «Милым братьям и сестрам», призывающее не участвовать в войне!

— Значит, это—пропаганда против правительства?—спросил чиновник.

— Должно быть, да.

И тут же, пройдя немного дальше, оба приятеля увидали новую группу людей, читавших воззвание. Чиновник решил, что такого беззакония допускать нельзя, и, хотя сам он не прочел еще ни одного слова из воззвания, тем не менее он счел нужным, подойдя к постовому городовому, предложить ему немедленно снять воззвание и доставить его в полицию.

— С удовольствием!—сказал городовой и отправился исполнять поручение.

Нашелся и еще столь же лойяльный гражданин, как этот молодой чиновник Государственного Банка, который в другом месте обратил внимание другого постового городового на воззвание «Милые братья и сестры». Тут городовой подошел к столбу и сначала поглядел, нет-ли на воззвании надписи: «с разрешения начальства». Но надписи не было. Тогда исполнительный служака сорвал воззвание и тоже отнес его в полицию.

Звонит телефон. Из полицейского управления вызывают помощника начальника Тульского жандармского управления подполковника Павлова, ведавшего полицейским розыском. Сообщают об обнаружении в городе, на Киевской улице, преступного воззвания, призывающего к окончанию войны. Павлов просит доставить обнаруженное воззвание в помещение жандармского управления, что и исполняется.

Пожилой офицер, прослуживший 10 лет по жандармскому ведомству, Павлов, в первый раз имел перед своими глазами экземпляр «противоправительственного воззвания *с обозначением адреса составителей.*

— Да это «толстовцы»!—воскликнул он.

Хотя воззвание, по содержанию своему, и не показалось очень опасным, но все же подп. Павлов немедленно отрядил «подчиненных ему чинов» для розыска по городу лица, распространявшего воззвание. На другой день он представил воззвание своему начальнику, генералу Иелита-фон-Вольскому, который распорядился, чтобы второй помощник начальника жандармского управления подполковник Р. Д. Демидов взял на себя формальное производство предварительного следственного дознания по делу обнародовавших воззвание «толстовцев».

Таковы были меры, принятые жандармским управлением к ликвидации преступного замысла трех «толстовцев», подписавшихся под воззванием.

Между тем Сережа Попов, проснувшись утром, 25 октября, у старушки Гурской, рассказал и ей о своем поступке, сопроводив рассказ чтением воззвания. Чтение и рассказ растрогали старушку и она рада была, что Сережа зашел к ней и рассказал ей столько нового и интересного. Так как Сережа собирался ухо-

дить в Хмелевое, то старушка стала упрашивать его остаться хоть до обеда, побеседовать еще, посмотреть на ее работу... И Сережа, было, согласился. Но тут пришел один знакомый Гурской мальчик, ученик местного реального училища, никогда до сих пор не видавший Сережу и ничего не знавший о нем. Этот мальчик рассказал присутствовавшим в квартире свежую «новость» о том, что вчера кто-то развесил по улицам воззвание против войны, которое возбудило большой переполох в городе, а также, что власти разослали по городу городовых, с приказом разыскивать повсюду и срывать воззвание...

Пришла очередь встревожиться и старушке Гурской: нетрудно было понять, о каком воззвании шла речь. Сын Гурской, домашний учитель, имевший какое-то случайное знакомство в полиции, отправился туда разузнать, в чем дело.

Вернулся и рассказал, что, действительно, власти очень встревожены появлением воззвания и что полицейские собираются выезжать по указанному на воззвании адресу, т.-е. в деревню Хмелевое, для розысков виновников.

Сережа не мог не заметить, что и у Гурских присутствие его в доме вселило в хозяев известное беспокойство. Тогда он решил не задерживаться больше в городе и немедленно отправиться домой, в Хмелевое, где могли бы встретить его полицейские. Попрощавшись с Гурскими и подарив на память старушке один из двух остававшихся у него экземпляров воззвания, Сережа пустился в дорогу.

Никем не узнанный и не остановленный, он беспрепятственно прошел через весь город и по киевскому шоссе направился к себе в деревню.

Было 12 часов дня, когда современный апостол любви проходил мимо железо-прокатного завода, близ дер. Михалково, на полдороге между Тулой и Ясной Поляной.

Несколько огромных труб устремлялись вверх, выпуская клубы дыма. Громадные темные «домны» вырисовывались тяжелыми силуэтами на светлом фоне неба. Масса каменных и деревянных строений сгрудилась по обоим сторонам дороги и как-бы сжимала ее в своих тисках. В одном месте через шоссе перекинут был воздушный мост, по которому время от времени пробегали небольшие, черные, как жуки, пыхтящие и свистящие паровозы, с платформами, нагруженными рудою или шлаком.

Только что прогудел свисток на обед. Рабочие толпами высыпали из ворот завода и расходились в разные стороны, по своим лачугам. Некоторые собирались группами около ворот и беседовали между собой.

Сережа Попов глядел на огромное, мрачное здание завода, на запачканные сажей лица рабочих, и в душе его поднималась жалость к этим людям.

«Милые братья, как им тяжело!—думал он.—Неужели-же я

не дам вам, милые братья, маленькой капельки своей любви, когда это—дело моей жизни»?..

И эта маленькая капелька жалости, капелька любви выразилась в том, что Сережа подошел к воротам завода и приколол на них кнопками последний, остававшийся у него, экземпляр воззвания.

Народ стал читать это воззвание, а Сережа пошел дальше, по Одоевскому шоссе, как раз от завода поворачивающему на Хмелевое.

Сережа быстрым шагом прошел уже довольно большое расстояние, как вдруг услыхал позади себя кричащие голоса. Он оглянулся. Двое рабочих бежали за ним следом и махали ему руками, чтобы он остановился, а в отдалении за ними следовала целая толпа народа. Сережа остановился.

— Земляк, куда идешь?—проговорили запыхавшиеся рабочие (дорога в этом месте шла в гору), поравнявшись, наконец, с Сережей.

— В Хмелевое.

— И нам туда-же, по пути!.. Вон и наши товарища, погоди! —сказали рабочие, оборачиваясь и указывая на приближавшуюся толпу.

Сережа понял, что его хотят схватить.

Толпа подошла вплотную. Из нее выделился один человек, почище одетый, с воззванием Сережи в руках. Это был управляющий заводом,—русский патриот, с иностранной фамилией.

— Это он? Этот?—спрашивал управляющий у своих спутников, указывая на Сережу.

Из толпы отвечали: кто—«да, этот», кто—«нет, нет». И тот, кто сказал «нет», в действительности видел Сережу у ворот завода, как это заметил сам Сережа.

В это время к собравшимся подошли с противоположной стороны пять или шесть человек солдат, направляющихся от Одоева к Туле.

Шиллинг,—так звали управляющего заводом,—быстро обратился к солдатам и закричал, указывая на Сережу:

— Братцы, берите его! Это—шпион! Он куплен на немецкие деньги!..

Солдаты двинулись, было, к Сереже, но тут он заговорил, обратившись к Шиллингу со следующими словами:

— Зачем же, брат, вы берете меня? Разве я дурное что сделал? Нет, братцы, я—брат ваш, сын Божий, я зову всех людей к любви, жить в радости, в мире. Прочти, что я написал. Ведь здесь одна правда Божия. Здесь Христовы слова: любите друг друга!

При этих словах, при звуке этого голоса солдаты немного оторопели и отступили, а смущенный Шиллинг принялся наскоро пробегать Сережино воззвание, но не вслух, а про себя.

— Вот он пишет: «откажитесь от войны»!—воскликнул, наконец, Шиллинг.—Берите, ведите его!

Солдаты обступили Сережу и стали подталкивать его: иди! иди!

— Побить бы еще следовало хорошенько!—высказали свое мнение Шиллинг и еще кое-кто из толпы.

Но не били, а повели к заводскому урядннку.

Дорогой солдаты стали расспрашивать Сережу, кто он такой, откуда взялся, каких убеждений держится, что написал в своем воззвании, что думает про войну и т. д. Сережа с готовностью отвечал на эти расспросы и, между прочим, среди многих других слов, произнес и ту фразу, о которой впоследствии находившимся среди солдат унтер-офицером Салминым было донесено следователям и которая затем была квалифицирована как возбуждение воинских чинов к неисполнению воинского долга, а именно:

— Итти на войну и воевать, братцы, не нужно! Мы все—братья одинаковые, и душа у нас одинаковая: что у германцев, что у нас...

После, на суде, на вопрос председателя, что он хотел сказать этими словами, Сережа пояснил:

— Просто быть добрым с ними я хотел, выразить свое братское чувство... Ведь дело моей жизни—быть добрым с каждым человеком в каждый момент настоящего. И в тот момент самыми важными для меня людьми были те солдаты, с которыми я разговаривал. И вот, когда они у меня спросили: «что же, по-твоему и воевать не нужно?» — я ответил: «Конечно, братья, не нужно. Все мы—братья одинаковые, и душа у всех одинаковая, как у русских, так и у немцев». Этими словами я выразил мою любовь и уважение к тому духу Божию, который живет во всех нас.

Привели Сережу к урядннку, обыскали, отобрали любимую книгу «Путь жизни», коробочку с четырьмя оставшимися от развешивания воззвания кнопками...

Затем урядник пошел сообщить по телефону в Тулу о поимке «шпиона».

Сережа около часу оставался один с караулившими его солдатами, вятскими мужичками, проявлявшими большой интерес к его взглядам. Он много беседовал с ними, так что солдаты под конец даже растрогались...

Наконец, урядник вернулся.

— Сейчас приедут!—сообщил он.

И, действительно, скоро зазвенели бубенцы, и к крыльцу урядникова дома подкатили двое или трое саней, из которых вышли: жандармский подполковник Демидов, тульский полициймейстер Толпыго и другие полицейские. Сани окружены были не менее чем десятком конных городовых или жандармов: очевидно, тульские власти недостаточно еще вчитались в воззвание и никак не могли постигнуть его истинного характера.

Все начальство было в чрезвычайно приподнятом и возбужденном состоянии. Демидов уселся за стол, потребовал чернил и приступил к допросу. Этот допрос начался с неистовой площадной ругани его по адресу арестованного.

— Отвечай, говори!—кричал Демидов, приправляя свои слова самыми отборными ругательствами.

В то же время один из полицейских,—кажется пристав,—стоя позади Сережи, тыкал его кулаками в спину и приговаривал:

— Говори! Не рассуждай!..

— Милый брат!—обращался Сережа к полицейскому, поворачивая к нему лицо:—ведь это грешно!.. Ведь мы—братья, в нас дух Божий, надо быть добрыми... Зачем же, ты бранишься, толкаешься?

— Ну, ну!.. Разговаривай тут еще!—отвечал полицейский и продолжал вести себя по-прежнему.

Тульский полициймейстер Толпыго, ввалившись в комнату, неожиданно заявил, что он отлично знает Сережу.

— А-а, я его знаю! Я его встречал. Он был вместе с Чертковым в кондитерской Филиппова. Они там пили шоколад через соломинки... Ведь был ты тогда с Чертковым?

— Нет, милый, ты ошибаешься, я не был совсем!

— Как не был? Ведь я видел!.. Вы-то меня не могли видеть (Сережа понял это как намек, что Толпыго был переодет), а я все видел. Еще у тебя это же пальто поношенное было, вот именно в этом пальто ты и был!.. Ишь ты, представляется «братом»,—а там шоколад через соломинки тянул!..

Толпыго, конечно, ошибался. Может быть, он не только за Сережу, но и за Черткова принял другое лицо. Но, во всяком случае, Сережа никак не мог быть в кондитерской и тянуть шоколад через соломинки...

При допросе Демидов особенно добивался узнать от Сережи, кто переписывал ему воззвание на ремингтоне.

— Ведь мы знаем, что это—дело Черткова! Он тебе друг,—дело ясное!..

Тульские власти всегда точили зуб на Черткова. Но на их несчастье Чертков, как сын генерал-ад'ютанта и одной из любимых фрейлин вдовствующей императрицы, был слишком силен своими связями в мире сильных и властных, чтобы можно было проглотить его просто и безнаказанно. Тем не менее постоянное подыскивание более серьезных поводов к изобличению антигосударственного и вообще «вредного» влияния дома Чертковых на окружающее сельское население составляло специальное занятие для врагов В. Г. Черткова из среды тульских правительственных чиновников и соседних помещиков-дворян. Хороший куш вручил бы Сережа в руки жандармов, если бы он только мог подтвердить их предположение о том, что воззвание переписывалось у Черткова! Но такого подтверждения не последовало.

Жандармы пробовали действовать не угрозами, а лестью.

— Вот ты уверяешь, будто всегда говоришь правду?—говорил Сереже Демидов.—Отчего же теперь, если ты наш брат, ты не хочешь нам сказать правду: кто тебе переписал это воззвание?

— Да, да!—вторили Демидову и другие полицейские:—все—о правде, да о правде, а вот ведь не хочешь нам, братьям, сказать!..

При этом пристав, который толкал Сережу в спину, добавил с своей стороны:

— Вот у тебя правда-то и неполная!..

Но Сережа все молчал.

Допросив Сережу, Демидов приказал обыскать его и для этого раздеть донага. Сережу раздели, обыскали, но ничего, конечно, не нашли, потому что и те немногие вещи, какие Сережа имел при себе, были уже у него отобраны при первом обыске.

Затем Сережа снова облачился в свой ветхий костюм. Когда он надевал свою самотканную рубаху из конопляных веревочек, Демидов, не сводивший с него насмешливого взгляда, не удержался и заметил:

— Прямо стыдно с ним! Нищий!.. Стыдно с такого и допрос снимать!.. Надо хоть эту рубаху снять с него. Послушай, ты говоришь, что тебе ничего не нужно,—подари-ка мне эту рубаху!

Пред'явив это наглое требование, Демидов не стал даже ожидать ответа Сережи и приказал уряднику:

— Сними с него эту рубаху!

Сережа запротестовал,—с тою кротостью, на какую, конечно, только он один был способен:

— Зачем же, милый, брат? Ты ведь одет тепло, хорошо,—зачем же тебе рубашку?

— Ну, ну, снимай с него!—повторил Демидов свое приказание уряднику.—Нищий!.. Прямо стыдно в тюрьму-то посылать!..

Бравый подполковник, очевидно, ехал арестовывать на завод важного и интересного «политика», — и на кого же он напал?! На какого-то бродягу, нищего, почти юродивого, со странным набором слов, среди которых через каждые две секунды повторялось: «Бог», «брат», «любовь» и т. д. Надо полагать, что профессиональное чувство жандарма было оскорблено.

Между тем урядник, исполняя приказание начальства, принялся стаскивать с Сережи рубашку.

— Зачем же? Мне теплее в ней!—говорил Сережа.

И, действительно, не говоря уже о том, что Сережа имел полное право при всяких обстоятельствах отстаивать свою одежду, какая бы она ни была, от посягательств на нее со стороны узаконенных разбойников—для него вопрос о сохранении рубашки имел насущную важность, так как на дворе стояла холодная осенняя пора. Но Демидов не обращал никакого внимания на нежелание арестованного расстаться с рубашкой.

— Ну, снимай! — говорил Демидов. — Тебе ведь ничего не

нужно, а вот теперь я узнал, что тебе нужно: тебе только одно тепло нужно!..

— Спрячь! — приказал Демидов уряднику, когда рубашка была снята *).

Затем власти стали собираться в дорогу.

— Ну, марш!—скомандовал Демидов Сереже. — Марш в тюрьму!

Он усмехнулся и, не без тяжеловесной жандармской игривости, добавил:

— Вот я, твой брат, отправляю тебя в тюрьму!

— Марш!—прокричал также полицейский, который колотил Сережу в спину.

И он вновь с такой силой толкнул Сережу кулаком вперед, что тот едва удержался на ногах, сбегая с крыльца.

На дворе Сережу передали в распоряжение двух верховых конвойных.

— Покажите ему, как нельзя воевать!—сказал при этом кто-то из начальства, обращаясь к конвойным.

Окончив свое дело, господа сели в сани и покатили в Хмелевое, а бедного, полураздетого Сережу двое верховых погнали между своих лошадей, пешком, обратно по шоссе в Тулу.

Сначала конвойные, подгоняя Сережу ударами плеток, заставили его бежать почти бегом, потом умерили ход своих лошадей.

— Ишь какой выискался!—начали они разговаривать.— Нельзя воевать! Как, нельзя воевать?!. Не нами началась война: немцы на нас пошли!..

— Кто бы на меня ни шел, братья, а если я верю в Бога и Его закон любви, то мне надо всё отдать, а не враждовать. Вот слова Христа: любите врагов ваших, благословляйте...

Но конвойные, не слушая Сережу, замахивались на него плетками.

— Братцы... зачем же? Ведь в вас дух Божий... и во мне дух Божий... Ведь это великий грех, что вы брата своего гоните... Подумайте об этом!..

Но на конвойных, казалось, не действовали слова Сережи. Они снова замахивались на своего пленника плетками и при этом переговаривались между собой:

— Давай, прикончим его! Вот сейчас прикончим!..

---

*) Рубашку эту возвратили Сереже только тогда, когда, недели через две, повели его из тюрьмы для снятия фотографии в сыскное отделение. Так как всех арестованных снимают в том костюме, в каком они первоначально были задержаны, то и на Сережу снова надели его рубашку, после чего уже не отнимали ее. Сидя в тюрьме и скучая из-за отсутствия физической работы, Сережа снова распплел рубашку на отдельные веревочки и сплетая тонкие веревочки в более толстые, связал затем из них несколько пар лаптей, которые и износил частью сам, а частью роздал арестантам.

— Милые! что вы говорите? Что делаете?.. Ведь в вас дух Божий!..

Так, в этих угрозах со стороны конвойных и в ответных мольбах Сережи прошла некоторая часть пути. Потом конвойные сделались тише, спокойнее. Стали даже задавать Сереже вопросы: как дело-то было? Сережа, по его словам, рассказал конвойным всю свою жизнь. И к тюрьме конвойные подвели Сережу уже с умягченными, добрыми душами.

— Да, да, правда, всё правда!—говорили они.—Ведь мы думали—бунтовщик, шпион, а вот мы кого гоним!.. Ведь вот как нам говорят! А ты-то думаешь: хорошее дело делаешь—шпиона поймал!..

Передав Сережу тюремному начальству и расставаясь с ним, конвойные *с жалостью* на него глядели, а Сережа с обоими с ними расцеловался...

Теперь Сережа поступал в распоряжение новых мучителей.

— Что ж ты шапку не снимаешь? — крикнул ему тут же, в конторе, один из писарей.—Вон ведь Бог висит!

— Что ты, милый! Разве может Бог висеть в углу? Бог—высшая сила, без которой ничего бы не было, которая дает жизнь всему.

Писарь задумался. Посидел и пробормотал:

— Так, так... Какой же ты веры?

— Верю в то, что я — сын Божий, что все люди—мои братья и поэтому мне свойственно любить всех.

Кто-то другой из служащих канцелярии заметил:

— Знаем таких! Не впервой!..

Затем Сережу отвели в одиночную камеру 8-го Политического отделения тюрьмы.

На другой день подп. Демидов явился в тюрьму для нового, более тщательного допроса С. Попова. Записав подробно все данные о рождении, образовании, прежней судимости арестованного и т. д., Демидов перешел к существу дела и снова стал усиленно добиваться от Сережи, чтобы он открыл: кто именно переписал ему воззвание на ремингтоне? Сережа продолжал отмалчиваться.

— Скажи *по-братски, по правде!*—приставал к Сереже вдруг поверивший в братство и полюбивший правду жандарм.

«Похоже было и на искреннее, вот так»,—прибавил сам Сережа, передавая мне после слова Демидова.

В простодушии своем, он готов был поверить Демидову.

— Твое дело кончено, — говорил Демидов, — ты теперь в тюрьме. Ну, скажи, кто тебе переписал? Где? У Чертковых? Ведь мы же знаем, у кого!

Сережа долго крепился и, наконец, сказал:

— Дай мне, милый брат, слово перед Богом, перед совестью,

что если я скажу, то ты не сделаешь ничего дурного тому, кто переписал?

«Может быть, и правда, ничего не будет»,—думал при этом Сережа.

— Даю слово, что ничего дурного не сделаю!—сказал Демидов.

Голос у жандарма был уверенный, но только глаза его, как это не ускользнуло от внимания даже ненаблюдательного Сережи Попова, бегали в разные стороны...

«Но это, может быть, от нервности»,—пояснил мне, рассказывая, Сережа.

Получив слово, святой простец сказал жандарму:

— От Булыгиных мы пришли в Ясную Поляну и там просили переписать брата Валентина Булгакова.

— Ну, вот спасибо!—воскликнул обрадованный Демидов.—Мне нужно было только знать, кто переписал!..

Он быстро собрал свои бумаги и распрощался с Сережей. Допрос был окончен.

В этот же день вечером, прихватив нескольких сподручных, Демидов полетел в Ясную Поляну.

Любопытно, что через несколько дней после того, как я был арестован и заключен в тюрьжу, Сережа Попов на одном из допросов снова встретился с Демидовым.

— Ну, Сергей,—сказал ему, между прочим, Демидов,—ты, наверное, сердишься на меня: ведь вот я Булгакова-то арестовал!..

— Нет, я не сержусь,—ответил Сережа.—Но не хорошо, что ты не сдержал слова. Ведь ты давал слово, что не сделаешь ничего дурного Булгакову.

— Что-ж, я и не сделал ничего дурного!—воскликнул подполковник.—Пусть посидит в тюрьме, подумает...

Что мог ответить на эти слова Сережа?! Вероятно, ему тяжело было видеть, до какой степени нравственного падения может опускаться человек.

ГЛАВА II.

АРЕСТ ХОРОША И ПУЛЬНЕРА НА ХУТОРЕ СОЛОМАХИНА.

Лев Пульнер, простившись 24 октября в Ясной Поляне со мной и с своими товарищами по воззванию—С. Поповым и В. Беспаловым, отправился домой, в с. Хмелевое. Он встретился там с М. Хорошем, который, продолжая ожидать, пока из Москвы придет ответ о том, ехать-ли ему на службу братом милосердия в лазарет Вегетарианского Общества, вот уже целую неделю гостил у владельца хутора в Хмелевом С. М. Соломахина,

при чем, по просьбе последнего, занимался обучением двух его малолетних детей.

Пульнер принес на хутор целую кучу важных новостей: об аресте Рафы Буткевича, о воззвании Ю. Мута, о составлении С. Поповым воззвания «Милые братья и сестры» и о том, что Сережа с Васей Беспаловым отправились развешивать это воззвание в Тулу. Пульнер имел при себе и самый текст подписанного им совместно с Поповым и Беспаловым воззвания. Конечно, он познакомил с этим текстом своих друзей.

Все это до некоторой степени взволновало обитателей хутора. Так как на воззвании «Милые братья и сестры» указан был адрес «дер. Хмелевое, в 10 верстах от г. Тулы», то казалось ясным, что в самом непродолжительном времени следовало ожидать прибытия на хутор властей, с допросом, обыском и т. д. Решено было к этому моменту «подготовиться», а именно—заблаговременно попрятать всё то, с чем представлялось излишним ознакомлять жандармерию и полицейских.

Ах, хмелевским «толстовцам» можно было с успехом не принимать этого благого решения, потому что все равно оно осталось... только на словах! На деле не предпринято было ровно ничего, и приехавший на другой день Демидов собрал обильную жатву, которой не сеял.

Наш следователь явился в Хмелевое непосредственно после допроса С. Попова в квартире заводского урядника близ дер. Михалково. С ним была та же компания полицейских, только число конных городовых убавилось на двоих.

Приехавших встретила на кухне жена Соломахина. Самого хозяина не было дома: он уехал по делам в Тулу.

Задавши ряд вопросов о Попове, Пульнере и Беспалове, власти выразили желание обойти весь дом,—и в одной из комнат совершенно неожиданно для себя наткнулись на Хороша, не успевшего или не пожелавшего спрятаться.

— Кто? Откуда? Почему здесь живет? Если еврей, то имеет-ли право жительства в Тульской губернии?—посыпались на молодого человека вопросы со стороны Демидова.

Хорош отвечал.

— Где ваша комната?

Молодой человек показал. Комнату осмотрели.

— Знаете Попова, Пульнера?

— Да, знаю.

— Знаете ли про составленное ими воззвание?

Хорош молчит.

— Почему вы молчите?

— Потому что не могу отвечать на этот вопрос.

— Почему же?!

— Ведь это-ж мое право!

— Ах ты, жидовская морда!—закричал, разозлившись,

Демидов и прибавил еще что-то про Вильгельма,—вероятно, употребил ругательство наиболее приличествовавшее, с его точки зрения, для патриотически настроенного русского человека при тогдашних обстоятельствах.

Хорош,—добродушный, но крепкий характером мальчик,—не только не растерялся после возгласа Демидова, но, наоборот, весь встрепенулся и воспрянул, как от хороших шпор.

— Я теперь совсем не буду отвечать вам ни на один вопрос!—воскликнул он, обращаясь к Демидову.—Вы будете говорить стене!

Демидов пробормотал какую-то новую угрозу по адресу Хороша и распорядился обыскать его.

Стражники кинулись к Хорошу, обыскали его, но при нем самом ничего не нашли. Стали обыскивать комнату, и... Хорош,—как выразились бы воры, с которыми мы после вели знакомство в тюрьме,—«засыпался».

Еще когда он увидел в окно под'езжающие сани, окруженные всадниками, он наскоро полез в корзину с своими вещами, вынул оттуда штук шесть переписанных им у Чертковых на ремингтоне воззваний «Опомнитесь люди-братья» и сжег их в только-что вытопившейся печи. А одно такое же воззвание завалилось и застряло в белье, чего Хорош не приметил. Вот это-то воззвание стражники и вытащили из корзины.

Демидов с поспешностью схватил бумажку и быстро пробежал ее глазами. Ага!—он еще таких не видал.

Читает подписи...—М. Хорош!

— Это не ваша фамилия? (Ему при встрече, Хорош назвал себя другим своим именем: Харас.)

— Да, моя.

Последовал новый ряд вопросов—теперь уже о воззвании «Опомнитесь, люди-братья». Хорош, выдерживая свое слово, отказался отвечать на все эти вопросы.

Между тем обыск продолжался. Из бокового кармана висевшей на стене куртки Хороша были извлечены: фотографии разных «толстовцев», их письма, адреса, обращение некоего Радынского о создании детских трудовых колоний, коротенькое письмо Якова Чаги по поводу этого обращения (принятое после властями за отклик на воззвание «Опомнитесь, люди-братья») и еще много всяких бумаг и бумажек...

Стражники полезли в другой карман той же куртки, — дело оказалось еще серьезнее: там находился *оригинал* воззвания «Милые братья и сестры», полученный Хорошем от Пульнера.

Демидов так и просиял, увидев этот документ.

— Ха! И это у вас есть!—воскликнул он.

Бедный Хорош! Что при этом он должен был чувствовать! Без сомнения, «провал» удручал его не столько за себя, сколько за других, которых он невольно впутывал в дело.

Демидов возобновляет допрос относительно воззвания С. Попова. Хорош снова отказывается отвечать. Тогда Демидов принимается за составление протокола.

Хорош стоит около и наблюдает за движением руки Демидова,—что ему больше оставалось делать?!

Но вот он замечает, что Демидов, искажая факты, дополняет недостаток показаний собственными измышлениями.

— Зачем же вы не так записываете, как я вам отвечал?!—восклицает Хорош.

— Э-э-э!.. Пожалуйста! Не учите!—говорит Демидов, отстраняя Хороша жестом руки и продолжая писать дальше.

Впрочем, подполковник постепенно становился все учтивее и учтивее с Хорошем. Стоило ему только раз обжечь пальцы, и он уже подобрал руки. На той высоте незлобия и всепрощения, на какой стоял Сережа Попов, позволявший Демидову безнаказанно оскорблять себя, не все могут удерживаться.

Кончив писать, Демидов обратился к Хорошу:

— Ну, пойдем теперь в землянку! Вы мне покажете, где землянка Попова?

Хорош сначала не хотел показывать, зная, что в землянке полицейские найдут свою новую жертву—Пульнера. Но потом ему пришло в голову, что, наверное, жена Соломахина уже предупредила Пульнера о прибытии полицейских (ничего подобного не было сделано!), и он повел Демидова в землянку.

Приходят. Распахивают дверь—и что же видят?

Землянка полна детей: человек 15 или 20 деревенских ребятишек окружили Леву Пульнера, который, с Евангелием в руках, сидит посреди них и простыми, нехитрыми словами об'ясняет детям божественные глаголы.

У Хороша слезы выступили на глазах, когда он увидел эту мирную картину и подумал о том, как грубо она сейчас будет нарушена...

Когда Пульнер услыхал шум распахнувшейся двери и повернул голову ко входу в землянку,—вид множества вооруженных с ног до головы полицейских так поразил его, что он точно окаменел на своем месте: продолжая держать Евангелие в руках, он неподвижным, остановившимся взглядом уставился сквозь очки на вошедших и в такой позе оставался в течение нескольких долгих томительных мгновений.

Но вот он медленно приподнялся с своего места. Хорош видел, как побледнело и изменилось его лицо.

— Ну, что-ж, Лева,—сказал он:—теперь надо побольше бодрости! Не падай духом!

Демидов тотчас обратился к Хорошу и заявил ему, что он не имеет права разговаривать с Пульнером.

Между тем детишки, присутствовавшие в землянке, испуганно жались по углам и со страхом глядели на все, происхо-

дившее перед их глазами, Демидов понял, должно быть, что в их присутствии допрос немыслим, и решил освободить от них землянку. Но сначала и этим созданьям Божьим учинен был как бы допрос.

— Зачем вы здесь? Что вы здесь делаете?

— Мы катаемся здесь на катке, на пруду, а когда замерзнем, так приходим сюда погреться. А дядя Лева с нами молитвы поет и читает нам книжки хорошие.

— Книжки! Какие книжки?

— Евангелие.

Сорвалось! Показанием детей не удастся воспользоваться. Евангелие пока еще (или вернее: уже) не числится в списке «запрещенной» литературы.

Но какова вся обстановка только что начавшего раскрываться дела! И из этой-то обстановки тульские власти ухитрились создать... государственную измену!

Детей оставили в покое и они, смущенные, расстроенные, один за другим покинули землянку, пока в ней не осталось никого, кроме ватаги безумствовавших взрослых, так далеко ушедших от указанного Христом идеала «малых сих», да жертв этой ватаги.

Приступая к допросу Пульнера, Демидов задал ему вопрос о воззвании С. Попова. Пульнер ничего не отвечал и молчал: молчал долго и тупо. Демидов повторил свой вопрос. Пульнер,— видимо, сильно потрясенный внезапным нашествием полиции,— продолжал молчать.

Наконец, Хорошу стало непереносно это молчание. Он не выдержал и, вопреки запрещению Демидова, обратился к Пульнеру:

— Ты можешь не отвечать, это—твое право!..

Нечего и говорить, что Демидов снова резко оборвал Хороша и в еще более категорической форме запретил ему вступать в какие бы то ни было переговоры с Пульнером.

Но вот Пульнер точно очнулся. Он дал ряд ответов на различные вопросы Демидова, а затем вдруг снова замолчал и при этом заявил, что больше отвечать не желает.

О, эти допросы! Как гладко и непринужденно льются показания подследственных в протоколах, записанных бойкою рукою следователя,—и сколько пытки (разного рода для той и для другой стороны) выдерживают в действительности как допрашивамый, так и допрашивающий прежде чем на бумаге получаются соответствующие результаты!..

Приступили к обыску помещения. Пол землянки устлан был соломой. Обыскивающие штыками ружей прокалывали и приподнимали солому. В одном уголке сложены были дрова,— заглянули и за дрова. Нигде ничего не находилось.

Надо было видеть эти иронические улыбки, змеившиеся

по лицам жарндармов и полицейских во время обыска: так поражала их примитивная обстановка землянки!

Демидов хотел приняться за составление протокола; между тем стол в землянке отсутствовал и писать было не на чем. Отсутствовали и стулья. Всю мебель в Сережиной землянке составляла одна койка, сколоченная из досок и покрытая соломой.

Отправились для писанья протокола в дом Соломахиных.

По дороге Хорош потихоньку утешал Пульнера, видимо впавшего в состояние глубокого уныния,—пока Демидов не заметил их перешептывания и снова не приказал Хорошу перестать обращаться к Пульнеру.

— Если вы будете разговаривать,—сказал Демидов,—то я вас совсем разведу!

Пока Демидов занят был составлением протокола, Хорош, с его позволения, пошел на кухню, чтобы поужинать. Кроме жены и детей Соломахиных, на кухне находились также два или три стражника из числа приехавших с Демидовым.

— Садитесь, поужинайте!—обратился и к ним Хорош.

Стражникам, видимо, очень хотелось есть, но они боялись, как бы начальство не застало их за столом, поэтому они украдкой, не садясь, подходили к столу и ели...

Хорош и Пульнер наскоро перекусили и собрали кое-какие вещи для тюрьмы, после чего простились с Соломахиными и вышли, вслед за жандармами и полицейскими, на крыльцо.

Один из полицейских, которого Хорош считал за исправника, скомандовал стражникам:

— Зарядить ружья! При малейшей попытке к бегству—стрелять!

Услыхав о таких приготовлениях к его и Пульнера побегу, Хорош невольно усмехнулся.

— Ну, ты чего еще усмехаешься?!—крикнул исправник.—Посмеешься там!..

Начальство расселось по саням и ждало только, пока построится и двинется из ворот конвой с арестованными. Порядок следования арестованных был такой: впереди—один верховой конвойный, затем—Хорош и Пульнер, пешком, с котомками за плечами и, наконец, еще двое верховых конвойных. Демидов и другие полицейские сначала потихоньку ехали в конце процессии...

Когда тронулись со двора, уже совсем стемнело.

Только что выехали из ворот—чьи-то сани попались навстречу. Хорош догадался, что это был возвращавшийся из Тулы Соломахин и, когда сани поровнялись с ним, имел неосторожность окликнуть Соломахина.

— Прощай, Сёма!—крикнул и Пульнер.

Этого было достаточно. Демидов тотчас закричал из

своих саней, чтобы Соломахин поворотил лошадь и следовал бы за ним, обратно по дороге на Тулу...

Тут все сани, обгоняя арестованных с конвоем, проехали мимо них и скрылись в темноте.

— Не унывай!—успел прокричать в догонку Соломахину Хорош...

Конвойные, как только начальство от'ехало, стали просто и свободно разговаривать с своими пешими спутниками. Сначала все спрашивали, еврей Хорош или не еврей, и никак не могли поверить, что еврей: круглолицый, румяный и черноглазый Хорош, действительно, похож больше на молодого парубка из хохлацкой деревни, чем на еврея. За то у конвойных не было никаких оснований сомневаться в еврейском происхождении Пульнера.

— Вот это уже еврей так еврей!—добродушно говорили они про Лёву Пульнера.

— А как тебя звать-то?—спросил один из конвойных у Хороша.

— Мотей.

— Эх, Мотя, славный ты парень, да уж больно жалко мне тебя!

— Чего же жалко-то? Напрасно ты меня жалеешь. Тебе бы, наоборот, радоваться надо, что есть люди, которые стоят за Божий закон!

— Ну, как же не жалеть-то?!. Ведь вот запрут тебя теперь в тюрьму, что-ж? Сгниешь там... Хорошего мало!

— Тюрьма что-ж?... Лишь бы хорошо жить. В тюрьме — тоже жизнь. Тюрьма не страшна, если живешь по совести. Жизнь в миру была бы ужаснее, если бы я жил не по совести и совесть бы меня укоряла: вот, например, если бы я в душе был против убийства, а сам пошел бы убивать людей...

Конвойный снова отвечал и, в конце концов, между конвойными и Хорошем завязалась продолжительная и интересная беседа: о цели воззвания, о нравственной недопустимости всякого убийства и насилия, а, значит, и войны, о назначении христианской жизни вообще и т. д.

Беседа настолько захватила конвойных, что они даже послезали с лошадей и пошли пешком рядом с арестованными, ведя за собой лошадей в поводу.

— Эх, дал бы я тебе лошадь — и покатил бы ты! — шутя, воскликнул, между прочим, один из конвойных, обращаясь к Хорошу.

Сойдясь очень быстро с Хорошем, конвойные не успели стать на такую же дружескую ногу с Пульнером. Он останавливал их внимание только своей ярко выраженной семитической наружностью да напуганным, растерянным видом, и они подсмеивались над бедным малым.

Лева Пульнер, в самом деле, сильно растерялся. Наивный ребенок в представлениях о практической жизни, никуда почти до сих пор не выглядывавший за пределы родного «местечка», отвлеченный мечтатель по природе, он вообразил себе и самую тюрьму даже не тем, что она есть, а каким-то сплошным адом кромешным, и ужасно испугался этого ада. Ему представлялось, например, что по прибытии в тюрьму его непременно будут во время допроса бить нагайками!.. Хорош должен был разубеждать и ободрять Леву по дороге.

— Боюсь, как бы мне с этим случаем не потерять веры,— говорил Лева.—Я чувствую теперь, как я еще не готов к такой жизни! И боюсь, как бы мне не начать жить прежней жизнью...

— Надо быть всегда готовыми к таким положениям, как то, в которое мы теперь поставлены!—наставительно замечал Хорош.

Мало-по-малу Пульнер успокоился. Особенно ободряюще подействовали на него неожиданно развернувшиеся добрые отношения с конвойными.

Путешествие арестованных продолжалось до глубокой ночи. Весь переход, в 10 верст, занял часа четыре. Шли медленно: у Пульнера болела нога, он прихрамывал и часто жаловался на боль, мешавшую ему итти.

Приближаясь к городу, конвойные снова сели на лошадей и стали немного сдержаннее в разговоре.

Тем не менее они нарочно остановились, чтобы Хорош мог, по их же совету, снять сапог и запрятать в него деньги (у него было рублей шесть).

— Деньга́ тебе понадобится!—говорили конвойные.

Не доезжая до тюрьмы, эти милые русские люди заранее, пока никто не видит и не слышит, дружески попрощались с обоими конвоируемыми и пожелали им всего хорошего...

Около 12 часов ночи путники достигли ворот тюрьмы. Надавили у под'езда «конторы» пуговку электрического звонка.

Вышел дежурный помощник начальника тюрьмы. Старший из конвойных подал ему бумагу. Тот прочел.

— Не могу принять! Поздно!..

Он оглядел арестованных с ног до головы.

Кто вы такие?

— Люди,—ответил Хорош.

Дежурный помощник иронически улыбнулся и обратился с вопросом об арестованных к конвойным. Когда выяснилось, что вновь прибывшие—«толстовцы» и что они арестованы по одному и тому же делу с Сергеем Поповым, вчера только заключенным в тюрьму,—то помощник начальника тюрьмы воскликнул:

— Ха! На кой ляд ты их притащил? Пристрелил бы где-нибудь по дороге!..

Затем он категорически подтвердил свой отказ, за поздним временем, принять арестованных в тюрьму.

Конвойные потащили молодых людей в участок.

Начальственную шутку Лева Пульнер принял за самую настоящую угрозу.

— Он шутит!—об'яснял Пульнеру Хорош.—Ну, конечно, если *этот* будет распоряжаться нами в тюрьме, так не сладко нам будет: уж он нас едва ли полюбит!..

В участке все спали. Какой-то звероподобного вида стражник обыскал прибывших. Отобрал у них котóмки, ремни, пояски, а у Хороша—и спрятанные им в сапог деньги, после чего втолкнул обоих в вонючий темный каземат и запер за ними дверь.

Друзья оказались в маленькой каморке, аршина в два шириной и аршина в три-четыре длиной. Освоившись с темнотой, они заметили нары и услыхали храп спящих на них людей. Было сыро и душно. Воняло из параши.

Надо было укладываться. Сняли куртки, подложили их под головы и расположились прямо на загаженном полу.

Столько было пережито за день, что не могли заснуть сразу и долго разговаривали между собой...

Утром, чуть свет забрезжил в окне, в камере поднялся шум. Просыпались обитатели нар.

— Ой, смотри, новички у нас!—послышались голоса.

Стали подниматься. Поднялись и Хорош с Пульнером. Всего в камере, кроме них, оказалось еще человек семь.

Появился чай, которым радушно угостили вновь прибывших.

Отпросившись вместе с Левой подышать свежим воздухом вне камеры, Хорош на дворе разговаривал с городовыми. Потом, в сопровождении приятеля, вошел в их помещение и присел там на одну из кроватей.

Городовых было человека четыре. Они распрашивали Хороша о его деле и спорили с ним, доказывая, что он «чепуху натворил», и отстаивая взгляды, так сказать, революционные, противоположные толстовскому «непротивлению».

В середине разговора в комнату внезапно вошел участковый пристав. Городовые повскакали с мест и вытянулись. Пульнер повернулся и пошел к себе, а Хорош остался на месте.

— Это что такое?! Как вы смели открыть камеру и разговаривать с арестованными?!—закричал на городовых пристав.

— Виноваты, ваше благородие!

— Сейчас же запереть их обратно! Это—Вильгельмовы шпионы!

Хорош позволил себе усмехнуться на такую аттестацию.

— Ты что, жидовская морда, смеяться?! Д-да я тебе сейчас!!.

Пристав с угрожающим видом пододвинулся к Хорошу, но

тот продолжал улыбаться и этим злил пристава еще больше. Неистовая площадная ругань раздалась в комнате.

— Не надеть-ли им наручники, ваше благородие?—заискивающим тоном обратился к приставу один из стражников, видимо, желая подслужиться к начальству и тем загладить свою вину.

— Надеть!—буркнул в ответ пристав и, довольный столь удачным разрешением столкновения, вышел из комнаты.

Леву и Мотю сцепляют и в этом виде через некоторое время ведут в тюрьму.

Там они встречают Сережу Попова.

ГЛАВА III.

ЖАНДАРМЫ В ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ: ПЕРВЫЙ ВИЗИТ ПОДПОЛ. ДЕМИДОВА.

В первых числах ноября 1914 г. в газетах «Русские Ведомости» и «Новое Время» появилось следующее письмо вдовы Л. Н. Толстого гр. С. А. Толстой, с описанием внезапного ночного посещения яснополянского дома тульской полицией:

«Полночь. Все спят. Весь дом затих от детских голосов и волнующих весь мир разговоров о всенародном бедствии. Сижу одна, дописывая масляными красками этюд с флигеля. Вдруг слышу страшный грохот по замерзшей земле, топот лошадей и звонок *). Бужу человека, предупреждая, чтобы закинул дверную цепь и не впускал никого, не зная, кто эти люди.

Мое 70-летнее сердце начинает страшно биться, думаю о смерти. «Полиция!»—извещает меня мой человек. «Что такое, за что?»—подумала я, всю жизнь проживши без всякой пропаганды, без вины перед правительством и обществом, ненавидя революцию и всякий безумный протест.

Спрашиваю одного из блюстителей порядка, что им нужно. «В. Ф. Б. у вас?» «У меня, он живет уже давно и занят описыванием и приведением в порядок Яснополянской библиотеки». «Нам нужно снять с него допрос». «Он спит, и почему же надо для этого беспокоить ночью меня и весь дом?»

Никаких прокламаций и вредных книг или листков я в своем доме не допустила бы, что давно всем известно; а то, что Б., как и все в мире, считает войну бичем человечества—в этом преступления нет. Разница в том, что мы, люди пожилые, понимаем всю неизбежность войны и, плача о своих детях, все-таки посылаем их защищать отчизну; молодые же,

---

*) Это было в ночь с 26-го на 27-е октября.

глядя на страдания ближних, воображают, что десятком своих протестующих листков они остановят всемирное бедствие и потушат под'ем народного духа.

После допроса полицейские выходят в переднюю, снимая с вешалки свои шубы. Вешалку при этом перевешивают, задевают на стене горящую лампу, которая разбивается в мелкие куски, керосин разливается по полу, образуя огромное пламя. Полиция теряется, но Б. кричит человеку, чтобы он набросил на пламя шубы. Человек накидывает их на всё увеличивающееся пламя, которое вспыхивает вторично после снятия шуб. К счастью, керосина в лампе было уже немного, иначе блюстители порядка сожгли бы Яснополянский дом со всеми сокровищами, портретами, библиотекой и вещами, принадлежавшими графу Льву Николаевичу Толстому и его семье.

Избави Бог от таких нашествий в мирный, порядочный дом, к беззащитной 70-летней вдове Льва Толстого.

Граф. София Толстая».

Ярко написанное письмо, очевидно, обратило на себя внимание читателей и произвело известное впечатление. Маститый К. К. Арсеньев отозвался даже на него специальной статьей в «Русских Ведомостях» (8 ноября 1914 г.), под названием «Безмолвие закона». Напомнив, что существуют статьи 363 и 392 Уст. Угол. Судопр., по которым как привод обвиняемого, так и обыск производятся днем и только в случае необходимости могут быть произведены ночью, К. К. Арсеньев с осуждением отнесся к «полунощному посещению Ясной Поляны, освященной памятью великого писателя и обитаемой его престарелой вдовой». Тем не менее заключение статьи было не в пользу автора «протестующих листков». Не ушедший от всеобщего увлечения войны, старый публицист писал: «Настроение, охватившее всю Россию, не таково, чтобы его могла изменить какая бы то ни было пасифистская проповедь. Раздавшись громко и открыто, она привела бы совсем не к тому результату, какой мог иметь в виду автор; она обнаружила бы с еще большею ясностью, что не время осуждать войну, когда она ведется против неисправимых врагов истинного мира»...

Статья Арсеньева и письмо С. А. Толстой были первым откликом нашего дела в печати. О существовании протестующих против войны листков было, таким образом, доведено до сведения русского общества,—правда, в несочувственном тоне,—но и это было уже хорошо.

Мне остается только дополнить рассказ С. А. Толстой о происшестви в ночь на 27-е октября 1914 г. описанием самого допроса.

Я уже спал в своей комнате, как услыхал через стену, в передней, громкие голоса. Один из них принадлежал С. А. Тол-

стой, но другие, мужские голоса, были мне незнакомы. Я услыхал, как несколько раз произнесено было мое имя...

Мне не нужно было догадываться, в чем дело. Я понял, что явилась полиция и что песенка моя спета.

Рассылая из Ясной Поляны воззвания, я со дня на день ожидал ареста. В самом деле, так легко могло случиться, что где-нибудь по дороге заклеенное отцовской печатью письмо могло быть вскрыто, воззвание прочтено и преступник захвачен, по указанному им самим адресу. Исходя из этой постоянной возможности, я даже принимал некоторые меры предосторожности, а именно: ежедневно, ложась спать, уносил на ночь из своей комнаты все те бумаги, которые я не желал бы увидеть в руках жандармов, в том числе—копии воззвания и моей статьи о войне, переписку с друзьями по поводу воззвания, адресную книжку и проч. До известной степени был я подготовлен к обыску и сегодня.

Но—что за несчастная случайность! На столе моем красовался ремингтон, как живая улика против моей «преступной» деятельности по размножению и распространению воззваний. *Никогда* я не уносил ремингтона сверху в свою комнату и только вчера вечером, спеша написать одно деловое письмо, я взял машинку к себе, потому что в зале наверху были гости. Вид машины сразу стал мне постыл. Но что делать! В форточку выкинуть ее было нельзя! Другого выхода, как только через переднюю, комната не имела, если не считать еще двери на балкон, наглухо заколоченной на зиму...

Мало того, я вспомнил, что на моем столе остались с вечера письма М. С. Дудченко и И. Ф. Наживина по поводу воззвания. Это было уже совсем скверно, потому что такие письма являлись уликой не только против меня, но и против других...

Я выскочил из постели, наскоро зажег свечу, отыскал оба письма и, скомкав, сунул их в карман брюк: мне пришло в голову, что если станут обыскивать комнату, то меня самого могут и забыть обыскать, а между тем по дороге в Тулу я как-нибудь незаметно для провожатых выброшу письма из саней на снег...

Затем я быстро потушил свечу и снова лег в постель.

Скоро в дверь мою постучались, потом стали подталкивать ее: она довольно туго открывалась.

Демидов первый вошел за перегородку, где стояла моя кровать.

— Здравствуйте!

Легкий поклон с его стороны.

— Здравствуйте!—отвечал я ему из постели.—Что вам угодно?

Я в первый раз видел главного нашего преследователя. Немолодой, худой, высокий офицер, с светлыми усами, загибаю-

щимися в рот, как у Ницше, и с бритыми втянутыми щеками. Светлые глаза. Волосы на голове—с проседью. Китель хаки с аксельбантами и с подполковничьими погонами. Молодично позвякивающие шпоры, воспетые еще Некрасовым. Внешность вообще—довольно элегантная.

Из-за спины Демидова выглядывали: круглолицый, черноусый, румяный тульский исправник, с выражением крайнего любопытства, перемешенного с некоторым подобострастием, в выпученных глазах, и местный крапивенский пристав, из из мужичков, с широкой простодушной физиономией.

Бывший камердинер Льва Николаевича Илья Васильевич нес за вошедшими свечку.

— Вы—Валентин Федорович Булгаков?

— Да, я.

— Я должен допросить вас...

— Что же, мне лучше встать и одеться?

— Да уж... конечно... знаете, удобнее!—вмешался, ухмыляясь и пожимаясь, пристав.

Я отбросил одеяло и стал одеваться. Полицейские искоса поглядывали на меня.

Илья Васильевич снял абажур с стоявшей на столе лампы и дрожащими руками стал зажигать ее.

— Вам известен Сергей Попов?—обратился ко мне Демидов, когда я оделся.

— Не желаю вам отвечать на этот вопрос.

Мною заранее принято было твердое решение не отвечать жандармам на их вопросы. «Воззвание—дело наше,—рассуждал я,—и нам нечего вводить в курс этого дела жандармов»... К сожалению, я не выдержал в этот вечер своей позиции, по двум причинам: во-первых, по неопытности, а, во-вторых, потому, что ответом на некоторые вопросы (все равно раз'яснившиеся бы потом для жандармов) я предполагал отклонить Демидова от производства обыска в моей комнате.

— Мне уже известно, что 24-го числа у вас были Попов, Беспалов и Пульнер, при чем вы переписали для них на машинке воззвание, начинающееся словами: «Милые братья и сестры». Попов сам указал на вас, как на лицо, переписавшее ему воззвание.

Я не только ничего не знал об обстоятельствах допроса Попова, но и об его аресте. Известие, что Сережа назвал мое имя, кольнуло меня.

Я пожал плечами.

— В таком случае, я не стану этого отрицать,—сказал я.

— Значит, вы не отказываетесь подтвердить и то, что Пульнер с Беспаловым тоже были у вас? Они вам известны?

— О других людях не считаю нужным и удобным говорить.

— Не давали-ли вы Моисею Харасу, он же Хорош, проживавшему в Хмелевом, другого воззвания против войны, под назва-

нием: «Опомнитесь, люди-братья»? Это же обращение было найдено в другом месте, на юге...

Насчет юга Демидов солгал. Но, не подозревая этого в то время, я удивился осведомленности жандарма. «Наверное, в Полтаве обыскали Дудченко», подумал я.

Сеть, в которую я влезал, раскрылась еще пошире. Видя, что следователь «все сам знает», я подтвердил и то, что дал Хорошу воззвание. (По правде сказать, я даже и забыл совсем, так-ли и когда это было; но лучше было брать на себя).

Точно так же подтвердил я и то, что, переписав воззвание «Опомнитесь, люди-братья» на ремингтоне, принадлежавшем С. А. Толстой,—но без всякого ее ведома (подчеркнул я),—я рассылал это воззвание своим друзьям и единомышленникам для подписи.

— Имеются ли у вас еще воззвания?

— Да, по одному экземпляру того и другого воззвания.

— Я все равно должен произвести в вашем помещении обыск, но я прошу вас самих выдать мне эти воззвания.

— Не могу.

— Почему?

— Потому, что они спрятаны в другом месте, открывать которого я вам не желаю!..

— Вы ли составляли воззвание «Опомнитесь, люди-братья»?

— Не считаю нужным вам этого сообщать.. Да и зачем вам? Под воззванием стоит ряд подписей, в том числе и моя, значит, все подписавшие разделяют то, что в нем сказано.

— Да, но один составил, а другие были только сочувствующие... Это большая разница!..

— Ага! Ну, в таком случае я заявляю, что воззвание составил, действительно, я.

Это мне необходимо было сказать. Я боялся, что в противном случае Демидов станет искать других нитей, чтобы распутать клубок, а концы этих нитей в изобилии предоставлял ему экземпляр воззвания, отобранный у Хороша: руководствуясь подписями, Демидов начал бы допрашивать Маковицкого, Сергеенко, Молочникова и других, о чем в те первые минуты *начала расплаты* я и подумать не мог без ужаса!..

Признание мое в составлении воззвания, видимо, доставило следователю большое удовлетворение. Из-за перегородки, где мы разговаривали стоя на ногах, Демидов поспешил перейти в другую половину комнаты, представлявшую нечто в роде гостиной. Присев на стул за овальный преддиванный стол, он разложил перед собою портфель с бумагами, достал письменные принадлежности и приготовился писать.

Я, было взял лампу, чтобы перенести ее к нему на стол, но, вспомнив, с кем я имею дело, почувствовал брезгливость и остановился. Замешательство мое не ускользнуло от внимания исправ-

ника и пристава, опрометью кинувшихся ко мне с подобострастным предложением своих услуг... Я передал одному из них лампу, которая и была перенесена на стол к Демидову.

— Если вы хотите моего совета,—сказал я, между прочим, Демидову,—то вам нет смысла устраивать у меня обыск, потому что вы не найдете у меня никаких прокламаций, ни революционных брошюр, ничего подобного: я не революционер, и ничего этого у меня нет...

— А это противоправительственное воззвание вы не считаете преступным?

— Перед Богом я не считаю его преступным, а перед людьми, конечно, преступным, да.

Демидов приступил к составлению протокола. Он сидел, а я стоял. Мне предложили сесть, но я отказался.

— Скажите, сколько экземпляров вы написали Попову?

— Зачем вам это знать?

— Так...

— Ну, положим, не «так»!

—Нам это нужно знать для того,—не без нервности в голосе проговорил, видимо, несколько сконфуженный Демидов,—чтобы установить, совпадает-ли ваше число с тем, которое показал Попов.

— Ну, извольте: двадцать!.. Что же, совпадает?

Жандарм молчит.

В смысле всех этих моих показаний Демидов и составил протокол, который я подписал.

Затем подполковник поднялся и, сообщив, что дело мое направлено будет теперь дальше, галантно раскланялся. Исправник последовал его примеру. А пристав-мужичек сделал радушнейшее лицо, протянул мне руку и с самым доброжелательным видом потряс мою:

— Прощайте, Валентин Федорович!..

Я не верил своим глазам: неужели они не только отказываются от обыска, но даже и не арестуют меня?!

В дверях Демидов остаонвился. Неожиданно переменив тон, он жалобно заговорил о том, что графиня обидела его.

— Графиня высказала протензию, что я приехал ночью. Но ведь я только исполнял свой долг... Между тем, графиня в крайне резкой форме говорила со мной. И этого я, право, не понимаю... В чем же я виноват?.. Ведь я тоже ношу офицерские погоны, и мне было очень обидно выслушать от графини то, что я выслушал.. Графиня сказала, что она пошлет телеграмму с жалобой министру внутренних дел... Конечно, меня это... как человека служащего, не может не трогать... Но ведь я только исполнял свой долг!.. Я прошу вас передать мои извинения графине...

— Хорошо, я передам,—ответил я жандарму, становясь неожиданно в положение его покровителя.

— Пожалуйста, передайте... Ведь я исполнял только свой долг...

Напуганный угрозой Софьи Андреевны, Демидов долго еще лепетал передо мной свои оправдания и, наконец, вышел из комнаты.

О, это «благородство» человека, носящего офицерские погоны! Подумать только, какая разница в поведении—при допросе моем или Сережи Попова и Хороша!.. Там—наглость, рассчитанная на полную безнаказанность, здесь—корректность, питаемая трусостью.

Трусостью продиктовано было и решение Демидова не арестовывать меня в этот вечер. Он сам после, на одном из допросов, сообщил мне, что в ночь на 27-е октября он «не взял на себя» моего ареста, принимая во внимание «высокое положение» тех лиц, в доме которых я жил, и что ему понадобилось тогда испросить соответствующих инструкций у своего начальства.

Не буду описывать несчастного случая с опрокинутой жандармами в передней лампой,—в письме Софьи Андреевны об этом рассказано достаточно подробно.

Когда гости уехали, я с радостью убедился, что они оставили меня на свободе. «Очевидно, меня не будут трогать до суда»,— решил я.

Было уже поздно, но я все-таки решился побеспокоить Софью Андреевну и зайти к ней. Подойдя потихоньку к двери ее комнаты, я постучался.

— Кто там?

Я назвал себя.

— Войдите.

Софья Андреевна, в ночном капоте, сидела за своим письменным столом и писала. Я сообщил ей, что жандармы и полицейские уехали.

— Как вам не совестно, в моем доме, обманывая мое доверие, заниматься составлением прокламаций? — обратилась ко мне графиня.

— Софья Андреевна, во-первых, вы знали об этом воззвании.

— Понятия не имела!

— Вы забыли. Один раз вечером я читал вам и Татьяне Андреевне *) свою статью «О войне» и это воззвание. Вы даже сказали, что совершенно согласны с его содержанием...

— Разве?..

— Да.

Софья Андреевна, действительно, сказала это, выслушав воззвание «Опомнитесь, люди-братья». И в этом нет ничего удиви-

---

*) Кузминской, сестре С. А—ны.

тельного, потому что, при всей невыдержанности и неопределенности своего мировоззрения, вдова Льва Николаевича в вопросе о войне всегда присоединялась к тем, кто отвергая разумность и необходимость взаимного массового истребления людей, ужасался ему и считал его бессмысленным. Войну 1914 года Софья Андреевна, по ее собственным словам, переживала очень тяжело.

— А, во-вторых,—продолжал я,—мне кажется, что я имел право в пределах своей комнаты жить так, как я жил бы не только здесь, но и во всяком другом месте. Ведь если бы я был вашим недолгим гостем, дня на два—на три, то тогда я обязан был бы считаться со взглядами хозяев, но я живу здесь вот уже почти два года, как в постоянном месте жительства, и я не могу ограничивать себя в своих действиях... Наконец, если вам неприятно мое присутствие и вы не желаете, чтобы я оставался в доме, то я завтра же перееду на деревню...

— Да нет, зачем же...

Софья Андреевна не настаивала на своих обвинениях по моему адресу и перешла к оценке поведения жандармов и полицейских, которое возмущало ее до глубины души. Они приехали ночью, они напугали ее... Она думала, что это — грабители... Правда, за то уж и она хорошо их отчитала! Она заявила им, что они—хуже немцев!.. И она этого дела так не оставит. Она уже написала письмо товарищу министра внутренних дел, шефу жандармов В. Ф. Джунковскому, который бывал у них в Москве, в бытность свою московским губернатором, и вообще всегда хорошо к ним относился...

Тут Софья Андреевна взяла со стола только что исписанный ею изящный листок почтовой бумаги с ее французскими инициалами под графской коронкой и прочла мне свое послание к товарищу министра. Среди жалоб на действия тульских властей, я с благодарностью отметил в письме несколько строк в мою защиту..

Выполняя просьбу Демидова, я попробовал, было, заступиться за него, но Софья Андреевна и слышать ничего не хотела. Она желает, чтобы местные власти хоть на будущее время избавили ее от подобных вторжений в яснополянский дом!..

Мне все-таки совестно было, что я послужил поводом к причиненному этой старой женщине, вдове Льва Николаевича, беспокойству, и я, хоть с поздним раскаянием, но искренно просил простить меня. Софья Андреевна довольно кротко отнеслась к моей роли во всем случившемся, и я покинул ее комнату в уверенности, что наши добрые отношения не испортились.

В передней я встретился с Ильей Васильевичем. Перетревоженный старик все еще не спал. Мы поделились с ним впечатлениями от неожиданного посещения полицейских, чуть не закончившегося пожаром дома. Илья Васильевич показал мне обуглившееся пятно на полу. И, между прочим, сознался, что согрешил:

чтобы успокоиться во время моего допроса жандармским офицером, он попросил у остававшегося в передней урядника папиросочку и выкурил...

Наконец, все в доме затихло и я снова остался один в своей комнате. Тут я помолился и в молитве мне ясно стало, что если я поступком своим нарушил человеческие законы, то ничем не нарушил законов Бога—Отца моего. Успокоенный этим сознанием, я заснул до утра.

ГЛАВА IV.

ОБЫСК В ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ И МОЙ АРЕСТ.

Вечером 27 октября в Ясную Поляну приехал из Москвы старший сын Льва Николаевича С. Л. Толстой, пианист и композитор. Затеялась музыка, в которой принял участие и я, в качестве певца... Вечер пролетел безмятежно.

На утро, 28 октября, я разложил на столе в своей комнате все делопроизводство по антимилитаристической пропаганде и рассылке воззваний, собираясь поработать. Я имел основание не бояться больше налета властей: меня, очевидно, оставили до суда в покое. К тому же, я знал, что среди бела дня обысков не бывает.

Но прежде, чем окончательно засесть за работу, я решил немного прогуляться.

День был зимний, но мягкий и теплый. За ночь выпало много снегу. Я спустился по «прешпекту» к главному в'езду в усадьбу, миновал каменные башенки и, повернув налево, направился по дороге на Тулу и Засеку. Странное дело: будучи вполне убежден, что никто не может приехать за мною в Ясную Поляну днем, я все-таки испытывал тайное удовольствие от сознания, что меня не могут застать врасплох, ибо вся тульская дорога открыто вилась передо мной.

Ни одного следа от полозьев не было видно по свеже выпавшему пушистому снежку, покрывавшему дорогу. Тишина, безлюдье и белизна царили вокруг...

Никого не встретив, приятно уставший, с хорошими мыслями и чувствами на душе, потихоньку возвращался я домой.

Подхожу к дому и вижу: в сторонке, у высокой зеленой изгороди, привязана пара лошадей, запряженных в сани, а около саней прохаживается взад и вперед высокий, бравый жандарм, в солдатской шинели до пят и в сапогах со шпорами.

Огибаю угол террасы и подхожу к крыльцу: у входной двери стоит, переминаясь с ноги на ногу, яснополянский сельский староста Никита Фролков и с ним еще один местный мужичек.

Что-то не чисто...

— Уж это не ко мне ли?—спрашиваю я у Фролкова.

— Да, должно, что к вам!—отвечает староста со сконфуженным видом и улыбается, видимо, чувствуя сам, что улыбка его совсем не кстати.

— Какой же дорогой *они* приехали? Я сейчас ходил по тульской дороге и никого не встретил!

— А они со Щекина...

Иначе говоря, жандармы по железной дороге доехали от Тулы до ст. Щекино (в 7 вер. от Ясной Поляны) и только оттуда наняли лошадей в Ясную Поляну, при чем под'ехали к усадьбе со стороны противоположной той, в которую я ходил гулять. Вот оно что!

Вхожу в переднюю и вижу пристава и урядника в серых шинелях, стоящих в выжидательных позах около вешалки. Я кидаю взгляд на дверь в мою комнату: она плотно заперта. А там, за дверью, все мои рукописи, разложенные на столе! Вынести что-либо из комнаты не представлялось уже никакой возможности.

Меня так раздосадовала эта роковая неудача, что я даже не нашел в себе силы поклониться полицейским и сделал это только тогда, когда оба они отвесили мне довольно робкие и принужденные поклоны: казалось, они сами стыдились той рэли, которую играли.

— Вы одни здесь?

— Нет, с полковником!

— Где же он?

— Они наверху с графиней разговаривают.

Случайность—именно мое отсутствие из дома в момент приезда Демидова—спасла меня.

Не тратя слов на дальнейший разговор с полицейскими, я решительным шагом прошел мимо них, открыл дверь в свою комнату и тотчас захлопнул ее за собой. Если бы полицейские были подогадливее или посмелее, то они должны были бы немедленно последовать за мною, чтобы воспрепятствовать мне на всякий случай оставаться одному. Но они этого не сделали и я тотчас воспользовался выгодой своего положения. Быстро собрав со стола все бумаги (в том числе 10 экземпляров моей статьи «О войне», всю переписку о воззвании и пр.), я упаковал их в один сверток и сунул на нижнюю полку одной из половин двойного книжного шкафа № 22, вделанного в стену. Заперев затем шкаф на ключ, я вышел из комнаты и поднялся наверх.

Наверху, в библиотеке, Демидов спорил с Софьей Андреевной, требуя от нее выдачи ему на руки пишущей машины: «для производства экспертизы». Но не так-то легко было заставить графиню отказаться от принадлежащей ей вещи.

— С какой стати дам я везти свою машину в Тулу!—говорила она, — Чтобы мне ее там поломали!.. Заплатите сначала 200 рублей, тогда берите машину.

Не зная неуступчивого характера графини, Демидов долго доказывал ей, что она должна выдать ремингтон. Разумеется, он ничего не добился. Единственно, на что согласилась графиня,— это дать образец шрифта машины.

«Сим заявляю,—писала Софья Андреевна, по просьбе Демидова, на той самой машине, выдать которую она отказывалась,— что я свою пишущую машину, как и всякую лично принадлежащую мне собственность, не считаю себя обязанной отдавать полиции. Ни к каким политическим делам я не причастна, и если г-н Булгаков без моего ведома писал на ней по утрам, до моего вставанья, то я в этом не считаю себя виноватой.

Машина нужна мне для моих работ, и я дать ее не могу».

Я вошел наверх в самый разгар спора Демидова с Софьей Андреевной. Они стояли друг против друга и были красны от волнения.

Эх, почтенный подполковник, много вы потеряли из-за этого бесплодного спора! Сидеть бы вам лучше внизу, в моей комнатке, да исполнять свое прямое дело.

Спорящие были так увлечены взаимным препирательством, что не обратили ровно никакого внимания на то, что я сунул в стоявший на окне специальный ящичек для библиотечных ключей ключик от книжного шкафа № 22а, и, кроме того, грешный человек, нарочно перемешал в ящичке висевшие в порядке на особых крючках все 25 ключей от других шкафов громадной яснополянской библиотеки.

Затем я обратился с довольно резким упреком к Демидову за то, что он беспокоит графиню своей настойчивой просьбой, не имеющей в сущности никакого смысла: «ведь я уже сказал вам, что это я переписывал воззвания и что переписывал я их на ремингтоне, принадлежащем графине Софье Андреевне, без ее ведома,—следовательно, о какой же тут еще экспертизе может быть речь?».

— Для чего же вы, Валентин Федорович, повышаете тон? Третьего дня мы так хорошо говорили с вами!—кротко сказал мне Демидов.

Он обезоружил меня этим замечанием и раздражение мое тотчас улетучилось; я уже совсем спокойно повторил только, что мне неприятно, что из-за меня вновь беспокоят не имеющую никакого отношения к делу графиню Софью Андреевну.

Еще не спускаясь вниз, Демидов обратился ко мне с просьбой — выдать ему «оригинал» воззвания «Опомнитесь, люди-братья», с подлинными подписями участников. Но я об'яснил ему, что такого «оригинала» у меня и нет, и не было вовсе. Тогда он потребовал выдачи тех двух копий обоих воззваний, о которых я говорил ему в прошлый раз.

— Иначе я принужден буду сделать у вас обыск,—сказал он.

Снисходительность Демидова в первое его посещение, видимо,

избаловала меня: я вообразил, что, если я выдам ему копии воззваний, то мне и на этот раз удастся избегнуть обыска. Последняя фраза Демидова окончательно меня в этом обнадежила и я решил выдать ему копии. Впрочем, он получил только текст воззваний, уже известный ему,—но ни единой подписи, так как я предварительно все их уничтожил.

Но я ошибся в своих расчетах. Спустившись в мою комнату, Демидов сначала предложил мне ряд повторных вопросов относительно воззвания, а затем об'явил, что он должен произвести в моей комнате обыск.

Тотчас были вытребованы в комнату «понятые»: Никита Фролков и другой мужичек, поджидавшие на крыльце. Кроме того, Демидов обратился с просьбой присутствовать при обыске к Софье Андреевне и к Сергею Львовичу Толстым, как к хозяевам дома. Но те категорически отказались от такой «чести».

— Я тут совершенно не причем!—довольно резко произнес Сергей Львович.

То же самое повторила за сыном и Софья Андреевна и затем оба, как бы для подкрепления своих слов действием, демонстративно покинули комнату. Новый визит властей и все их поведение, казалось, крайне раздражали как Сергея Львовича, так и Софью Андреевну.

Прошло несколько минут. Демидов приступил к обыску. Внезапно дверь отворилась и Сергей Львович с Софьей Андреевной снова вошли в комнату,—очевидно, просто из любопытства к тому, что там делалось, и, так сказать, неофициально.

Тут между ними и Демидовым произошел жаркий спор по поводу выраженного подполковником намерения обыскать не только лично мне принадлежавшие или находившиеся в моем употреблении вещи—шкафик, стол, чемодан, лежавший под кроватью, и т. д.,—но и все пять шкафов яснополянской библиотеки, которые помещались в моей комнате.

Сколько ни об'ясняли Демидову, что в шкафах помещаются книги самого Льва Николаевича, жандарм был непреклонен и упрямо ссылался на закон, предоставляющий ему право обыскивать полностью все занимаемое подследственным помещение.

Сергей Львович,—видимо, с трудом сдерживавшийся до сих пор, наконец, совсем вышел из себя.

— Это уже обыск не у Булгакова, а у графа и графини Толстых!—в исступлении кричал он Демидову.

Взбешенный упрямством жандарма, Сергей Львович находился в величайшем возбуждении и то выбегал из комнаты, то снова вбегал в нее. Явное отвращение к унизительной для жандармов процедуре обыска сквозило во всех чертах его лица.

— Я советовал бы вам, вообще, переменить ваше занятие на какое-нибудь другое!—запальчиво произнес, между прочим, Сергей Львович, обращаясь к Демидову.

Тот сделал ужасно обиженное лицо: он исполняет только свой долг, следуя предписанию закона; что же касается заявления графа Сергея Львовича, то он принужден будет занести его в протокол...

Видя столь энергично выражаемый сыном протест против обыска шкафов с яснополянскими книгами, Софья Андреевна тоже разволновалась и стала настойчиво требовать оставления шкафов в покое.

Демидов, казалось, был сбит с позиции.

— Хорошо,—сказал он,—но, в таком случае, я должен буду отметить в протоколе, что граф Сергей Львович и графиня Софья Андреевна воспрепятствовали мне произвести обыск у обвиняемого...

Он опять вмешивал Толстых в дело! Мне казалось, что я не должен этого допускать. Конечно, осмотр шкафов представлял большую опасность для меня, но мне почему-то верилось, что тщательного осмотра растерявшиеся власти, при сложившихся условиях, не сумеют произвести, а при поверхностном осмотре им едва ли удастся добраться до моего свертка...

— Пусть осматривают,—сказал я Сергею Львовичу.

— Да?—спросил тот, устремив на меня пристальный взгляд своих маленьких и острых глаз.

Мне показалось, что я совершенно ясно читаю в этом взгляде старшего сына Льва Николаевича заботливый вопрос: «И вам ничего не грозит в связи с этим осмотром? У вас, действительно, ничего не припрятано в шкафах»?

— Да,—повторил я, отвечая взглядом на взгляд Сергея Львовича,—пусть осматривают!

Сергей Львович пожал плечами, как бы соглашаясь безмолвно на обыск, и снова вышел из комнаты. Софья Андреевна последовала за ним, шурша юбкой лилового шелкового платья, в которое она принарядилась сегодня по случаю приезда сына.

Совсем притихший и потерявший всю свою самоуверенность, Демидов принялся за прерванный обыск. Он все еще осматривал мое личное имущество. Стоя около маленького моего шкафика с книгами и бумагами, и перелистывая страницы то той, то другой книги, он вдруг остановился и поднял голову. Взгляд его выражал полную беспомощность и растерянность.

— Я не понимаю,—произнес он, обращаясь ко мне,—я не знаю... отчего здесь на меня так напали?.. Отчего так возбуждены?.. Никогда... никогда мне не приходилось работать в такой обстановке!..

— Очень просто,—сказал я Демидову,—ведь, обычно, вам в подобных случаях приходилось иметь дело с каким-нибудь рабочим или с несчастным, загнанным студентом, а здесь вам приходится иметь дело с графом и графиней Толстыми!..

Между тем Сергею Львовичу заблагорассудилось снова вер-

нуться в комнату. Он с размаху опустился всей своей грузной фигурой на одно из низких мягких кресел, стоявших в комнате, и, кинув презрительный взгляд в сторону Демидова, стал свободно разговаривать со мной, как будто в комнате никого больше не было.

— В тюрьме,—говорил он,—нужно как можно лучше питаться! Главное,—жиров, жиров побольше: молока, масла...

Но я с сокрушением сердечным глядел на своего собеседника.

— Сергей Львович! Вы сели на фуражку подполковника!

— А?.. Где?.. Какая фуражка?..

Сергей Львович приподнялся и взглянул под себя: изящная, новенькая жандармская фуражечка подп. Демидова, неосторожно кинутая последним на сиденье кресла, оказалась сплющенной в безобразный блин.

— А-а!..

Восклицание Сергея Львовича прозвучало скорее не голосом покаяния, а как бы угрозой по адресу лица, имевшего неосторожность положить свою фуражку как раз на то кресло, на которое Сергей Львович задумал сесть. Никакого извинения подп. Демидову принесено не было.

Вернувшаяся вслед за Сергеем Львовичем Софья Андреевна принесла с собою ящичек с ключами от библиотечных шкафов, но так как все ключи в ящичке оказались перепутанными, то нужных ключей долго искали, и это только увеличивало беспорядочность и несистематичность обыска...

Принялись открывать один за другим шкафы, находившиеся в комнате. Демидову помогала Софья Андреевна. Суматоха в комнате стояла невообразимая: все движутся, все взволнованы, все говорят разом... Демидов кидался от одного шкафа к другому и, в сущности, ничего не успевал сделать. Видя, что ему одному не справиться с своей задачей, он поручил часть шкафов осмотреть приставу. Тот подходил к полкам, меланхолически проводил рукою по корешкам книг, заглядывал на удачу в одну-две книги и затем об'являл, что шкаф осмотрен... Нужно-ли говорить, что при такой обстановке обыска жандармы, разумеется, не сумели найти моего свертка с нелегальными бумагами? Та половина двойного шкафа № 22, в которой находился сверток, даже не была открыта ключем: полицейские, осмотрев другую половину этого шкафа (открывавшуюся отдельно), вообразили, в суете, что ими осмотрен был весь шкаф целиком... В конце-концов, Демидову ничего не досталось, в результате его трудов, кроме пачки чистой ремингтонной бумаги, того же качества, как и та, на которой переписано было воззвание С. Попова. Чистая бумага была забрана Демидовым, в качестве вещественного доказательства моей вины.

О том, что я буду арестован и препровожден в тюрьму, мне было заявлено уже во время обыска, так что, пока Демидов возился с бумагами и книгами, я укладывал свой чемодан.

— Забирайте всего как можно больше: белья, книг, теплых вещей, подушку, одеяло,—говорил, стоя надо мной, удивительно дружески относившийся ко мне в эти минуты Сергей Львович.— Помните, что вы переезжаете на другую квартиру! И что там вам ничего не дадут...

Когда же я упорно старался ограничить свой багаж лишь немногими, наиболее необходимыми вещами, Сергей Львович даже закричал на меня:

— Да делайте же, что вам говорят! Не будьте, в самом деле, ребёнком!..

Я испугался и уже беспрекословно стал совать в чемодан и даже в сверток с подушкой и одеялом все, что подавали мне Софья Андреевна и Татьяна Львовна: белый хлеб, сыр, яблоки, французское печенье, какао...

— Я должен попросить не брать особенно много вещей,— обратился ко мне Демидов,—потому что наемные лошади устали и им трудно будет ехать...

— Но, может быть, можно дать Валентину Федоровичу наших лошадей?—возразил Сергей Львович.

— Да, можно...

Тотчас же Сергеем Львовичем отдано было соответствующее распоряжение на конюшню.

Когда все мои вещи были упакованы, меня, с разрешения Демидова, повели наверх—в последний раз завтракать. Стол был полон. Все были в сборе.

— Ага, Булгаша, не напрасно вы вчера вечером пели «Последний нонешний денечек»!—с улыбкой заметила Татьяна Львовна.

Увы, я, действительно, имел неосторожность спеть вчера эту песню под специально написанный Сергеем Львовичем аккомпанимент!..

Сидя за столом, я в последний раз окидывал взглядом все эти милые лица—детей и взрослых, которых я считал почти родными и сочувствие которых трогало меня до глубины души.

Однако я не испытывал ни тяжести, ни тревоги на душе от сознания, что я еду в тюрьму. Напротив, серьезное, бодрое и радостное состояние духа овладевало мною все более и более по мере того, как я приближался к этой последней, высшей стадии моего испытания. Мне кажется, я предчувствовал, что в моем внутреннем росте тюрьма должна явиться тем препятствием, преодолев которое, я получу возможность подняться с одной, низшей, ступени сознания на другую, высшую. И я не мог не испытывать невольной радости от такого предчувствия...

Сердечно попрощавшись со всеми членами семьи Льва Николаевича и с другими присутствующими, я поспешил вниз, где ожидал меня Демидов.

Я не рассказал еще, как перед завтраком, когда я подымался

наверх, Софья Андреевна внезапно остановила меня на площадке лестницы и, с особенно-значительным видом человека, желающего сообщить что-то крайне любопытное и поразительное, произнесла:

— А! Что?! Какое сегодня число?

— Сегодня? 28-е...

— Да, *28-ое октября!* День ухода Льва Николаевича... Вот оно!

Действительно, по странной случайности, в деле нашего возвания вновь появлялось «толстовское» число 28; мало того, день моего ареста точно совпадал с днем ухода Льва Николаевича из Ясной Поляны в 1910 году...

Сергей Львович, Татьяна Львовна, Душан Петрович, гостья—соседка по имению Бибикова, Илья Васильевич и другие домочадцы спустились вниз вслед за мною и, как были, без верхнего платья, вышли на крыльцо...

Танечка Сухотина, в зимней шубке, под надзором гувернантки, прогуливалась около дома.

— До-свиданья, Булгаша!—проговорила она, протягивая ко мне свои губки.

Простился я и с мисс Уэльс...

Пара толстовских лошадей подкатила к крыльцу и я уселся в сани, с одним из двух сопровождавших Демидова, помимо пристава и урядника, рослых жандармских унтер-офицеров. Сам Демидов, вместе с другим жандармом, поместился в других санях, запряженных наемными лошадьми.

— Поезжай!—скомандовал Демидов,—и наш поезд тронулся.

Слова приветствия, улыбки, машущие руки... потом—угол террасы... «прешпект»... пруд... башни... мостик за усадьбой—и всё скрылось. Мы—одни в белом поле

Порошит снежок. Сидящий рядом со мной жандарм заботливо укутывает мои ноги одеялом. У него — молодое, круглое, серьезное и совсем не злое лицо.

Барские лошади бежали с завидной резвостью. Кучер Адриан немножно увлекся и дал им ходу больше, нежели следовало.

— Постой, постой!—слышу я позади, издалека, крик Демидова.

Я прошу кучера попридержать лошадей.

Послышался скрип полозьев нагоняющих нас саней и, вместе с тем, голос подп. Демидова, размеренный, методический, точно читающий нам урок:

— Наемные лошади не могут бежать так скоро, как лошади из имения, поэтому лошадей следует сдерживать и ехать медленнее...

Мы беспрекословно подчиняемся требованию начальства и

всю остальную часть дороги едем потихоньку, не слишком обгоняя вторую пару.

Я мысленно прощался и с видом знакомых окрестностей, и со снежком, опушавшим нам лица, и с лошадьми, и с кучером Адрианом, и с удовольствием езды в санях... Но на душе у меня было спокойно.

«Что для меня теперь нужно, в новом положении?—подумал я.—Вот теперь привезут в тюрьму... Господи! Дай мне—и в тюрьме не выходить из Твоей воли... не потерять любви к людям... не перестать любить тех, которые будут охранять меня... Я хочу быть вполне доброжелательным к ним. И не из лукавства — чтобы лучше со мною обращались, а искренно — чтобы самому мне не выходить из воли Божьей»...

Около самой тюрьмы Демидов повернул в сторону, к городу, предоставляя сидевшему со мной рядом жандармскому унтер-офицеру сдать меня на руки тюремному начальству. Он галантно раскланялся со мной на прощанье из своих саней...

— Пожалуйте, пожалуйте!—приветствовал меня при входе в камеру какой-то разбитной малый, подхватывая меня под руки.—Пожалуйте! Располагайтесь! Будьте, как дома... а уж в домовую книгу мы вас завтра запишем!..

Обысканный в тюремной конторе, с узлом разрешенных мне вещей, беспорядочно наваленных в мое собственное одеяло, которое я придерживал за концы узлов (так как чемодан мой отобрали), вступал я в давно уже поджидавшее меня помещение.

В камере горел свет: небольшая керосиновая лампочка, стоявшая посредине некрашенного деревянного столика, за которым сидели и пили чай четверо людей. Один из них и «принял» меня в камеру, прямо из рук дежурного помощника начальника тюрьмы.

Я стал здороваться со всеми.

— Раздевайтесь, раздевайтесь!—повторял неугомонный малый, продолжая разыгрывать роль хозяина квартиры и освобождая меня от моих вещей.—Тут у нас места много!

Нельзя сказать, чтобы в камере, имевшей не более семи шагов в длину и четырех в ширину, да к тому же еще заваленной вещами и принесенными на ночь из кладовой матрацами, было особенно много места для пяти человек, но радушие «хозяина», очевидно, должно было выкупать недостаток места.

Имущество мое свалили в общую кучу на подоконник.

Меня пригласили к столу. Началось взаимное знакомство. Я рассказал вкратце о себе. Слушатели мои, не столько сами, сколько устами болтливого малого, принявшего меня в камеру, а теперь вводившего в обиход тюремной жизни, поведали о себе.

Один из них, старик, сидел за то, что продал бутылку красного вина из собственного ренскового погреба после об'явления о запрещении торговли вином. Другой—за продажу соб-

ственных штанов на Толкучем рынке, после того, как сукно данного образца было, по случаю войны, об'явлено подлежащим реквизиции. Третий—за торговлю политурой для питья, вместо водки, в своем трактире и, наконец, четвертый, «хозяин квартиры», торговец часами, за то, что обругал на базаре царя.

Все мои новые сожители, за исключением разве торговца политурой, показались мне очень милыми и приятными людьми. Я был вполне доволен своим новым обществом.

Стали ложиться спать. Торговец часами приложил свой рот к маленькому круглому отверстию в двери («волчёк») и закричал надзирателю, ходившему по корридору, чтобы мне дали матрац. И матрац,—мешок, набитый соломой,—был дан.

В камере имелась только одна деревянная койка. Ею пользовался торговец часами, как первый, поселившийся в этой камере. Остальные спали на полу. Матрацы положили поперек камеры, и после этого ходить уже было негде.

Мой матрац пришелся с краю, недалеко от двери и от параши. Старик, расположившийся рядом со мной, заботливо указал, чтобы я не прислонял своей подушки к стене, так как стена, вместо краски, вымазана сажей и сильно пачкает. Другие арестанты подтвердили правильность этого замечания.

Но мне так всё казалось хорошо—и эта давно желанная суровость обстановки, и самый факт моего нахождения в тюрьме, и это общество жалких преступников, выброшенных *той,* сильной и властной, жизнью в качестве неудачников,—что я не хотел обращать внимания даже на такое простое предупреждение.

— Ничего, ничего!—говорил я и прислонил подушку к самой стене.

Я давно не ложился вечером в свою постель с таким светлым душевным состоянием...

На утро весь бок подушки оказался совершенно черным от сажи.

Однажды,—это было на второй или на третий день после моего заключения,—во время вечерней «оправки», когда всех арестованных, камеру за камерой, выпускали по-очереди в уборную,—торговец часами, опасливо озираясь на отвернувшегося в сторону надзирателя, быстро подвел меня к одной из наглухо запертых дверей в нашем коридоре и велел смотреть в «волчек».

Только что я успел приблизить свое лицо к «волчку», как внутри камеры кто-то закричал: «Валя, Валя!» И я увидал, сквозь непривычно узкое отверстие, Юрия Мута, смеющегося, хлопающего в ладоши и подпрыгивающего от радости, что он меня увидел...

Но... руководитель мой тянул уже меня за рукав. И едва мы отскочили от двери, как надзиратель снова повернулся в нашу сторону, окидывая нас подозрительным взглядом.

Торговец часами, вообще, взял на себя роль моего тюрем-

ного ментора. Благодаря его урокам, я сделался гораздо смелее и скоро сам научился обманывать бдительность надзирателя.

В ближайшие дни мне удалось перекинуться несколькими словами не только с Ю. Мутом, но и с Сережей Поповым, Хорошем и Пульнером, камеры которых также оказались в нашем коридоре.

Настроение у всех, судя по их словам, было прекрасное, чему я искренно порадовался.

Так началась наша совместная, более чем годовая, тюремная жизнь.

ГЛАВА V.

ИНЦИДЕНТ С ПИСЬМОМ МОЕЙ МАТЕРИ И ОБЫСК У НЕЕ В Г. ТОМСКЕ.

Согласно требованию закона, все заключенные в тюрьму по делу о распространении воззваний против войны, т.-е. я, Попов, Хорош и Пульнер, через две недели со дня ареста допрошены были представителем прокурорского надзора. Таковым — явился товарищ прокурора Тульского окружного суда А. И. Воронцов, которому поручено было наблюдение за ходом следствия по нашему делу, в качестве, так сказать, юридического советника при Демидове. Воронцов пользовался всеми правами следователя, так что все постановления по делу принимались Демидовым и Воронцовым сообща, точно так же, как обоими ими подписывались и все акты следственного производства.

Подобно подп. Демидову, тов. прокурора Воронцов также представлял достаточно колоритную фигуру, хотя и в несколько ином роде. Маленький, бритый, хлыщеватый господин, еще молодой, но уже с брюшком, Воронцов напоминал какого-то клоуна своей необыкновенной развязностью, подвижностью и болтливостью. Обращение его с обвиняемыми и вообще все речи пропитаны были, с одной стороны, удивительным легкомыслием, а с другой—наглостью.

Помню эту первую встречу с ним, через две недели после моего ареста, вечером, в небольшой уютной комнатке помещения жандармского управления, с плотно опущенными шторками на окнах и с горящей лампадкой в углу перед иконой.

В этот вечер я встретился впервые также с начальником жандармского управления ген. Иелита-фон-Вольским, который пожал мне руку и сказал, что он «очень рад» (буквально!) со мной познакомиться, а также с упоминавшимся мною жандармским подполковником Павловым.

Воронцов был совершенно как свой в этой компании жандармов...

Едва поздоровавшись со мной, почтенный юрист тотчас бешеным аллюром атаковал меня: обвинения и упреки, самые невероятные, нелепые и необоснованные, бурным каскадом обрушились на мою голову. Товарищ прокурора говорил быстро и без передышки, выкрикивая отдельные фразы, делая «страшное» лицо и угрожающе потрясая руками. Я напрасно старался уловить момент, чтобы вставить в его речь несколько слов от себя.

— Попали, голубчик мой, попали! Воззвание ваше — совершенно революционное!.. Да-да-да-да!.. Ведь... это что? это что?.. (Он торопливо стал пробегать наше воззвание). Не здесь... не это... Ага! Нот: «...Разоружить народы значит для современных правительств то же самое, что уничтожить самих себя, потому что эти правительства держатся только благодаря государственному насилию и не пользуются свободным доверием своих народов,— как же могут они отбросить свою единственную опору—солдатский штык?» (!!!) Ага! Вы скажете, это—не революция? Нет, батенька мой, это—революция!! Уж вы меня не проведете! Я революционеров знаю! Я в Вологодской губернии специально на них сидел!..

Тут я сделал мужественное напряжение и каким-то невероятным образом все-таки вторгся в речь моего собеседника.

— Позвольте, г. товарищ прокурора!—сказал я.—Вы говорите, что вы знаете революционеров?

— Да, знаю!

— Так вот, пожалуйста скажите, если вы знаете их: мог бы настоящий революционер включить в свое воззвание вот эти слова Христа, которые мы приводим в нашем обращении: «любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас»?.. Мог бы или нет?

Товарищ прокурора, весь напряженный от желания вновь говорить,—как конь, которого осадили на бегу,—выслушал мой вопрос и, когда я кончил, выпалил тоном глубокого убеждения:

— Нет! Не мог бы!

— Так зачем же вы говорите, что наше воззвание—революционное?!

— А-а, это вы нарочно вставили!..

— Как, нарочно? Напротив, на это-то место мы и смотрим, как на центральное в нашем воззвании!

— Не-ет! Это вы только притворяетесь!..

И снова посыпались упреки.

Когда я попытался об'яснить товарищу прокурора, что, составляя воззвание, мы только следовали непреодолимому душевному побуждению,—«потому что невозможно было молчать»

(сказал я),—то Воронцов, с необыкновенной экспрессией в голосе и в лице, не произнес, а прошипел, просвистел мне:

— Молчите! Молчите! Что бы у вас ни было на душе,— молчите!..

Вот она была—житейская мудрость чиновника и образованного человека!

Нечего и говорить, что Воронцовым одобрены были все шаги, предпринятые Демидовым, как следователем, против нас и против распространения нашего воззвания. Несмотря на то, что обращение «Опомнитесь, люди-братья» пока еще не выходило, повидимому, за пределы тесного кружка единомышленников,—прокурорский надзор, тем не менее, счел рассылку его мною в запечатанных конвертах разным «толстовцам» преступным актом *распространения,* подлежащим судебному возмездию. Допрашивая Хороша, Воронцов кричал, что он непременно упечет Булгакова в арестантские роты.

Думается, однако, что, если обвинение в расхространении воззвания «Милые братья и сестры», пред'явленное С. Попову, представлялось нашим следователям с юридической стороны совершенно обоснованным,—то по вопросу о возможности применения аналогичного обвинения к составителям воззвания «Опомнитесь, люди-братья» у них самих могли возникнуть известные колебания. Если бы это было не так, то Воронцов и Демидов, наверное, не придали бы такого значения неожиданно раскрывшемуся перед ними эпизоду с посылкой мною одного экземпляра воззвания моей матери.

Дело было так.

Недели через две после того, как я был арестован, С. А. Толстая, успевшая уже навестить меня в тюрьме, следующим письмом известила о случившемся мою мать, проживавшую в г. Томске:

«...Очень грустно мне писать Вам о событии, которое огорчит Вас, о котором Вам, вероятно, уже известно. Арестовали Вашего сына Валентина Федоровича за написанное им и разосланное разным лицам воззвание против войны. Хотя воззвание это все основано на учении Христа: любить людей, любить врагов,—но совпало это воззвание с новым набором в солдаты, да и вообще очень несвоевременно, так как война была неизбежна и патриотический дух в народе чрезвычайно высок; надо же защититься, как же быть иначе?

Все свои действия Валентин Федорович от меня скрывал, что и ставлю ему в упрек; может быть, мне удалось бы спасти его от тюрьмы моими советами и убеждениями. Мне очень жаль его, такого хорошего, умного, способного и доброго человека.

Вчера, в день его рождения, я ездила в тюрьму его навестить. Свезла ему всяких продуктов, вещей. А 20-го поедет моя дочь Татьяна Львовна и свезет ему еще то, в чем он нуждается.

Вид у Вашего сына здоровый, свежий, слегка похудевший. Все время говорил, что ему очень хорошо, что он прекрасно себя чувствует.

Буду хлопотать взять его на поруки, но это трудно, так как к его поступку относятся довольно строго. Что ему грозит— я не знаю, не могла ничего добиться, хотя была и в жандармском управлении и допрашивала тюремного генерала... *). Конечно, будет суд, но когда—неизвестно: Буду все время следить за ходом дела и изредка посещать Валентина Федоровича...

Поразило и порадовало меня то, что решительно все власти удивительно хорошо и сочувственно относятся к Валентину Федоровичу и усиленно его хвалят»...

В свою очередь, Д. П. Маковицкий известил о моем аресте проживавшего в Москве младшего моего брата Вениамина, студента университета, а тот после этого имел неосторожность разразиться следующим траги-комическим посланием к матери (9 ноября):

«Дрожащая мамаша! Пересылаю вам письмо Д. П. Маковицкого; вы видите, что Валя отлично пока устроился и что приезжать кому-либо из нас к его милости не требуется. Я ответил Душану на его письмо открыткой, в которой просил, чтобы он известил меня о посещении Вали Татьяной Львовной... Душан настолько вежлив и добросердечен, что не откажется прислать мне ответ с указанием о том, как себя чувствует наш дорогой арестант. Я же настолько мил и заботлив, что не премину переслать его извещеньице вам в Томск, чтобы успокоить ваши встревоженные сердца...

Грехи наши тяжкие! Все, видно, под Богом живем да под жандармом погуливаем! Смотришь, тебя или смерть с'ест, или кутузка проглотит. Та лишь и разница, что первая сожрет сначала тело, разжует, а вторая—и душу измыкает... И ничего ведь—живут люди да и только!

У нас на Руси один политический просидел за свою жизнь ни больше—ни меньше, как 41 год!.. Н. Морозов сидел до 25 лет, а Шлиссельбуржцы все сидели с 1881 по 1905. Вот это «сидельцы», нечего сказать!

Дай Господи, чтобы наш сиделец не больше месяца-двух был задержан в предварительной. Вот, посмотрим, что дальше будет. Надо надеяться, что всё к лучшему делается. Беспокоиться нам напрасно не следует. Будем выжидать.

Где-то теперь другой наш страстотерпец—это не по тю-

---

*) Под „тюремным генералом“ С. А—на, не умевшая разбираться в рангах и чинах, разумела, очевидно, начальника Тульской тюрьмы, по чину всего только коллежского ассесора, но по наружности, важной и представительной, смахивавшего, пожалуй, и на генерала.

ремной части, а по военной? *). Я от него долго не получал ничего из Омска... Дай ему, Господи, не попасться в зубы туркам! Ведь он скоро, наверное, двинется в поход.

Да, поход против турок куда опаснее, чем поход против русского правительства. Оба сынка «в поход» надумали. Одного уже «усадили», как бы не «уложили» второго...

— Что бы мне такое предпринять? Какой бы мне «поход» снарядить? Против турок — боюсь, против русского правительства—гнушаюсь»...

Между тем, моя мать, получив от меня, еще более месяца тому назад, сначала статью «О войне», а потом и воззвание «Опомнитесь, люди-братья», почувствовала сама, что сочинение и распространение такого рода писаний—далеко не безопасно и может плохо кончиться для меня. 23 октября 1914 г. она отправила мне большое письмо, в котором извещала, что получила воззвание и что, согласно моей просьбе, давала его для прочтения нашим знакомым Крепкогорскому и Головачеву. Мать приводила отзывы этих лиц о воззвании и затем добавляла: «Я хотела тебе телеграфировать, что так рисковать собой вовсе не умно, мне и без того неприятностей хоть отбавляй... Ты пишешь, что соскучился по нашей Сибири, смотри не попади в другое место».

Это-то письмо было перехвачено Демидовым, и при том— при обстоятельствах, совершенно исключительных: люди, любившие меня и сочувствовавшие моему положению, сами доставили это письмо в руки подп. Демидова. О, конечно, это произошло по недоразумению! Но нельзя сказать, чтобы последствия недоразумения оказались особенно приятными как для моей матери, так и для других лиц. В чем же дело?

Случилось так, что, будучи арестован 28-го октября, я не успел предупредить перед от'ездом никого из обитателей Ясной Поляны о том, чтобы всю мою корреспонденцию задерживали до поры до времени и никуда не отсылали. Между тем, письма получались и надо было что-нибудь сделать с ними. Софья Андреевна и Душан Петрович решили порадовать меня вестями с воли. Они распечатали все письма и предварительно убедились, нет-ли в них чего-нибудь о воззвании, а затем не представляло меня всё то, что с политической точки зрения не представляло никакой опасности. Они сделали исключение только для одного письма, не распечатавши его. Но это было письмо от моей матери, со штемпелем г. Томска! Ясно, что содержание его должно было быть самое невинное! О чем может писать мать родному сыну, да еще из такой дали, как Сибирь, и после долгой разлуки? Уж, конечно, не о политике!..

---

*) Брат имеет в виду старшего нашего брата, призванного на действительную военную службу.

И вот, томское письмо, вместе с другими, распечатанными и просмотренными предварительно письмами, при первой же поездке в Тулу, вручается гр. С. А. Толстой лично подп. Демидову, для передачи мне в тюрьму.

И Демидов не замедлил использовать ошибку моих друзей. Ознакомившись с содержанием письма, он тотчас сообщил томским властям о необходимости допроса и обыска Т. Н. Булгаковой, в связи с «делом толстовцев».

К тому времени моей матерью получены были не только цитировавшиеся выше письма С. А. Толстой и брата Вениамина, но еще и мое письмо от 27 октября, с комическим описанием подробностей первого, ночного посещения Демидовым Ясной Поляны. Разумеется, все эти известия были приняты матерью очень тяжело. Вместе с тем у матери невольно явилась мысль, что начальственное внимание может обратиться и на нее, как на мать арестованного. Она считалась даже с возможностью внезапного обыска и ей хотелось не быть застигнутой врасплох.

Правда, она была и без того, как ей казалось, достаточно осторожна. У нее не поднялась рука уничтожить присланные мною статью «О войне» и воззвание «Опомнитесь, люди-братья», но за то она не разбрасывала их где попало, а, наоборот, старалась держать всегда при себе. Ложась спать, она клала их завязанными в шелковый платок рядом с собою, на ночной столик, чтобы успеть спрятать в случае обыска... Играя иногда в карты с томскими барынями и другими знакомыми, она нередко доставала из своего ридикюля писания сына и давала их почитать своим партнерам, — например, «выходящим» при игре в винт впятером... Это было уже нечто в роде «пропаганды»!

В последних числах ноября 1914 г. моя мать получила повестку от пристава 1-го уч. г. Томска, с приглашением явиться в участок к 6 час. вечера 27-го ноября. Вполне уверенная, что дело касается каких-нибудь пустяков, в роде очередного взноса квартирного налога, она поехала в участок вместе с моей сестрой-курсисткой, которой захотелось «прокатиться».

Между тем в участке ожидали мою мать прокурор Тульского окружного суда и жандармский подполковник. Как мать, так и случайно попавшая в участок сестра, подвергнуты были допросу.

Матери прежде всего пред'явили ее письмо ко мне, полученное Демидовым через С. А. Толстую:

— Это вы писали?

Бедная женщина, ошеломленная роковой неожиданностью, прочла письмо и затем еще некоторое время молчала над ним,— задумавшись, забывшись... *Ее не останавливали.*

— Да, я писала...

Последовали другие вопросы: о Крепкогорском, о Головачеве и проч.

— А где воззвание, которое прислал вам сын?

— Уничтожила,—говорит мать.

А оно у нее,—тут же, в руках, вместе со статьей,—в ридикюле!..

После допроса в участке, прокурор с жандармским офицером и мать с моей сестрой, на двух извозчиках, отправились на квартиру матери, для обыска. Около ворот уже поджидали их пятеро полицейских, откомандированные к квартире по телефону...

Ни воззвания, ни статьи обыскивавшие не нашли, но отобрали; мое письмо о Демидове, письмо С. А. Толстой к матери о моем аресте, письмо Маковицкого к брату о том же и, наконец, юмористическое письмо брата Вениамина к матери.

—Я не нахожу ничего особенного в этом воззвании!—сказала, между прочим, моя мать во время обыска.

— Да, ничего особенного—воскликнул жандармский офицер (подп. Потоцкий).—Вы еще благодарите Бога, что мы в России: в Германии бы его в 24 часа вздернули!..

Окончив обыск, прокурор и жандармский подполковник низко и усердно откланялись матери. «Уходите уж лучше скорее!»—подумала она, глядя на бесконечно постылые ей фигуры обоих чиновников.

Как только власти уехали, сестра полетела предупреждать о возможности обыска наших знакомых присяж. пов. Головачева и студента Крепкогорского, читавших воззвание из рук матери. Действительно, через три дня жандармы явились к обоим этим лицам. Но допрос их не выяснил для следствия ничего нового и существенного.

Все документы, отобранные у матери, разумеется, немедленно пересланы были в Тулу, подп. Демидову. Какую же пилюлю проглотил он, читая мое письмо о себе! Долго после того Демидов при встречах был очень сух со мной и сохранял обиженный вид. Наука: вперед не читай чужих писем!—Что касается письма С. А. Толстой,—очевидно, под влиянием всего происшедшего несколько изменившей свои взгляды и постаравшейся более трезво взглянуть на события,—то, без сомнения, наших следователей должно было очень порадовать ее авторитетное признание, что «совпало воззвание с новым набором в солдаты, да и вообще было очень несвоевременно, так как война была неизбежна и патриотический дух в народе чрезвычайно высок». Эта фраза графини даже включена была впоследствии нашим прокурором в текст обвинительного акта,—думается, не столько в целях нашего обвинения, сколько для самооправдания как в чужих, так и в своих глазах...

Совершенно неожиданный результат имело ознакомление Демидова с шутливым посланием моего брата: на основании этого послания Демидов причислил брата к лицам, «неблагона-

дежным» в политическом отношении, внес его имя в какие-то особые «списки» Тульского жандармского управления, а, главное, совершенно запретил ему свидания со мной в тюрьме, что для меня, по крайней мере, было значительным лишением.

— Человека, который *гнушается* русским правительством, мы не можем допускать к брату, заключенному в тюрьму!— сказал Демидов моему брату, специально приехавшему из Москвы в Тулу для очередного свидания со мной.

— Позвольте, да что я—испорчу брата, или он меня испортит, что вы так боитесь пускать меня к нему?

Но Демидов стоял на своем. В конце концов, брат испугался, как бы и его не посадили в тюрьму, и поспешил в последний раз откланяться строгому подполковнику.

Обыск у матери не дал никаких особенно ценных результатов для следствия, но тем не менее после всего этого инцидента Демидов и Воронцов как-то насторожились. Учтя возможность широкого распространения воззвания по России, они своим полицейским чутьем как бы заранее предугадывали гораздо более обильную жатву, которую могут им доставить дальнейшие розыски по делу. Инцидент с перехваченным письмом моей матери как бы подбодрил их не только не оставлять этих розысков, но даже усилить их. Тульским Лекокам предстояло еще много работы!

Добавлю, что как Демидов, так и Воронцов, предполагали сначала привлечь к дознанию, в качестве обвиняемой, и мою мать. Они доказывали, в разговоре со мной, что, предоставив воззвание для прочтения хотя бы только двум лицам—Крепкогорскому и Головачеву, моя мать (очень далекая от «толстовства») уже повинна в распространении воззвания. Но, слава Богу, этой нелепой мысли следователи в исполнение не привели. Очевидно, и самые разговоры о привлечении к суду моей матери были только своеобразной жандармско-прокурорской бравадой.

ГЛАВА VI.

ОБЫСКИ У ЛИЦ, НЕПРИЧАСТНЫХ К ВОЗЗВАНИЮ, И АРЕСТ БЕСПАЛОВА.

Углубление следствия сначала естественно пошло по тем нитям, какие даны были в руки следователей первыми арестами.

25 октября 1914 г., тотчас после ареста Хороша и Пульнера, Демидовым допрошен был владелец хутора в Хмелевом С. М. Соломахин. Допрос происходил в имении Ивановых при деревне Татево, лежащей по дороге из Хмелевого в Тулу.

Соломахин,—очень практичный человек, несмотря на свое

«толстовство»,—показал, что воззвания он не читал и ничего о нем не знает, что Хорош жил у него для обучения детей, а о том, что Хорош не имел права жительства в Тульской губ., ему тоже было неизвестно. Его отпустили с миром.

В местечке Почеи, Черниг. губ., понадобилось зачем-то побеспокоить старика отца Пульнера, у которого произвели обыск. Что мог показать почтенный сейфер о своем сыне, кроме того, что молодой человек, действительно, увлекся книгами Толстого и уехал к своим единомышленникам в Тульскую губернию, оставив родной дом, веру отцов и занятия Талмудом!

Более существенные результаты дали обыски, произведенные по адресам, отобранным у М. Хороша,—именно, обыски у Чаги и Каневского.

Хорош когда-то жил у Я. Т. Чаги, на его хуторе «Водопад» близ г. Пятигорска, участвуя в разных работах по хозяйству. Незадолго до того, как власти раскрыли существование воззвания «Опомнитесь, люди-братья», Хорош и Чага обменялись письмами по поводу другого воззвания, не имевшего решительно никакого отношения к яснополянскому: именно, по поводу воззвания одного из последователей Л. Н. Толстого А. Радынского—об учреждении детских колоний. Чага критически отнесся к этому воззванию и в кратком письме к Хорошу резко отозвался о нем, даже не упоминая при этом, о каком, собственно, воззвании идет речь. Власти, отобравши при обыске у Хороша письмо Чаги, решили, что оно касается именно воззвания «Опомнитесь, люди-братья» и что, очевидно, прислано было Чаге это воззвание Хорошем. Никакие уверения Хороша, что Чага говорит о совершенно другом воззвании, не приняты были во внимание. Как на грех, при обыске в Пятигорске (28 ноября 1914 г.), у Чаги находят экземпляр воззвания «Опомнитесь, люди-братья»,—тот самый, который послан был ему мною. Тут уже власти преисполнились окончательной уверенности в том, что догадка их подтверждена и что Хорош являлся одним из активных участников в распространении воззвания. Не помогли не только уверения Чаги, что воззвание получено им не от Хороша и что Хорошу он писал совсем о другом воззвании, но даже и мое показание, что воззвание «Опомнитесь, люди-братья» послано было Чаге мною. Подп. Демидов продолжал обвинять в посылке воззвания Хороша и позже именно на этом основании отказался выпустить Хороша из тюрьмы на поруки.

Но обыск у Чаги дал и еще кое-что подполковнику Демидову, именно одну новую подпись на воззвании. До сих пор Демидову известны были первые 23 подписи на воззвании «Опомнитесь, люди-братья»,—те, что значились на экземпляре Хороша. Между тем, на воззвании, отобранном у Чаги, хотя и значилось всего только 15 подписей, но среди них была одна новая: *Р. Буткевич.* Подпись Буткевича случайно сохранилась на экземпляре Чаги,

так как Чаге воззвание было послано мною прежде, чем Буткевич снял свою подпись. Нахождение подписи послужило причиной привлечения Буткевича к делу, как обвиняемого.

У некоего С. К. Каневского, проживавшего в станице Абинской, Кубанской обл., также был найден экземпляр воззвания «Опомнитесь, люди-братья», при чем Каневский показал на следствии, что воззвание прислано было ему мною, при письме приблизительно такого содержания:

«Зная вас через посредство добрых знакомых, как доброго и отзывчивого к добру человека, посылаю вам настоящее воззвание. Не найдете-ли вы нужным присоединиться к имеющимся на нем подписям и таковое воззвание с вашей подписью возвратить мне обратно».

Воззвание, действительно, послано было С. К. Каневскому мною, по указанию А. Медведева, рекомендовавшего мне Каневского, как единомышленника.

По получении воззвания, Каневский переслал его своему знакомому Леонтию Карпенко, служившему счетоводом на жел. дороге в г. Андижане,—с целью посоветоваться, подписывать или нет воззвание. Карпенко на самом экземпляре воззвания сделал следующую подпись, с любопытной характеристикой воззвания, очень занимавшей впоследствии и наших следователей, и прокурора, и даже суд:

«Дорогой Станислав Казимирович! Чепуха! Сумасшествие! Не подписывайте! Пути Господни неисповедимы. Это они подливают в огонь масло. Будьте, как Костя: живите внутренней жизнью... Но все эти прокламации сожгите. Христос не писал прокламаций. Эти заблудшие, отвергая приобретения «культуры», технику и ее способы, сами ею пользуются для того, чтобы, кроме страшного пожара, уже существующего, разжечь внутренний, при чем подло, путем подпольной литературы. Христос проповедывал в храме, на улицах, не скрывался и войн не касался. «Отдайте кесарево кесареви, а Божие Богови»... Ваш Л. Карпенко.

С этой подписью можете вернуть листок. Грустно! Это похоже на начало 1905 года. Если бы эти знали немножко больше, то так подло бы не поступали».

Сумбурная надпись никому из нас неведомого критика, конечно, не обнаруживала в нем «толстовца». Да и вообще, судить по ней о миросозерцании ее автора трудновато. Никаких конкретных данных для нашего обвинения надпись, в то же время, в себе не заключала. Тем более странным представлялось особенное фиксирование на ней внимания со стороны наших обвинитеелй. Не играла ли роли и в данном случае скрытая потребность самооправдания, у людей, которым совесть говорила нечто иное о их поведении по отношению обвиняемых—«толстовцев»?

На Черноморском побережьи обыскан был,—также по адресу, отобранному у Хороша,—один интеллигентный хуторянин теософ А. К. Кушлейко, посетить которого Хорош предполагал, мечтая о путешествии на юг. Обыск очень раздосадовал Кушлейко, отомстившего неосторожным «толстовцам» ироническими отзывами о них в своем показании, но никаких реальных результатов для следствия не дал.

Между тем, при странных обстоятельствах, арестован был (26 ноября 1914 г.) один из обвиняемых, подписавший оба воззвания, Василий Беспалов.

С легкой руки С. А. Толстой, о «деле толстовцев» появился уже целый ряд сообщений в разных газетах. Между прочим, в московской газете «Утро России» напечатано было, что из числа лиц, подписавших воззвание «Милые братья и сестры», арестованы двое—Сергей Попов и Лев Пульнер, а третий, Василий Беспалов, скрылся и не разыскан. Номер газеты с этим сообщением получен был, между прочим, и одним из провинциальных подписчиков «Утра России» приставом 3 участка Инсарского у., Пензенской губ. Наумовым. Прочитав, среди другого материала, сообщение о «толстовцах», пристав вспомнил, что как раз в пределах его участка, в с. Богородском—Голицыне, в доме крестьянина Сыщева проживает Василий Беспалов. Не тот ли?

Пристав заинтересовался, нагрянул к Беспалову с допросом и, конечно, с первых же слов убедился, что имеет дело с тем самым лицом, которое разыскивается. За Свищевым была замужем одна из сестер Беспалова, у которой он и проживал с того самого времени, как покинул Тулу.

Пристав (действиями которого Демидов после бесконечно восхищался!) тотчас арестовал Беспалов, не забыв при этом сделать у него обыск. Ничего, непосредственно относящегося к воззванию, при этом найдено не было, за исключением двух писем Сергея Булыгина. В одном из них, более раннем, Сережа писал о намерении С. Попова «открыто высказать свое отношение к войне»; в другом, написанном уже после того, как С. Попов опубликовал свое воззвание, сообщалось об аресте Попова, Пульнера, Хороша и меня, при чем добавлялось, что полиция разыскивает и самого Беспалова, «как подписавшего Сережино обращение». Между прочим, и о себе С. Булыгин писал в одном из писем: «Да, Вася, эта война наполнила и мою душу сознанием виновности, ответственности перед Богом за то, что совершается теперь в жизни людей. Я ясно чувствую, что наша обязанность перед Богом—противиться этому ужасному делу, чувствую, что, оставаясь безучастным зрителем развертывающихся кровавых событий, я совершаю грех против любви к людям и становлюсь отступником от Бога».

Кроме писем Булыгина, пристав отобрал у В. Беспалова его

дневник за последние 4 года,—наверное, очень содержательный и ценный,—а также разные письма, обрывки мыслей и статей, написанные на листках бумаги, и т. п.

Из деревни В. Беспалов препровожден был в уездный город Инсар, а оттуда отправлен по этапу в Тульскую тюрьму, куда и прибыл 7 декабря.

Помню, послышался шум на нашем корридоре. Застучало много ног: очевидно, привели новеньких. Голос старшего надзирателя приказывает открыть камеру № 7. Я осторожно приоткрыл пальцем деревянный клапан, прикрывающий снаружи «волчёк», и выглянул в корридор. Как раз в этот момент какой-то худощавый человек, одетый в длинную коричневую крестьянскую свиту с широким воротником, наклонился к своему узлу с вещами, подобрал его и поднял голову. Сердце мое дрогнуло: я узнал худое, осунувшееся, лишенное всякой растительности, серьезное лицо Васи Беспалова.

Еще одной жертвой воззвания стало больше!

ГЛАВА VII.

ДОПРОСЫ ГРУППЫ УЧАСТНИКОВ ВОЗЗВАНИЯ, ОСТАВАВШИХСЯ НА СВОБОДЕ, СНАЧАЛА В КАЧЕСТВЕ СВИДЕТЕЛЕЙ.

Собственно говоря, обыски по адресам, отобранным у Хороша, равно как и случайный обыск у моей матери, не могли значительно подвинуть вперед предпринятые Демидовым розыски, для установления степени распространенности и самой области распространения воззвания «Опомнитесь, люди-братья». Это были, если можно так выразиться, *вторичные,* случайные, а не те *первичные,* основные, пути, по которым рациональнее было бы направить следствие.

В чем же состояли эти «первичные», основные пути? Да, разумеется, в обысках не у Каневских и Кушлейко, адреса которых случайно отыскались в той или другой записной книжке, а у *действительных соучастников* «преступления», т.-е. у тех лиц, подписи которых определенно значились на отобранном Демидовым у Хороша экземпляре воззвания.

Но тут перед следственной властью возникли два затруднения.

Первое заключалось в том, что подписи всех 23 лиц на воззвании не имели при себе адресов. Следовательно, прежде чем обыскать какое-либо из этих лиц, необходимо было установить, кому именно принадлежит та или иная фамилия, и, установивши, разыскать местожительство каждого из означенных лиц. Демидов, как он и похвалялся при допросах, сделал в этом отношении

все, что мог. Вся шпионская организация была им поставлена на ноги. Я уже говорил о том, с каким усердием следственная власть стремилась установить личность А. Иконникова, допросивши на всякий случай пять или шесть Иконниковых в разных местностях России. Точно так же, например, для обнаружения Сергеенко, личность которого была установлена, Демидовым, по его словам, отдано было специальное предписание о розыске «скрывшегося» обвиняемого во все решительно жандармские и полицейские управления Российской Империи. В результате столь серьезных усилий, Демидову удалось-таки разыскать более половины из всего числа лиц, подписи которых значились на экземпляре воззвания, отобранном у Хороша.

Второе затруднение, стоявшее перед следственной властью, было совсем иного,—не внешнего, а как бы внутреннего порядка. Это именно—нерешенность для самих следователей вопроса о том, как смотреть на лиц, не участвовавших ни в составлении, ни в распространении воззвания, а только подписавших его: смотреть-ли на них, как на соучастников преступления, и, следовательно, как на обвиняемых, или же только как на свидетелей?

Странно, но тем не менее, при решении этого вопроса у тульских властей наблюдалось несомненное колебание. С одной стороны, даже не юристу ясно, что все, подписавшие воззвание, суть несомненно участники его и, следовательно, должны нести ответственность за свой поступок. С другой—власти стояли перед перспективой широкой огласки дела, тем более вероятной, чем более расширялся самый масштаб дела, путем привлечения к ответственности все большего и большего количества лиц. Итти на это, пожалуй, было нерассудительно, тем более, что главные виновники преступления находились уже под арестом и возможность дальнейшего распространения воззвания, повидимому, была пресечена.

Может быть, у представителей тульской власти имелись и какие-нибудь другие соображения против «раздувания» дела, но, во всяком случае, факт тот, что первоначально те из участников воззвания, которые лишь присоединили к нему свои подписи, не принимая активного участия в его распространении,—допрошены были не в качестве обвиняемых, а лишь *в качестве свидетелей.* Только позднее,—очевидно, под влиянием некоторых, осложнивших дело, обстоятельств, в том числе, конечно, и инцидента с «распространением» воззвания моей матерью,—взгляд властей на дело изменился. Они придали ему большее, чем вначале, значение и не побоялись облечь его во всероссийский масштаб. Тогда-то все недавние «свидетели» перечислены были в обвиняемых...

Характерно, что и С. Попов, содержавшийся уже в тюрьме по обвинению в распространении воззвания «Милые братья и сестры», допрошен были сначала также именно в качестве свидетеля по поводу воззвания «Опомнитесь, люди-братья», которое

он подписал вместе с другими, но в распространении которого участия не принимал.

Далее, из находившейся на свободе группы обвиняемых, не участвовавших в распространении яснополянского воззвания, первым допрошен был,—по началу,—тоже, как свидетель,—М. С. Дудченко (1 декабря 1914 г.).

Каким образом открыто было местопребывание Дудченко? Об этом находим любопытные сведения в поступившем после «февральской»революции, по распоряжению Временного Правительства, в Московский Толстовский Музей «Деле Канцелярии Тульского Губернатора Секретного стола. О составлении и распространении прокламаций против войны последователями графа Л. Н. Толстого—Маковицким, Булгаковым, Поповым и другими». На 19-й стр. этого дела, в «Постановлении главноначальствующего Тульской губ. от 18 июля 1915 г.», мы встречаем следующие строки: «... Воззвание «Опомнитесь, люди-братья» было послано Булгаковым также и в Полтаву,—некоему Митрофану Дудченко. При обыске у Дудченко, воззвание это найдено не было... *Судя по копии письма, добытого негласным путем, Дудченко к Булгакову* *), Дудченко является деятельным участником в составлении и распространении этого воззвания». Из этих немногих, но вполне определенных строк, явствует, что Демидов пользовался в своих розысках «негласными» или так называемыми «агентурными» сведениями и, что, благодаря именно такого рода сведениям (снова—перехваченное письмо!), установлены были личность и местопребывание—сначала «некоего» для тульских властей—Митрофана Дудченко.

Кто были эти шпионы, действовавшие для Демидова вокруг Ясной Поляны и Телятенок,—сказать, конечно, невозможно!..

Содержание и характер показаний Дудченко, как свидетеля, уже известны. Отметим только, что, по словам Дудченко, «присутствовавшим при обыске понятым, полицейским и жандармам он горячо говорил о незаконности и неестественности войны, по поводу чего было сделано особое донесение в жандармское управление». К несчастью для властей, в этом донесении показания жандармов, полицейских и понятых разошлись между собою, вследствие чего в жандармском управлении предложили самому Дудченко повторить сказанные им при обыске слова, что он и сделал.

Дудченко пришлось несколько раз являться для допросов в Полтавское жандармское управление: его допрашивали то о воззвании «Опомнитесь, люди-братья», то о воззвании «Наше открытое слово». При этом он охотно отвечал на предлагавшиеся ему вопросы, как бы ведя беседу с допрашивавшими, но от подписания протоколов, а также от собственноручного их составления, вся-

---

*) Курсив мой. В. Б.

кий раз категорически отказывался, хотя и примечал нередко, что его слова передавались жандармами в протоколах неточно. Для засвидетельствования протоколов допрашивавшим приходилось обыкновенно обращаться к помощи «понятых», при чем в качестве таковых иной раз приглашались прямо лица с улицы.

Дудченко вспоминал после об одном маленьком инциденте, происшедшем на этой почве. Однажды для подписания дудченковского протокола привели какого-то почтенного вида старичка. Старичек потребовал, чтобы предварительно ему дали прочесть то, что он будет подписывать. Ему отказали.—«Не имею права», —сказал производивший допрос жандармский офицер. Тогда старичек заявил—и вполне резонно,—что под бумагой, содержание которой ему неизвестно, он подписываться не станет. Тут Дудченко вмешался и об'яснил старичку, что ничего страшного для него, Дудченко, в этой бумаге нет, и если он сам отказывается подписать ее, то потому, что считает грехом подписывание таких бумаг... После такого об'яснения старичек и вовсе заупрямился, продолжая еще более настойчиво отказываться от подписания бумаги. В конце концов жандармам удалось все-таки уломать старичка и вынудить у него согласие на подписание протокола, причем подействовал на старичка, главным образом, тот довод, что он будто бы *обязан* «по закону» подписать эту бумагу.

Д. П. Маковицкий, из Ясной Поляны, и Г. И. Лещенко, из Телятенок, одновременно вызваны были повестками жандармского управления в Тулу, для допроса, на 14-е декабря 1914 г. Допрашивали Воронцов и Демидов.

Душан Петрович отвечал на вопросы следователей, поскольку эти вопросы касались его самого, вполне откровенно. (О других он и не мог ничего рассказать, так как, усиленно занимаясь медицинской практикой, очень мало интересовался судьбой воззвания). Душан Петрович подтвердил, что он лично—противник войны: люди, как дети одного Отца-Бога, должны искать общения между собою, а не разобщения. Рассказал о тех поправках, какие он предложил в тексте воззвания. И на вопрос, с какою же, собственно, целью он подписал воззвание, ответил: «из дружественного сочувствия», добавив, что дальнейшая судьба воззвания его не занимала.

После Душан Петрович признавал, что он сделал «ошибку», рассказывая на допросе о своем участии в редактировании воззвания. Действительно, этим наговором на самого себя,—да и не вполне основательным, потому что поправки, предложенные им, были чисто случайного свойства,—Душан Петрович очень повредил себе в глазах тульского начальства. *Только на этом основании,* как я ни пытался после разбить невыгодное впечатление от показаний Душана Петровича своими раз'яснениями, Демидов впоследствии отказал д-ру Маковицкому в освобождении из тюрьмы на поруки.

Впечатления самого Д. П. Маковицкого от первого допроса свелись к тому, что Воронцов показался ему «мальчишкой», а Демидов—злым.

Что касается Г. И. Лещенко, то он отказался от дачи всяких показаний и от подписи.

Вслед за Лещенко и Маковицким, вызван был из Ясной Поляны в Тулу на 15-е число того же месяца юноша А. В. Молочников, допрашивавшийся также совместно Демидовым и Воронцовым. Он показал, что, прочтя воззвание, подписал его. Почему подписал—отвечать отказался. Присовокупил, что не видел в воззвании призыва к населению не участвовать в войне.

17 декабря допрошен был в Москве, тоже пока в качестве свидетеля, Ив. П. Новиков, а 18 декабря, на ст. Лаптево, Москов.-Курской ж. д.,—его младший брат Михаил Петрович.

На станцию Лаптево М. П. Новиков был вызван из с. Боровково повесткой жандармского управления в определенный день к приходу определенного поезда. Для его допроса прикатили из Тулы (перегона за три от Лаптева) Воронцов и Демидов. После допроса Воронцов осведомился, есть-ли у самого Новикова воззвание.

— Да, есть... рукописное.

— Ах, есть?! Гм! — произнес многозначительно товарищ прокурора.

Он немного задумался.

— А сколько верст отсюда до деревни?

— Верст пять...

А погода была плохая и следователям, очевидно, не хотелось ехать... Они ограничились тем, что вместе с Новиковым послали за воззванием урядника, а сами остались ждать на станции. Выдав воззвание посланному, Новиков на станцию уже не поехал.

В первом показании М. П. Новикова, данном следователям, как и после в его речах на суде, слишком явственно проступала тенденция к самооправданию. На суде он будет ссылаться на пример государя императора, созвавшего Гаагскую конференцию, теперь же показывал, что «понятно, по своему религиозному убеждению, не может сочувствовать войне, как проявлению насилия; но, как гражданин,—человек, имеющий собственность,—понимает значение и необходимость ее (т. е. войны) для защиты государства и частной собственности». Новиков раз'яснил, кроме того, что он даже «лично жертвовал на надобности войны и в первых числах ноября с. г. писал г-ну тульскому губернатору о лучшем способе сбора пожертвований на войну, а именно предлагал собирать сходы, а не ограничиваться сбором в кружки». Демидов проверил это последнее заявление Новикова, наведя соответствующую справку в канцелярии тульского губернатора, и убедился, что Новиков сказал правду.

Рассказываю здесь об этом не в упрек Новикову, а, просто,

для полноты изложения. Как говорится: из песни слова не выкинешь. К тому же для меня остается вполне допустимым предположение, что практичность, положительность, хозяйственность и трезвость ума, присущие Новикову, как типичному и при том образцовому крестьянину, действительно, могли послужить той почвой, на которой основывалось его «гражданское» самосознание, на ряду с религиозным. И для него могло не быть противоречия там, где оно является неоспоримым с точки зрения нашего теоретического понимания.

В канун Рождества, 24 декабря, допрошен был в г. Владимире—на Клязьме, Р. А. Буткевич, проживавший здесь после высылки его из Тульской губ., в результате слишком откровенного письма к воинскому начальнику с оценкой современных событий.

Благородной смелостью дышат многие строки показания безвременно угасшего юноши:

«... Сведения о моем вероисповедании я сообщаю по паспорту, сам же я считаю себя христианином и человеком.

... Со всеми этими лицами я был близок по духу, но ближе других был ко мне Булгаков.

... То лицо, которое дало мне подписать возвание, где, когда и при ком, назвать по фамилии—не желаю, из боязни, что я причиню кому-либо вред.

... В распространении воззвания личного участия не принимал, но знал, что оно предназначено для распространения в обществе, как русском, так и за-границей.

... Давая настоящее показание, я чувствую все более и более, что принимаю участие в деле, которое, по моему мнению, не согласуется с христианским любовно-братским отношением к людям».

29 декабря допрошен был на ст. Лаптево односельчанин Новиковых И. М. Гремякин, показание которого уже приводилось мною, равно как и упоминалось о нарочитом любопытстве Демидова: не подговаривал-ли Гремякина Мих. Новиков к подписанию воззвания.

2 января 1915 г. в Москве, у Чертковых, покинувших на зиму Телятенки, допросили К. Д. Платонову. Она отказалась отвечать почти на все вопросы, сказавши лишь о самой себе, что «воззвание» подписала собственноручно и знала, что оно будет распространено».

13 января допрошены были в Москве, у Чертковых же, П. Н. Олешкевич и А. Е. Никитин-Ховянский.

Олешкевич отказался отвечать на вопрос о знакомстве с лицами, подписавшими возвание, а равно и на все другие вопросы. Он не отказался, однако, удостоверить, что подпись на воззвании «Опомнитесь, люди-братья», принадлежит ему и что подписал он воззвание собственноручно, сочувствуя его содержанию. Будет-ли

воззвание распространяться, он в то время не знал. В составлении и распространении воззвания участия не принимал.

Никитин-Хованский показал, что воззвание «Опомнитесь, люди-братья» он лично не подписывал, но согласие на помещение своей подписи под ним дал, при чем не задавался вопросом, будет-ли оно распространено. На большинство других вопросов Никитин-Хованский отвечать отказался.

В г. Тюмени, Тобольской губ., допрошен был А. В. Архангельский, тогда уже тяжко больной (туберкулезом костей) и дававший свои показания, лежа в постели. Как и всем, ему был предложен вопрос о личном знакомстве с другими лицами, подписавшими воззвание. Он указал на меня и на Тверитина. Показал, что воззвание прислано было ему мною и, что он лично подписал его в Тюмени же, не позже конца сентября 1914 г. Полиция не посовестилась тревожить больного и произвела в занимаемом им помещении обыск, оказавшийся безрезультатным.

В дальнейшем все допросы лиц, подписавших воззвание, сопровождались уже арестами и к ним пред'являлось формальное обвинение.

ГЛАВА VIII.

АРЕСТ ТВЕРИТИНА И ЛОБКОВА В ТОБОЛЬСКЕ.

Исключением из общего правила явился арест В. Д. Тверитина и З. И. Лобкова в Тобольске: эти лица, оба подписавшие воззвание «Опомнитесь, люди-братья», арестованы были не по предписанию Демидова, а благодаря самостоятельной инициативе тобольских властей, которые при этом лишь случайно, во время обыска, выяснили причастность молодых людей к яснополянскому воззванию. Демидов же впоследствии только воспользовался плодами тобольского обыска.

В конце осени 1914 г. В. Тверитин покинул имение Булыгиных и Тульскую губ., чтобы вернуться снова на родину, в Сибирь. У него было страстное желание поделиться теми сведениями—о религии, о государстве, об отношении к жизни вообще, которое он позаимствовал от своих новых друзей—хатунских, яснополянских и телятенских,—с обитателями далекой сибирской окраины. В частности, он рассчитывал в городах Тюмени и Тобольске завязать сношения на этой почве с своими прежними товарищами из числа учащейся молодежи.

По приезде в Тобольск В. Тверитин сошелся с своим одногодком, сыном тобольского купца Залманом Лобковым, подпись которого уже значилась под воззванием «Опомнитесь, люди-братья». Лобков вполне сочувствовал стремлениям Тверитина.

Молодые люди задумали совместно выступить в Тобольске с

воззванием против войны. Тверитина, очевидно, не удовлетворял сдержанный язык и, вообще, несколько отвлеченный характер не только тульского, но и яснополянского воззвания. Он искал резких, определенных форм для выражения своих мыслей,—прямого призыва, ничем не затушевываемых обличений,—словом, стремился поставить точки над i. Им написано было новое воззвание против войны, под названием «Во имя Бога, во имя совести», структура которого составилась отчасти из мыслей и фраз воззвания «Опомнитесь, люди-братья», отчасти из вновь добавленного Тверитиным текста.

Вот некоторые, более самостоятельные, выдержки из воззвания Тверитина:

«Во имя Бога, во имя Совести, во имя сострадания к людям, вашим братьям, умоляем вас:

Опомнитесь от увлечения этой низкой братоубийственной войной, не верьте рабам насилия, которые ее называют «Священной войной за мир народов». Не верьте своим духовным и телесным насильникам, попам и правительству. Вас отдают в руки палачей, которые гноят вас в тюрьмах, вешают, расстреливают и благословляют все казни, все преступления правительства.

... После этой войны не может быть всеобщего разоружения, потому что правительство только и может существовать, опираясь на штыки солдат. Правительство обманывает народ, уверяя его, что интересы небольшой кучки вредных, безнравственных людей есть интересы страны.

Милые братья, поймите: вся сила правительства в вас самих, в вашем рабском послушании и покорности ему... Опомнитесь! Довольно быть его рабами, палачами своих братьев, быть убийцами, пушечным мясом. Пора быть человеком. Братья, встаньте на защиту в себе всего хорошего, поступайте согласно своей совести, не верьте попам, не служите правительству, отказывайтесь от военной службы, от войны, срывайте погоны, бросайте ружья, а те, у кого еще нет их, отказывайтесь брать их, не давайте клятв убивать людей и, если придется, не бойтесь страдать за правду, любовь и свободу!

... Все, все, в ком есть совесть, личность, кто чист душой, кто смел, кто не раб, кто не хочет умереть убийцей, кому дорога свобода и справедливость,—все требуйте прекращения войны!

... Милые братья, откажитесь от насилия правительства, этого требует от вас христианство.

Ваши братья *З. Лобков, В. Тверитин*».

Беспорядочное, непоследовательное, незрелое,—воззвание, очевидно, написано неопытной детской рукой. О цельности мировоззрения, выраженного в нем, и говорить не приходится. Это, конечно, и не христианство, и в то же время—не чистая революционность, но бесформенное смешение того и другого. С одной

стороны, «во имя Бога, во имя совести», люди призываются «встать на защиту *в себе* всего хорошего»; с другой, к призывам пострадать «за правду, любовь» уже примешивается призыв пострадать *за свободу,* а после возгласов «срывайте погоны, бросайте ружья», почти чувствуется еще не высказанное, еще прячущееся, но уже наростающее в груди автора: «и обращайте эти ружья на насильников»!

Юноша Тверитин, присоединившись к христианству, заинтересован им, главным образом, не в том суб'ективном значении, какое оно прежде всего должно иметь для него самого, а в об'ективном и всеобщем, именно—поскольку от распространения христианского учения можно ожидать освобождения и спасения не его Тверитина, а всего страждущего человечества.

В этом—духовная незрелость Тверитина и шаткость почвы, на которую он вступил. Потеряв доверие к единственному, незыблемому для христианина принципу—*не внешней целесообразности, а внутренней, нравственной самоценности поступков,*—Тверитин постепенно как бы докатывается по своего рода наклонной плоскости до откровенного признания необходимости внешнего, насильственного воздействия на врагов истинного, справедливого порядка вещей, и в 1918 г. мы увидим его уже среди деятелей октябрьского переворота...

Молодые люди решили ночью расклеить свое воззвание по городу.

16 декабря 1914 г., днем, в квартире Лобковых, собрались Залман Лобков, В. Тверитин и еще один их товарищ и сверстник, некто Константин Наумов, сын священника. Нужно было размножить воззвание.

Вениамин Тверитин сидел за столом, на котором приготовлена была пачка белой бумаги, и переписывал от руки свое воззвание:

«... Не служили бы в солдатах, не платили подати, не»...

Он не успел докончить фразы, как распахнулась дверь, и наряд полиции,—очевидно, кем-то предупрежденной,—ворвался в комнату. Молодые люди были накрыты.

Как у Тверитина, так и у Лобкова при обыске обнаружены были готовые экземпляры всех трех воззваний. Блестящей находкой для следственной власти явился экземпляр воззвания «Опомнитесь, люди-братья», с 36 подписями участников, из которых Демидову до сих пор не известны были подписи: пятерых Радиных, Иконникова, Губина, Крашенинникова, Беспалова, Пульнера, Мельникова, Чехольского и Лобкова; кроме того, подпись Дудченко сопровождена была неизвестной доселе следствию припиской... Все эти подписи и приписку Дудченко Тверитин собственноручно перенес в свой экземпляр воззвания «Опомнитесь, люди-братья» с моего, посетив меня в Ясной Поляне 27 октября

1914 г., т.-е. как раз накануне дня моего ареста и на утро после первого визита подп. Демидова в Ясную Поляну.

У Наумова при обыске не нашли ничего.

При допросе Тверитин отказался отвечать на какие-бы то ни было вопросы. Что касается Лобкова, то он подтвердил, что подпись на воззвании «Опомнитесь, люди-братья», принадлежит ему и сознался, что давал читать кое-кому из знакомых отобранные у него воззвания, но на вопросы, касавшиеся, хотя бы косвенно, других лиц, отвечать также отказался.

В результате обыска Тверитин и Лобков были арестованы и препровождены в тобольскую тюрьму. Копии же с отобранных у них бумаг (в том числе три фотографических снимка с воззвания «Опомнитесь, люди-братья») немедленно пересланы были тульскому жандармскому управлению.

ГЛАВА IX.

ПРОВОКАЦИЯ И ПРЕДАТЕЛЬСТВО ОКРЕНТА (ИВАНОВА) В ТУЛЬСКОЙ ТЮРЬМЕ.

Пока Демидов производил таким образом предварительное «обследование» всей группы лиц, присоединивших свои подписи к воззванию вслед за инициаторами, в Тульской тюрьме, где содержалась часть обвиняемых, произошла довольно некрасивая и печальная история, близкая к действительной провокации и окончившаяся возведением дополнительного обвинения против С. Попова и В. Беспалова.

Попов, Беспалов и Пульнер содержались вместе в одной камере № 7 нашего корридора (8-го отделения тюрьмы). В начале декабря 1914 г. в эту же камеру подсажены были еще два новых арестанта: молодой и довольно приятный на вид казак Ермаков, рассказывавший нам о себе, что он арестован чуть ли не за отказ от военной службы, но на самом деле, как мы узнали стороной, провинившийся, кажется, в мошеннической реквизиции скота, путем подделки печати, и некто мещанин Окрент, называвший себя также Матвеевым, а в тюремные списки занесенный под именем Иванова.

Окрент-Матвеев-Иванов, человек крайне развязный, как-то удивительно быстро освоился с тюремными порядками и в первые же дни своего заключения сумел перезнакомиться со всем подневольным населением шести камер «политического» коридора. Он ходил по «волчкам» и вступал в разговоры с заключенными.

Наружность у Окрента была крайне неприятная. Прежде всего, он был хромой: одну ногу заменяла у него деревяшка и он передвигался только при помощи костылей. Лицо его, нездоро-

вое, одутловатое и бледное, изрытое преждевременными морщинами, с маленькими, заплывшими, но быстрыми и хитрыми глазами, производило отталкивающее впечатление.

Окрент сам, с циничной откровенностью и как бы похваляясь, сообщил нам подробности о своей вине, которая состояла в том, что он устроил ловкую спекуляцию именно на своем физическом недостатке—отсутствии одной ноги.

Он, видите ли, нарядился в форму прапорщика, повесил себе на грудь Георгия и вместе с своей сожительницей, одетой в костюм сестры милосердия, начал, в качестве тяжело раненого офицера, раз'езжать по деревням и взывать к милосердию мужичков. Он рассказывал им, что участвовал в войне с немцами, лишился ноги и, вот, теперь остался без всяких средств к жизни. «Сестра» подтверждала рассказ «офицера», и деревня, вспоминая своих братьев, мужей и сыновей, ушедших на войну, спешила помочь несчастному калеке-воину. Случалось, по словам Окрента, что само деревенское начальство, в лице урядника или пристава, стремилось облегчить безногому «офицеру» сбор пожертвований. Офицер даже позволял себе покрикивать на представителей сельской власти, если они плохо старались.

И так «офицер», по его словам, набрал будто бы до 10.000 рублей. Проделка сорвалась, благодаря тому, что в одном месте вздумали положить бедного прапорщика в больницу и, несмотря на его протесты, освидетельствовать ему ногу... После освидетельствования прапорщик и был помещен в камере Тульской тюрьмы, точно так же, как и сестра милосердия...

Нечего и говорить, что одним только этим рассказам Окрент вызвал к себе среди заключенных вполне определенное отношение—брезгливости. Над ним подсмеивались и шутили, но в то же время избегали и сторонились его. Окрент, казалось, не мог не замечать этого, и, однако, это не помешало ему вступить со всем корридором в самые фамильярные отношения. Во время утренней и вечерней «оправки» он постоянно шнырял от одного волчка к другому, ловко изворачиваясь на своих костылях, чтобы не быть замеченным надзирателем, и выпрашивал то табачку, то кусочек сахару... Обращался он к нам с наименованием «товарищ», а затем, прислушавшись к нашим взаимным обращениям, стал называть всех нас просто: Валя, Сережа, Мотя и т. д. Нам это не нравилось, но мы молчали.

Обнаглел Окрент и в своих отношениях к тюремному начальству. Надзиратели не жаловались на его выходки, а начальство не сажало его в карцер, только жалея его за уродство. Часто по вечерам, приставляя губы к волчку, он довольно неискусно, но очень назойливо кричал петухом и квакал кукушкой, чем несказанно раздражал отошедшего куда-нибудь в сторону дежурного надзирателя.

— Тебе, калека, надо Бога молить за помин души, а ты

петухом кричишь!—воскликнул один старенький надзиратель, изливая свой гнев на бедного Окрента.

Иногда мы удивлялись, почему собственно Ермаков и Окрент, оба обвиняющиеся в поступках чисто уголовного характера, помещены в 8-е полицейское отделение тюрьмы. В этом было что-то подозрительное... Но так как бывали случаи, что и раньше подсаживали к нам уголовных, особенно из разряда «привилегированных» — купцов или бывших чиновников, то мы мало-по-малу перестали обращать внимание на новую пару и привыкли к ней.

Однажды, пользуясь тем, что дежурил добрый надзиратель, позволявший нам при «оправке» подбежать не надолго к одному-другому волчку и перемолвиться несколькими словами с приятелями, я подошел к двери Сережи Попова и поздоровался с ним.

— А ты пишешь воззвание, брат Валя? — спросил Сережа, стоя по другую сторону запертой двери у волчка.

— Какое воззвание?

— Мне брат Окрент сказал, что ты обещался написать для него свое воззвание... «Опомнитесь, люди-братья». Я уже написал ему воззвание «Милые братья и сестры»...

В это время из-за плеча Сережи показалась голова сидевшего вместе с ним в камере Окрента.

— Не правда ли, товарищ Булгаков, вы напишите мне воззвание «Опомнитесь, люди-братья»? А я скоро выйду из тюрьмы, уеду на родину, в Севастополь, и там буду распространять воззвание...

Какой-то мутью обдало душу. Я понял, что Окрент солгал Сереже, но так как он находился тут же, у волчка, то мне неприятно было прямо разоблачать его перед наивно-доверчивым Сережей. и я ответил неопределенно:

— Я подумаю...

— Вот, брат Сергей уже дал мне свое воззвание,—продолжал Окрент.—Я его так запрятал!.. Вот тут... (Окрент постучал рукой по кожаной обшивке рукоятки одного из своих костылей). Пускай-ка попробуют найти при обыске!.. Пожалуйста, товарищ!

После этого разговора я понял, что Окрент, воспользовавшись голубиной чистотой Сережи Попова, сумел выманить у него воззвание для какой-то неведомой цели... Я не мог, разумеется, думать, чтобы Окрент, действительно, предполагал заняться пропагандой воззвания в Севастополе. Правда, он и раньше говорил, что Севастополь—его родина и что там живет его отец—«богатый присяжный поверенный Матвеев», но слишком грязны были руки этого человека, чтобы кто-нибудь,—кроме, разве, Сережи Попова,—мог доверить ему какое бы то ни было идейное дело.

Между тем, Сережа Попов,—не писавший сам, когда у него

под рукой был такой прекрасный секретарь, как В. Беспалов,— продиктовал последнему еще один экземпляр воззвания «Милые братья и сестры», заученного им уже наизусть. Этот второй экземпляр он передал Ермакову, также выразившему желание распространять воззвание по выходе из тюрьмы.

Во второй половине декабря Окрент и Ермаков внезапно исчезли из нашего корридора. Оказалось, что Ермакова перевели в другое отделение, а Окрента совсем выпустили из тюрьмы,—на каком основании, никто не знал: его не судили, следствие по его делу, кажется, не было закончено, никакого определенного срока, назначаемого административной властью, он тоже не высидел... Это показалось странным.

Почему-то Окрент непосредственно из тюрьмы был доставлен к начальнику Тульского сыскного отделения, моложавому бритому суб'екту г. Мотину, изображавшему из себя, как говорили туляки, местного Шерлок-Холмса. И этому-то Шерлок-Холмсу Окрент, оказавшийся неожиданно большим патриотом, вручил два экземпляра переписанного Беспаловым под диктовку Попова на обороте «Телеграмм Петроградского Агентства» воззвания «Милые братья и сестры», а также целый ряд разных записочек Попова и Беспалова—мыслей о «суеверии государства», «суеверии церкви» и «суеверии науки», рассуждений о смерти, о Боге и любви и т. д. Он рассказал также, что Попов постоянно вел в тюрьме беседы о войне с подходившими к его камере арестантами, говоря, что «войну вести не нужно»; что Попов и Беспалов «писали это на бумаге и передавали в другие камеры через уборщиков» и, наконец, что через одного уголовного арестанта, Кадзюлиса, Попов и Беспалов «пересылали воззвания против войны в город».

Окрент, по его словам, «тайно взял» один экземпляр воззвания у Попова, чтобы после уличить его; другой экземпляр он также «тайно взял» у Ермакова, получившего воззвание от Попова же. (Ермаков, довольно долго после того остававшийся в тюрьме и старавшийся, при случайных встречах с нами, всячески обелить себя и отделить от Окрента, рассказал нам, что Окрент ночью, во время его сна, вырезал из-под подкладки его пальто спрятанный туда листок с воззванием).

«Повторяю,—добавлял (28 декабря 1914 г.) в своем показании Окрент,—что я взял воззвание не для распространения, а для того, чтобы уличить тех людей, которые, по моим взглядам, приносят большой бред государству, ведущему войну».

Заявлению Окрента был дан ход. Начальник сыскного отделения обо всем донес Демидову и следственная машина заработала. Допросили Ермакова, который,—как он нам после рассказал,—стал, было, запираться, но Окрент на очной ставке заставил его признаться в получении воззвания от Попова и, вообще, подтвердить донос. 30-го декабря «пред'явили» Окренту

Ивана Кадзюлиса, содержавшегося в тюрьме с 14 декабря 1913 года за отказ по религиозным убеждениям от военной службы, и доноситель признал в нем именно того арестанта, который, по поручению Попова и Беспалова, отправляясь с партией на работы в город, передавал воззвания на волю. С своей стороны, Кадзюлис заявил, что он никаких воззваний из тюрьмы на волю не передавал и что только один раз он получил от Беспалова, в уборной, запечатанный пакет для передачи на волю. Пакет этот он передал другому арестанту, так как в тот раз на работу в город не выходил, и не только не знает, что̀ было в пакете, но даже не полюбопытствовал поглядеть, кому он адресован.

Допрошены были обвиняемые. В. Беспалов не отрицал, что он писал воззвания под диктовку Попова,—при том одно из них—для Ермакова, по его просьбе; что же касается пакета, переданного им Кадзюлису, то в пакете этом заключались вовсе не воззвания, а просто письма его и Попова к Сергею Булыгину.

Что касается С. Попова, то на этот раз он не порадовал почтенного подп. Демидова своей откровенностью. Наоборот, на любопытство следователя, желавшего, кстати, допытаться у Попова и о некоторых подробностях разговора его с солдатами при аресте близ завода, обвиняемый реагировал крайне своеобразно. Именно, на все решительно вопросы подп. Демидова Сережа отвечал одной и той же стереотипной фразой, которую он употреблял обычно в качестве приветствия:

— Мир духу твоему!

О чем бы его Демидов ни спрашивал, Сережа неизменно повторял в ответ:

— Мир духу твоему!..

И только. Как ни бился Демидов, он никакого другого ответа от Сережи не получил.

На суде С. Попов так рассказал об инциденте с Окрентом:

— Показание Окрента о том, что я, сидя с ним в одной камере, вел пропаганду—неправильно. Я только делал всегдашнее дело своей жизни. Я полагаю дело своей жизни в том, чтобы быть добрым со всеми людьми, а пропагандой я не занимался. Отвечая на просьбы арестованных, я и делился с ними своими мыслями о смысле жизни. Также Ермакову и в тюрьме я передавал мысли, считая, что это—дело моей жизни, дело любви к братьям—людям. И если кто предлагал мне вопрос о Боге, о душе, то я с радостью отвечал по своему разумению. Были вопросы и о войне, и мои ответы на эти вопросы были очень похожи на мое воззвание. В моем воззвании выражен весь смысл моей жизни, а о войне в нем одна только капелька, пожелание, чтобы братья-люди пожалели, не убивали друг друга.

Я говорил о смысле жизни и брату Окренту и на его просьбу написал и мое воззвание, как выражение моего жизнепонима-

ния и вообще из любви и уважения к тому духу Божию, который в брате Окренте.

«*Председатель.* Так что вы отвечали на их просьбу, на вопрос: в чем вы полагаете смысл жизни, а не только о войне?

Попов. Да, да, о смысле жизни, о Боге, о смерти. Ведь мое воззвание есть выражение смысла всей моей жизни. Оно не есть отношение только к войне, а в нем выражено мое отношение к Богу и ко всему бесконечному миру, так сказать, моя религия, моя любовь к истине, к Богу.

Председатель. А вот Окрент говорит, что вы передавали на волю воззвание против войны?

Попов. Нет, я не передавал такого воззвания. Это могло показаться брату Окренту, что я передал. Ведь он не говорит, что я передавал наверно воззвание, а что я передал бумагу. Вообще, я передавал только мысли о смысле жизни».

На основании доноса Окрента и показания Ермакова, Попову и Беспалову было пред'явлено дополнительное обвинение в том, что «содержась в Тульской губернской тюрьме, в декабре 1914 года, они вели пропаганду среди арестантов, склоняя их воздействовать, по освобождении из тюрьмы, на население, с целью убедить не принимать участия в настоящей войне, воспроизвели воззвание «Милые братья и сестры» в нескольких экземплярах и с тою же целью передали их для распространения арестантам при освобождении последних из тюрьмы».

По окончании общего следственного дознания по нашему делу и по ознакомлении обвиняемых с делопроизводством, я представил (2 июля 1915 года) свои возражения и дополнения, между прочим, и по поводу доноса Окрента.

«Некто Окрент, личность темная во всех отношениях, понадобился начальнику сыскного отделения для услуг»,—писал я в начале показания и, после рассказа об истинном поведении доносчика по отношению к Попову, добавлял: «От всего этого дела,—надо сказать прямо,—пахнет провокацией. Да не будет принято это заявление в том смысле, что я обвиняю какое-либо должностное лицо. Положительно об'ясняю, что я имею в виду только одного Окрента, т.-е. я называю его провокатором потому, что он сам вызывал преступления и потом доносил на них, надевая личину верного слуги государства, вместо употреблявшейся в обществе «политиков» личины их товарища... Тем не менее, на мой взгляд представляется необходимым допросить г. начальника Тульского сыскного отделения, в качестве свидетеля, о личности Окрента. Быть может, Окрент был недобросовестным агентом сыскного отделения. Установление этого обстоятельства пролило бы новый свет на наше дело».

Нечего и говорить, что Воронцов и Демидов, по каким-то формальным поводам, отказали мне в удовлетворении ходатайства о допросе начальника сыскного отделения. При этом

формальные поводы значились в официальной бумаге, а устно мне было заявлено буквально следующее:

— Помилуйте, да если начальник сыскного отделения станет называть всех своих агентов, то у него тогда никто служить не останется!..

Ответ—достойный тех, кто давал его!

Донос Окрента сыграл огромную роль в нашем деле, и не потому только, что Попову и Беспалову было пред'явлено дополнительное обвинение. На ряду с раскрытием посылки воззвания в Томск, донос Окрента если не убедил властей, то дал им повод *чувствовать себя убежденными* в том, что «толстовцы», распространяя воззвания, отнюдь не ограничиваются сферой единомышленников. Раздражающее психологическое воздействие доноса на настроение властей усугублялось еще картиной того,—мнимого, правда,—упорства, которое проявляли «толстовцы»: даже арестованные, даже из тюрьмы продолжая свое фанатическое дело—распространения воззваний.

О неугомонности «толстовцев» (разумеется, вину одного несли и другие) было доложено губернатору, о ней протрубила, между прочим, местная газетка, а к самим арестованным был применен небывалый по строгости режим, о котором будет рассказано дальше.

ГЛАВА X.

АРЕСТЫ НЕКРАСОВА, Д-РА МАКОВИЦКОГО, МОЛОЧНИКОВА, ГРЕМЯКИНА, БУТКЕВИЧА И БРАТЬЕВ НОВИКОВЫХ.

После доноса Окрента тульские власти, можно сказать, с обновленной энергией принялись за «дело толстовцев». Нет сомнения, что высшая губернская административная власть, в лице губернатора Тройницкого, все время извещалась о ходе дела и, почти наверное, все наиболее ответственные шаги предпринимались следствием по одобрению свыше. Это ясно и из той роли, которую впоследствии сыграл Тройницкий в нашем деле, и из самой значительности дела, и из сорвавшейся однажды у Демидова, в разговоре со мной, фразы о том, что он-де недавно повстречался с губернатором, и тот спрашивал у него, как подвигается следствие по нашему делу.

Есть неизвестно откуда зародившаяся и мало вероятная версия о том, что начавшиеся в январе месяце 1915 г. поголовные аресты всех подписавших воззвание совпали по времени с недавним приездом в Тулу царя, которому будто бы было доложено о нашем деле в отчете о состоянии губернии и, по одним сведениям, царь, по другим—шеф жандармов Джунковский, посетивший жандармское управление, распорядился будто бы с беспощадной строгостью довести «дело толстовцев» до

конца. Версию эту передавала мне, со слов тульских старожилов, А. К. Черткова. К сожалению, в моих руках нет никаких более конкретных данных, которые могли бы подтвердить эту версию.

Но, так или иначе, в последующем мы имеем дело с двумя фактами: 1) с чрезвычайной, не ослабевающей, но все возрастающей, озлобленностью тульских властей, начиная с губернатора, против «толстовцев» и 2) с переменой точки зрения следственной власти на значение участия в воззвании лиц, только подписавших его, перечисленных в январе 1915 года из разряда свидетелей в разряд обвиняемых по делу.

Обыски и аресты быстро следовали один за другим, насколько только позволяла Демидову его осведомленность относительно личностей и местопребывания участников воззвания.

Первым из второй категории обвиняемых арестован был 15 января 1915 года, в дер. Кривско, Демянского у., Луцкой вол., Новгородской губ., крестьянин В. П. Некрасов.

Едва ли Демидову удалось бы открыть местопребывание Некрасова, если бы не посчастливилось ему перехватить открытку ко мне Некрасова от 12 декабря 1914 года, с сообщением об аресте друга его Шурупова за отказ от военной службы. Открытка подписана была инициалами «В. Н.» и адресована на мое имя в Ясную Поляну: Некрасов еще не знал о моем аресте.

В официальном «Деле Канцелярии Тульского Губернатора Секретного Стола о составлении и распространении прокламаций против войны последователями графа Л. Н. Толстого», хранящемся в Московском Толстовском музее, на стр. 21 (в «Постановлении Главноначальствующего Тульской губ. от 18 июля 1915 года») значится:

«*По поступающим к Булгакову письмам* было обнаружено местожительство подписавшего составленное им воззвание кр. В. Некрасова...» и т. д.

Очевидно, Демидовым отдано было распоряжение почтовой конторе на ст. «Засека» задерживать и направлять в жандармское управление всю корреспонденцию, адресованную на мое имя. В числе ее ему было доставлено и открытое письмо Некрасова.

Собственно, инициалы «В. Н.», которыми была подписана открытка, еще не давали прямого ответа Демидову о личности автора письма. Но, руководствуясь верным полицейским чутьем и сличением инициалов с подписями на воззвании («В. Н.»—«В. Некрасов»), а также указанием почтового штемпеля «Демянск Новг.», Демидов предпринял шаги к разысканию Некрасова. Шаги эти увенчались успехом.

Полиция, в лице пристава и урядника, сопровождаемая понятыми из числа местных крестьян, явилась к В. П. Некрасову в 11 ч. утра 15 января.

Пристав прежде всего осведомился об его имени, отчестве и фамилии' Некрасов отвечал.

— Это вы писали эту открытку на имя В. Ф. Булгакова?— спросил затем пристав, пред'являя Некрасову открытку.

— Да, я.

У пристава не оставалось сомнений, что перед ним то лицо, которое он ищет.

— Покажите пожалуйста, где помещается ваша библиотека?

Некрасов показал. И вот, начиная с 11 часов утра и до 5 ч. вечера, пристав занимался исключительно просматриванием довольно значительных книжных запасов Некрасова, состоявших не только из произведений Л. Н. Толстого и родственных изданий «Посредника», но и из сочинений по различным отраслям знания. Некрасов всегда усердно занимался самообразованием.

Тут же, в книжках, попался приставу и экземпляр воззвания «Опомнитесь, люди-братья», вместе с моим письмом к Некрасову о подписании воззвания. Кроме того, из бумаг пристав отобрал одно давнишнее письмо Трегубова к Некрасову, а также два *проекта* заявления Некрасова в Демянское воинское присутствие об отказе его от военной службы по религиозным убеждениям.

Пока полицейский таким образом был погружен в исследование некрасовской библиотеки, тщательно, от корки до корки, перелистывая каждую книжку, изба все наполнялась и наполнялась народом. Кроме родителей Некрасова, домашних и понятых, стали собираться и все остальные кривские крестьяне. Пристав несколько раз приказывал им очистить избу, но безрезультатно. Вторая половина избы не могла вместить всех посетителей. и они толпились в обыскиваемом помещении. Были среди них не только мужики, но и бабы с грудными ребятами.

Многие мужики и бабы говорили приставу:

— Если бы все люди были такие, как наш Некрасов, которого вы приехали забирать, так тогда бы не надо было ни замков, ни тюрем, ни пушек, ни войны!.. Коли по-Божьи жить, так не только человеку человека не надо убивать, да брат на брата идти, как на войне, а любить да жалеть, да всяко помогать друг другу надо!.. А то мы Богу молимся, а чорту веруем...

— Не разговаривать!—крикнул пристав на толпу.

Многие испугались начальственного окрика и выскочили в другую половину избы.

Там тоже шли разговоры.

— А на мой характер, не так нужно!—говорил один из мужиков.—С этими людьми по-Божьи не обойдешься: у них никакого Бога, ни совести нет... Как у цыганов... А вот взяли бы мы все по хорошей дубине,—да и гнать бы, гнать их до самого Демьяну (Демянска), без оглядки!..

— Да оно, пожалуй, так, хрестовый!—говорил другой му-

жик.—Подумай только, за что приехали, змеи, забирать парня, как разбойника, али вора какого? Ведь он не то что зла никому не сделал у нас на деревне, а и воды-то не замутил! Удивительное дело, зачем приехали!..

Наконец, пристав, окончив просмотр библиотеки и обшарив все углы и закоулки в избе, предложил Некрасову одеваться, чтобы ехать в город.

Тут поднялся плач. Плакали отец с матерью, плакали домашние... Некоторые снова начали проклинать войну и полицию, ругать пристава.

Наконец, Некрасова усадили в сани и повезли в тюрьму, в г. Демянск.

— Не увидим теперь Некрасова! Расстреляют или замучают его!—говорили крестьяне.

А бабы, с детишками на руках, глядели на него, кланялись, плакали и утирали слезы...

По дороге пристав, сидевший вместе с арестованным, пытался вразумить его насчет его заблуждений.

— Неужели вы думаете, Некрасов, и верите серьезно, что воевать грешно? Ведь если мы перестанем сопротивляться и воевать, то придут немцы или другие народы, поработят всех нас, и не будет нашей родины, России. Неужто не надо бороться? Ведь хорошо, кабы все народы прониклись христианским сознанием, как вы, тогда, может быть, власть и не будет нужна. А то смотрите, сколько есть людей, настоящих хулиганов, которым ничего не стоит убить, ограбить человека,—так как же власть не нужна? Уничтожьте власть, и завтра же составятся целые банды и шайки разбойничьи, которые пойдут грабить, убивать, воровать, зная, что никто их наказывать не будет. А большинство людей нравственно живет только из страха перед наказанием, боясь, как-бы их не наказали и в тюрьму не посадили...

— Господин пристав, одно вам скажу,—отвечал Некрасов,—есть-ли такие воображаемые разбойники, которых вы боитесь, я не знаю, но только человек, как разумное существо, должен стоять выше всякой животной борьбы. А пока люди будут считать себя не всемирными братьями, а подданными или гражданами того или другого государства,—не будет мира среди людей!

По приезде в уездный город, отстоявший от деревни за 15 верст, Некрасов отправлен был сначала в полицейское управление, где он и пробыл суток пять, в камере, кишевшей клопами, вшами и т. п. паразитами, не дававшими ни минуты покою. Затем, под конвоем стражников, его перевели в Демянскую уездную тюрьму, где и заточили в одиночную камеру.

При первом допросе (14 декабря 1914 г.), Демидов сказал Д. П. Маковицкому, что будет еще дополнительный допрос, и, действительно, на 19-е января нового года Маковицкий, а также Молочников и Лещенко, снова вызваны были повестками в Тулу.

Лещенко почему-то не выехал из Телятенок, а Душан Петрович с Молочниковым отправились из Ясной Поляны на одной подводе. По прибытии в жандармское управление, их просили подождать, пока подойдет тов. прокурора Воронцов, при чем Демидов пробормотал что-то об аресте, но так неясно, что Душан Петрович скорее *догадался* о смысле фразы. Действительно, после допроса в присутствии товарища прокурора, Молочников и Маковицкий были арестованы и, в сопровождении двух жандармов, отправлены в тюрьму.

Когда их вели, яснополянская подвода следовала за ними по середине улицы. У тюрьмы Душан Петрович распрощался с крестьянским мальчиком, правившим лошадью, и забрал из саней полушубок и валенки...

Величественный начальник тюрьмы (которого впоследствии С. А. Толстая приняла до виду за генерала), два раза входил в контору и выходил обратно, поглядывая на новых арестантов. Душану Петровичу показалось, что он ждет, чтобы ему поклонились. Но Душан Петрович не поклонился. «Как знать,—думал после Душан Петрович,—не оттого-ли мне отвели плохую камеру»? (Он после пригляделся к мстительному характеру начальника тюрьмы).

Вновь приведенных рассадили не только по разным камерам, но и в разные отделения тюрьмы. В то время, как Молочников попал в «привилегированное» до известной степени, 8-е политическое отделение, где уже содержались Попов, Беспалов, Пульнер, Хорош и я,—Д. П. Маковицкого отвели в совершенно противоположный конец громадного здания тюрьмы, а именно в корпус ремесленников: портных, столяров, слесарей, сапожников, лапотников и т. д., и здесь посадили в маленькую холодную одиночную камеру.

Провели Душана Петровича в камеру корридором подвального этажа, со спертым и смрадным воздухом, поразившим его; приехал он в тюрьму с инфлуэнцией,—хорошо еще, что была теплая одежда; сидеть в течение 10 дней пришлось совершенно одному и без всякой возможности снестись с содержавшимися в той-же тюрьме товарищами по делу; чувство человеческого достоинства протестовало против оскорбительности ареста... Все это расстраивало Душана Петровича, и первое время он немного приуныл.

Между тем. Молочников, попавший в очень теплую и сухую камеру, да к своим, уже перестукивался, при помощи более опытных товарищей, с соседями через стену и рассказывал им об аресте Маковицкого.

На 22-е января Демидов вызвал в Тулу из с. Боровкова М. П. Новикова и И. М. Гремякина. Оба, так-же, как и Маковицкий с Молочниковым, не подозревали, что едут в тюрьму.

Кстати, подобные вызовы, может быть, и казались «дипло-

матичными» подполк. Демидову, желавшему врасплох взять «толстовцев», но жестокости в них было достаточно: люди ехали в город «на день», не устроившись, перед заключением в тюрьму, с делами, не попрощавшись с родными и близкими, не захвативши необходимых вещей...

В тюрьме М. Новиков и Гремякин посажены были в одну камеру, в том самом корпусе, где сидел Маковицкий. Конечно, они не преминули скоро увидеться. «Я, конечно, первый раз под стражей,—писал после Гремякин,—было скучно, а вместе с тем и радостно, что пришлось страдать за истину, а особенно мне радостно было при встрече с Душаном Петровичем, и эту чисто ангельскую личность я никогда не забуду».

Высланный из пределов Тульской губ. за свое письмо к воинскому начальнику, Р. А. Буткевич с 28 ноября 1914 г. проживал в г. Владимире-на Клязьме, в дружественной семье преподавателя математики во Владимирской гимназии П. А. Новикова.

Буткевич усиленно подыскивал себе какой-нибудь заработок, не противоречащий его убеждениям, и с этой целью обошел почти все столярные мастерские города, предлагая свой труд: он научился немного столярному ремеслу в доме отца. Но лишь в конце декабря Буткевич получил кое-какую столярную работу. Кроме того, он подыскал урок и одновременно занимался чтением.

П. А. Новиков в следующих выражениях вспоминает о своем невольном постояльце:

«Основным душевным состоянием Рафы во время его жизни во Владимире был недоуменный ужас перед войной, к мысли о которой он до самого конца не мог привыкнуть. Я, кажется, никогда не видал такой глубокой душевной боли, все время свежей, как в первый день, нисколько не притуплявшейся временем. И это несмотря на то, что на всякие новые впечатления Рафа отзывался очень живо, и минутами он умел быть заразительно, по-детски, веселым... Рафа писал много писем и рад бывал, когда получал их. Вера в силу слова была у него громадная. Помню, как, высказывая свое огорчение по поводу того, что у него при обыске были взяты письма его друзей, он в то же время радовался за жандармов, которые прочитают эти письма, так как для него было несомненным, что бесследным это чтение остаться не может. Еще, кажется, больше ценил Рафа непосредственное личное общение с людьми. Жажда его по отношению к новым знакомствам была поистине неутомимой. Уезжая из Владимира, он оставил в нем многих друзей, и поныне вспоминающих его с глубоким сердечием».

Арест Р. А. Буткевича произошел неожиданно для него, 24 января 1915 г., днем. Полиция явилась в квартиру Новиковых и, произведя обыск в комнате Буткевича, арестовала его, препроводив затем во Владимирскую пересыльную тюрьму.

Итак, Демидов не внял моим уверениям, что Буткевич не мо-

жет считаться участником воззвания, как снявший с воззвания свою подпись!

Младший брат М. П. Новикова Иван Петрович арестован был вслед за ним, но не в Боровкове, где он проживал только летом, ведя свое деревенское хозяйство, а в Москве, где у него была постоянная служба при книжном складе кн-ва «Посредник».

В ночь на 28-е января стучатся к Новикову в окно. Он видит свет фонаря. Вскочил, открыл: полиция.

— Вы Новиков?

— Я—Новиков.

— По предписанию тульского жандармского управления мы должны произвести у вас обыск.

— Пожалуйста, я ожидал этого.

Пришедшие удивились.

— А разве вам было известно об этом?

— Да как-же! Я из газет знал, что все «толстовцы», подписавшие воззвание, арестовываются, поэтому ожидал вас и к себе.

Вскочили с постелей двое детей Новикова, помещавшиеся вместе с ним в одной крохотной комнатке. Смотрят, ничего не понимают... Они до сих пор *ничего не знали* об опасности, грозившей их отцу.

Начался безрезультатный обыск.

— Нет-ли у вас Евангелия Толстого?—спрашивает жандармский офицер, производивший обыск.

— Вы не один у меня его спрашиваете,—отвечает Новиков.— Я, ведь, служу артельщиком у «Посредника», который издал это «Евангелие». Хожу по городу, по 25-ти магазинам, и везде у меня спрашивают «Евангелие» Толстого. Предлагают по 5—6 рублей вместо полутора, да вот не могу дать, нет у меня его. Вы обратитесь к градоначальнику: «Евангелие» там сложено...

Из своей квартиры И. П. Новиков доставлен был в Таганскую тюрьму и заключен в одиночную камеру.

ГЛАВА XI.

АРЕСТЫ НИКИТИНА-ХОВАНСКОГО, ОЛЕШКЕВИЧА, ЛЕЩЕНКО, ТРЕГУБОВА, А. И. РАДИНА И ДУДЧЕНКО.

Никитин-Хованский, Олешкевич и Лещенко проживали в Москве, у Чертковых, занимавших двух-этажный особняк, в Лефортове. Все трое помещались в одной комнате.

В 6 ч. утра 28 января у под'езда раздался звонок.. Вслед за тем Никитин, сквозь сон, слышит, что спрашивают В. Г. Черткова. А через некоторое время Чертков, в халате, входит в комнату молодых людей и, грустно вздыхая, говорит:

— К вам пришли!

За ним вваливаются пристав, помощник пристава, еще какие-то полицейские и один «штатский». Попросили всех встать и одеться, заявивши, что по ордеру охранного отделения должны произвести обыск.

Ничего, относящегося к делу о воззвании, в комнате не нашли. Просматривали, главным образом, рукописи, а на книги не обращали внимания. Кое-что,—дневники, письма,—все-таки забрали.

Во все время обыска В. Г. Чертков присутствовал в комнате. Он, как-бы невзначай, присел на стоявший в уголку большой кожанный чемодан, наполненный нелегальным изданием книжки Черткова—«Наша революция». Полицейские не побеспокоили хозяина дома, и судьба книжки, а с нею, быть может, и самого Черткова, была спасена.

В квартире Чертковых числилась проживающей также и К. Д. Платонова, подписавшая воззвание. Обыскивавшие не преминули справиться о ней у В. Г. Черткова. Тот ответил, что Платонова временно выехала из Москвы, но куда,—он отказывается отвечать.

Полицейские потребовали указать им комнату Платоновой или помещение, где находятся ее вещи.

— Иначе обыщем весь дом!—пригрозили они.

Пришлось выполнить их требование.

В комнате застали спящей глухонемую сестру Платоновой. Владимиру Григорьевичу едва удалось уговорить полицейских не будить спящую, чтобы не испугать ее.

Стали осматривать корзину с вещами К. Д. Платоновой. Там хранилось 3 — 4 экземпляра воззвания «Опомнитесь, люди-братья», но полицейские не нашли их.

По составлении протокола обыска. В. Г. Черткову предложено было подписаться под ним. Тот категорически отказался. Один из обвиняемых, Г. И. Лещенко, также не пожелал подписываться под протоколом.

Затем пристав об'явил Олешкевичу, Лещенко и Никитину, что они арестованы и предложил им собраться в дорогу.

В сопровождении трех или четырех городовых, молодые люди отправлены были сначала в 1-й участок Басманной части, где и были помещены все вместе в одной камере. Тут они пробыли пять или шесть суток. Настроение у друзей было не одинаковое. Бодрее всех держался Лещенко. Олешкевич также не поддавался унынию, но, не разделавшись еще с привычкой курить, он страдал от отсутствия табака. Никитин грустил, раздумывая о впечатлении, какое произведет его арест на старушку-мать. Временами, под влиянием печальных мыслей, он готов был даже раскаиваться в подписании воззвания...

Из участка арестованных переправили, в тюремной карете, в Бутырскую тюрьму.

По дороге молодые люди, соскучившись уже по свободе, все смотрели в окошечко, помещавшееся в дверце, в задней стенке кареты. Улицы быстро убегали от них, одна за другой... Никитин так напряженно взглядывался в картину этих убегающих улиц, что, по приезде в тюрьму, у него заболели глаза...

В тюрьме молодых людей тщательно обыскали, заставив раздеваться до белья, а затем, вместе с другими, вновь прибывшими арестованными, повели в цейхгауз. Тут выкинули им с полок три грязных серых тюка с арестантским платьем и предложили переодеться. Друзья пошептались друг с другом и решили, что они вовсе не обязаны и ни в каком случае не станут переодеваться.

— Не стесняйтесь, не стесняйтесь! Будьте, как дома! Переодевайтесь!—поощрял между тем старший надзиратель, заведывавший цейхгаузом.

Молодые люди заявили ему о своем отказе переодеваться.

— Мы—политические арестованные и, кроме того, подследственные, а не приговоренные по суду, поэтому переодеваться не станем. Только силой можете переодеть нас.

Надзиратель и его помощники удивленно посмотрели на протестантов, послали навести справку в конторе и затем вывели молодых людей из цейхгауза, оставив их в собственной одежде. а серые тюки убрали обратно на полки.

Трое друзей были чрезвычайно довольны таким оборотом дела. «Было чувство, что у нас там, в тюрьме, есть какое-то право»,—рассказал после Никитин.

Они отведены были в одну большую камеру и думали, что будут содержаться вместе, но уже вечером в тот же день всех их рассадили по одиночкам.

В ночь на 30-е января арестован был в Петрограде и сам инициатор воззвания И. М. Трегубов. Очевидно, Демидову не удавалось до сих пор разыскать его.

Полиция явилась в квартиру, где Трегубов снимал комнату, в 1½ ч. ночи, в составе: жандармского ротмистра, помощника пристава, трех околоточных надзирателей и трех дворников. До 4 час. утра продолжался обыск. Забрали много всяких бумаг, накопившихся у Ивана Михайловича, как у человека, причастного к журналистике и литературе. Нашли один экземпляр воззвания «Опомнитесь, люди-братья», с новой подписью: Ян Демихович; письмецо за подозрительной подписью «Ян. Дем.», с указанием, что адрес писавшего можно узнать в помещении Петроградского Теософического Общества; клочек бумаги, когда-то оторванной Мих. Новиковым от принадлежавшей ему копии воззвания «Опомнитесь, люди-братья», с указанием, к кому еще Трегубову следует обратиться в Москве с предложением подписать воззвание,

и т. д. Попалась обыскивавшим фотографическая карточка, изображавшая молодого человека, в солдатской шинели, но без шапки, с Евангелием в руках и с двумя конвойными солдатами по бокам. Взяли и карточку.

По окончании обыска. И. М. Трегубова арестовали и отправили в 1-й участок Литейной части, где он и провел ночь без сна. Около 11 час. утра его, в сопровождении двух городовых, отправили в Петроградское жандармское управление, где ему прочтено было предписание начальника Тульского жандармского управления об его аресте. Затем, в карете, с двумя жандармами, старика отвезли в дом предварительного заключения, где и поместили в одиночной камере.

Между прочим, в конторе дома предварительного заключения, при записи нового арестанта, Трегубов на вопрос о вероисповедании ответил: «свободный христианин»; записали: «сектант».

«Войдя в камеру,—писал после Трегубов,—я на мгновение почувствовал, что меня как будто опустили в могилу, но я обратился к Отцу Небесному и тотчас же примирился с своей участью».

На следующий день Трегубова снова возили, в закрытой карете, в жандармское управление, где ему учинен был допрос подполковником Дынка.

Пред'явив Трегубову обвинение по 1 п. 1 ч. 129 ст. Угол. Улож. (бунтовщическое или изменническое деяние), Дынка стал писать протокол допроса. С первых же слов Трегубов заметил, что протокол будет написан не совсем так, как бы ему хотелось. Например, на вопрос о вероисповедании, он просил Дынку записать, что он «свободный христианин», а тот, поглядев в паспорт Трегубова, написал: «православный». Когда же подполковник приступил к изложению показаний по существу дела, то Трегубов запротестовал против обвинения по 1 п. 1 ч. 129 ст., говоря, что составление и распространение воззвания против войны, в чем он действительно принимал участие, есть не бунт, а призыв к миру и любви,—есть исполнение христианского долга. Трегубов так и хотел было писать, но допрашивавший воспрепятствовал этому, и тогда Иван Михайлович написал, что «отказывается категорически давать показания по существу дела».

После этого его снова препроводили в карете в дом предварительного заключения.

2-го февраля на своем хуторе Ильюшевка, Острогожского уезда, Воронежской губ., арестован был А. И. Радин. Жену и детей пока пощадили, а на старике, видимо, хотели сорвать гнев, как на отце семьи, не сумевшем удержать других членов ее и самому не удержавшемся от предосудительного, с точки зрения начальства, поступка.

Александр Иванович был в отсутствии, когда к нему нагря-

нули «гости». Вместе с одним из сыновей он отлучился в этот день на мельницу, верст за 7 от хутора. Дома оставались жена и другой сын.

В середине дня во двор усадьбы Радиных в'ехало несколько подвод, с острогожским жандармским подполковником Тарасовым, товарищем прокурора Шафой, местным приставом, двумя жандармами и стражником. Этим «гостям» не очень удивились, так как их уже поджидали: Юлия Радина, уехавшая в Москву, где она служила у «Посредника», сообщила своим семейным о начавшихся арестах всех участников воззвания.

Войдя в дом, власти прежде всего принялись за обыск. Они заставили одного из жандармов перебирать книги и бумаги, показавши ему, между прочим, листок воззвания «Опомнитесь, люди-братья» и приказав искать таких же листков. Жандарм перебирал книги и передавал начальству все, что казалось ему подозрительным. Начальство просматривало книги, подаваемые ему жандармом, и откладывало отдельно то, что следовало забрать с собой.

Жандарм обыскивал не очень усердно и аккуратно. Так, он небрежно отбросил в сторону целую пачку книг самого «красного» содержания, изд. 1905—1906 г г., не сочтя их подозрительными.

Во все время обыска М. С. Радина спокойно сидела тут же в комнате и вязала чулок.

Между тем, хозяина хутора, которого, очевидно, главным образом, и желало видеть начальство, все не было. Начальство заволновалось. Послали стражника на деревню, искать подводу, чтобы с'ездить за Радиным на мельницу. Но, пока стражник ходил за подводой, Александр Иванович приехал.

— Ну, здравствуйте, господа!—громко сказал он, входя в комнату, где сидели «гости».

К нему кинулись с обыском. Старик сам распахнул полы верхней одежды.

— Только знайте,—сказал он,—что надо мною совершается насилие!

Власти приступили, было, к допросу, но Александр Иванович категорически отказался давать какие бы то ни было показания, а также подписываться под протоколом допроса. Примеру его последовали жена и оба сына.

Между прочим, во время допроса А. И. Радина, товарищ прокурора закурил.

— Я бы вас очень, очень просил не курить!—обратился к нему Радин.—Мои сыновья недавно были больны плевритом, у меня у самого больное сердце.

Ложно воспитанное самолюбие помешало товарищу прокурора прямо исполнить просьбу старого человека. Он возразил, что в комнате недавно топлено и еще не закрыта труба, и, что

они скоро уедут, но, тем не менее, незаметно опустил папиросу и больше не затянулся ни разу...

Во время допроса жены и детей, Александр Иванович, по требованию властей, удалялся в другую комнату. Там сидели стражник и жандармы. Они обратились к Александру Ивановичу с вопросами о том, почему и за что его арестовывают. Старик стал рассказывать. Завязался общий разговор на темы о войне, убийстве и т. д. Собеседники Александра Ивановича казались очень заинтересованными разговором и только время от времени обращались к нему с просьбой: «Потише, пожалуйста, а то как бы начальство не услыхало»! Между прочим, Александр Иванович упрекнул своих собеседников в том, что они принимают участие в таком злом деле и, вообще, исполняют такие низкие, скверные обязанности.

— Ведь вот вы меня повезете, а я вдруг захочу уйти от вас, ведь тогда вы и застрелите меня, старика!

— Что вы, Александр Иванович!—ужаснулся один из жандармов.

Он знал Радина давно, еще в бытность его сельским учителем, и относился к нему с уважением.

В результате обыска начальство забрало с собою целую кипу писем, разных бумаг и книг,—в том числе—статьи Бебеля, «Библиотеку социал-демократа»—Платона Лебедева, запрещенные брошюры Толстого: «Не убий», «Христианство и патриотизм», «Конец века». Забрали также рукопись длинного стихотворения «Голос матери»: «по поводу предстоящего сыну призыва к отбыванию воинской повинности, полное самого отрицательного отношения к последней, как «страшному делу», и описывающее мучения, кои последуют по отношению солдата, отказавшегося от военной службы» (Обвинит. акт). Стих. «Голос матери», искренно и горячо написанное, принадлежало перу А. М. Булыгиной, матери Сергея Булыгина, готовившейся еще со времени раннего детства своего сына к неминуемо предстоящему ему отказу. На суде стихотворение это будет прочитано полностью.

Между прочим, власти затруднились упаковкой всего отобранного ими материала.

— Не найдется ли у вас, во что бы завернуть это?—обратились они к хозяйке дома.

Та простодушно протянула им полотенце.

— Не давай им!—строго остановил жену А. И. Радин.—Что ты, хочешь помогать им?

Тогда власти сами нашли в комнате какие-то старые газеты и завернули в них бумаги и книги. Затем они попросили Александра Ивановича собраться и вместе с ним укатили в г. Острогожск, где старик и был водворен в отвратительную, холодную, темную и сырую одиночную камеру уездной тюрьмы.

23 февраля арестован был М. С. Дудченко. Перебирали всех наших стариков.

Вызванный якобы для очередного допроса в Полтавское жандармское управление, Дудченко был арестован и помещен в Полтавскую губернскую тюрьму. Случайно он попал в камеру, где уже содержался Е. Могила, еще раньше арестованный в связи с найденным у него при обыске экземпляром воззвания «Наше открытое слово». Дудченко был так рад неожиданной встрече с Могилой, что не смутился даже ужасным состоянием камеры, настолько сырой, что вода стояла на полу, а стены покрыты были плесенью.

В первую же ночь пребывания Дудченко в тюрьме, там разыгралась ужасная история. Шесть человек каторжан устроили подкоп, собираясь бежать. Их изловили и при этом так избили, что один арестант умер. Если бы начальство не догадалось тотчас же удалить виновников избиения и вообще. не употребило особенных усилий потушить всю историю, то в тюрьме, наверное, возник бы бунт, так как возбуждение среди всех арестованных было чрезвычайно сильное.

ГЛАВА XII.

ЯВКА ПЛАТОНОВОЙ В ЖАНДАРМСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ.

Как мы уже говорили, в то утро (28 января), когда производился обыск в московской квартире Чертковых и когда арестованы были Никитин-Хованский, Лещенко и Олешкевич, Клавдии Платоновой, проживавшей в той же квартире, случайно не было дома. Она как раз незадолго перед тем выехала на родину, в Ярославскую губернию.

Платонова захватила с собой и воззвание «Опомнитесь, люди-братья», которое при случае охотно давала читать сочувствующим. (На вокзале в Москве ей показалось, что за нею следят; она хотела разорвать воззвание, но, как она рассказывала, «рука не поднялась»).

Уже на другой день по приезде в родное село, Платонова получила телеграмму от Чертковых, гласившую: «Трое уехали». Она поняла—и кто эти *трое,* и куда они «уехали»: она заранее условилась с Чертковыми насчет формы извещения о могущих произойти арестах.

Ответив письмом, что скоро вернется в Москву, Платонова между тем задержалась дома, и это подало повод Чертковым думать, что она арестована по дороге. Вообще, у Чертковых были изрядно напуганы вновь начавшимися обысками, арестами и допросами в связи с воззванием, об'ектами которых по большей части являлись лица, близко соприкасавшиеся с Чертковыми в

своей жизни и работе. Была опасность, что следователи сумеют и Чертковых впутать в дело. «Люди напроказят, а Чертковы отвечают!» ворчала старая домоправительница Чертковых Анна Григорьевна, в сердце которой преданность семейству Чертковых спорила с ее привязанностью к арестованным. Опасения этой простой женщины, пожалуй, имели вес, и именно потому, что у властей давно уже сложилось как раз обратное впечатление о роли Чертковых в делах «толстовцев»: «Чертковы напроказят, а люди отвечают».

Когда Платонова, наконец, возвратилась в Москву, все были чрезвычайно удивлены и обрадованы: никто не ожидал, что она еще находится на свободе. Но в то же время пребывание Платоновой в доме казалось опасным: с одной стороны, и она сама могла быть арестована, с другой—властям могло прийти в голову сделать повальный обыск во всем доме, и тогда могли погибнуть все те ценные бумаги и рукописи, которые хранились у Чертковых для литературной обработки. Да и дворник уже справлялся два раза: не Платонова ли это приехала? Без сомнения, ему приказано было выследить время ее приезда... Он даже, говорят, куда-то пошел... Не в полицию ли он пошел?!.. Кстати, вот ведь есть и телеграмма от Клашиного брата, из Телятенок: брат зовет ее приехать к нему. Не лучше ли ей, в самом деле, отправиться в Телятенки? Таким образом, в случае ареста, она избегнет и этапа; иначе, ведь, если ее арестуют в Москве, то могут отправить в Тулу по этапу!..

Словом, вышло так, что в 10 час. утра Платонова приехала, а к 2 часам дня ее уже снаряжали для отправки на вокзал,— только не на Ярославский, а на Курский. Притащили старенькую шапочку и вуаль—нарядили ее, чтобы не узнали: ведь за нею, очевидно, следят. Но Клаша категорически отказалась маскироваться. С одной из своих подруг, живших у Чертковых, она отправилась на вокзал. Из ворот они вышли порознь, тоже в целях конспирации...

В Телятенках Платонова прогостила дня три-четыре. И родной брат побаивался ее общества. «Вдруг урядник приедет, неприятно»...

С самого начала арестов участников воззвания, у молодой девушки принято было намерение: ни скрываться от властей, ни нарочно являться к ним. Теперь она убедилась, что пребывание ее где бы то ни было связано с постоянной возможностью неприятностей для окружающих, и для того, чтобы не навлекать на них этих неприятностей, она решилась добровольно отдаться в руки властей.

В один из февральских дней Платонова, в сопровождении своего брата, отправилась в Тулу. Там брат делал кое-какие покупки, затем они вместе посетили гауптвахту, с целью навестить одного из единомышленников, отказавшихся от военной службы,

не нашли его и, освободившись только к 4 часам дня, отправились в жандармское управление.

Придя туда, спросили Демидова.

— Вам разрешение на свидание? Поздно сегодня, занятий нет! Приходите завтра!—ответил им жандарм, открывший дверь.

Они вышли. Но потом подумали-подумали, и вернулись обратно.

— Нам не разрешение на свидание. Я—Платонова, которую разыскивают...

— Ах, вы—Платонова? Тогда, конечно, оставайтесь! Как же, как же... Я сейчас позвоню полковнику Демидову.

Жандарм позвонил и сообщил, что Демидов скоро придет.

— Ага, ну хорошо!—сказала Клаша.—Так я пока схожу и куплю себе хлеба.

— Не-ет, голубушка!—возразил жандарм.—Теперь уж мы вас не пустим!

— Да почему же?!—удивилась Клаша.

Ей это так странно показалось.

— Я же сейчас куплю хлеба и вернусь...

Но двое жандармов, бывших в канцелярии, ее все-таки не пустили.

Она присела на подоконник. Те забеспокоились, что она простудится. Потом вступили в разговор, были так вежливы,—Клаша и теперь довольна. (В самом деле, мы, «толстовцы», ценим жандармскую вежливость; вот революционеры ее не ценят).

Является подп. Демидов, вынимает фотографическую карточку и смотрит попеременно то на карточку, то на Платонову. И Клаша узнает эту карточку: на ней изображены она и одна ее подруга с ребенком. Клаша замечает также, что на рукаве ее фигуры, на карточке, сделана надпись: «Платонова»... Карточка снята у Чертковых. Как она попала к жандармам?!

— Что же, у вас несколько Платоновых, что ли?—говорит, наконец, Демидов.

— Как так?

— Да вот тут одна, а это—другая!

А на карточке Клаша выглядела полнее и, кроме того, была снята не в платке, а с открытой головой и в летнем платье.

— Это вы сняты?

— Да, я.

Начался допрос. В то же время послали за товарищем прокурора Воронцовым. Тот явился откуда-то из ресторана—веселый и болтливый без конца.

— А-а!—воскликнул он, входя в комнату.—Я вас знаю! Я вас видел у Чертковых, когда приезжал к ним по делу Белинь-

кого *). Вы сидели за обеденным столом, и на вас было серое платье... Как же, как же! Я все-ех вас выглядел! Я вышел покурить, стоял и всех вас рассматривал!..

Тут же Воронцов принялся бранить Чертковых.

— Они выкарабкались, а вы попались! Почему они не подписали воззвание?

— Оставьте Чертковых в покое,—ответила Платонова.— Они тут не при чем, и не нужно их оскорблять.

Но Воронцов не мог угомониться.

— Лучше бросьте вы Чертковых, уезжайте вы от них и не живите с ними!—говорил он.—Там живет только народ, который витает в поднебесьи... Ведь вы—портниха?

— Да.

— Так вот, переезжайте в город, определяйтесь куда-нибудь в мастерскую, выходите замуж...

Клаша говорит, смеясь, что ничего этого ей не нужно, что в мастерскую она не хочет и города не любит.

— Ну, тогда поезжайте в деревню! Заведёте свое хозяйство, курочек, будете за ними ходить...

— Да, но для своего хозяйства нужны средства и земля, а у меня ничего этого нет.

— Ну, тогда поступайте ключницей к каким-нибудь помещикам, будете управлять домом!

— Чтобы угождать господам, надо унижать рабочих, а если относиться хорошо к рабочим, так господа будут недовольны. А я так не могу делать.

Клаша всё смеялась и после сама упрекала себя за веселое, «дурацкое» настроение.

— Ведь вот вы молоды, жизнерадостны,—продолжал болтать Воронцов,—и попали в тюрьму! Посидите-ка там, и ничего от этого не останется!

— Тюрьма мне не страшна, и я ее не боюсь.

— Оттого и не страшна, что вы не знаете тюремной жизни, а вот попробуйте-ка, посидите там!..

И еще много болтал в том же роде товарищ прокурора, а Демидов все молчал, сидя за столом с насупленным видом.

— — Я прикажу вас строго держать!—сказал в заключение Воронцов.

Составили протокол, Клаша подписала его и в сопровождении брата и одного жандарма, на телятенской лошадке, отправилась в тюрьму.

Она была совершенно спокойна. У нее совсем не было того чувства, что вот она едет в тюрьму.—Все равно, как после,

---

*) Жившие у Чертковых С. М. Белинький и Г. И. Лещенко привлекались к ответственности за распространение запрещенных сочинений Л. Н. Толстого.

вели ее однажды из тюрьмы на допрос в жандармское управление. А тут—демонстрация по поводу взятия Перемышля. Масса народу—и все смотрят на нее и на ее подругу, другую «политическую». И ей вовсе не было «стыдно». А то спрашивают: «стыдно?»

У Клаши Платоновой был счастливый — ясный и простой взгляд на все окружающее.

Привели ее в тюрьму. И камера не произвела на нее тяжелого впечатления: обыкновенная комната.

Встретила сожительниц—двух полечек, чистенько одетых. У обоих—железные кровати (тюремная привилегия). Подушечки.

Для Клаши тотчас внесли койку. Она легла и уснула. Но стали кусать клопы. Поднялась—как раз входит «поверка»: помощник начальника тюрьмы и надзиратели. На другое утро она поверку проспала и слышала сквозь сон, как помощник начальника внушал дежурной надзирательнице, чтобы она научила ее вставать в срок...

Словом, она хорошо перенесла арест. У нее был большой духовный под'ем, и она нимало не жаловалась на свою судьбу.

Что касается чистеньких полечек, то относительно одной из них, в беленьком фартучке, Клаша и не подозревала, что это—всероссийская уголовная знаменитость. Звали полечку: Елена Мацох. То была героиня нашумевшего в свое время процесса об убийстве в Ченстоховском монастыре.

Г Л А В А XIII.

АРЕСТЫ ЖЕНЫ И ДЕТЕЙ РАДИНЫХ, ДЕМИХОВИЧА, АРХАНГЕЛЬСКОГО И СТРИЖОВОЙ.

Арестовавши 2-го февраля старика Радина, следственная власть первоначально не посягнула на арест всей семьи, члены которой продолжали жить и работать на своем хуторе в Воронежской губернии. Но вот 1 марта 1915 года полиция снова явилась в Ильюшевку и, произведя допрос жены и двух сыновей А. И. Радина, арестовала и препроводила всех троих в ту же Острогожскую тюрьму, где содержался и Радин—отец.

Арест сопровождался любопытными подробностями.

В этот день М. С. Радина была в Острогожске. Ей хотелось повидаться с мужем, но свидания ей не дали, сказавши, что надо сначала выхлопотать разрешение от тульских властей. Возвращаясь домой и поджидая поезда на вокзале, Мария Степановна присела к столу—написать письмо дочери в Москву. И тут заметила, что невдалеке сидят и поглядывают на нее

жандармский подполковник Тарасов и с ним еще кто-то (это был тов. прокурора Сапрунов). У Марии Степановны мелькнула в голове мысль, не имеет-ли какого-нибудь отношения к ней присутствие подпол. Тарасова на вокзале. Однако, она отогнала эту мысль и даже думать забыла о случайной встрече.

Но вот, по дороге домой, на одной из промежуточных железнодорожных станций, она заметила осторожно наблюдающего за ней жандарма, а когда поезд остановился на ст. Митрофановка, откуда ей надо было ехать на хутор, и Мария Степановна сошла на платформу, к ней подошли Тарасов и Сапрунов и, сообщивши, что они направляются на хутор Радиных, предложили ей отправиться вместе с ними.

На станции уже поджидали начальство пристав, урядник и стражник, с лошадьми. Расселись в несколько саней и тронулись по дороге на Ильюшевку.

По приезде на хутор, пользуясь тем временем, пока власти готовились к допросу, Мария Степановна стала закусывать с дороги. Предложила и «гостям», но те отказались, заявивши, что они обедали на одной из станций. Однако, когда хозяйка достала из погреба свежих, душистых яблок, чиновники соблазнились и не могли отказать себе в удовольствии полакомиться вкусными фруктами,—хотя бы и из рук арестованных ими людей, всё благополучие которых они теперь разрушали!

Старший из мальчиков Радиных, Алеша, был на деревне. За ним послали стражника. Когда стражник, найдя Алешу, вел его к дому, один из крестьян поманил к себе молодого человека и с чрезвычайно расстроенным видом, чуть не со слезами на глазах, стал уговаривать его показать на допросе, что он подписал воззвание только под влиянием отца, а сам нисколько не сочувствует этому воззванию и, вообще, ни в чем не повинен: уж очень жаль было добряку бедных мальчиков, которых запрут в тюрьму, и хотелось добиться, чтобы этого не случилось... Но разве мог послушаться юноша таких уговоров?

На допросе ни мать, ни сыновья опять ничего не показали. Только от младшего из мальчиков, Сани, допрашивавшим удалось вырвать одну фразу,—о том, что воззвание «Опомнитесь, люди-братья» было прислано на хутор *по почте*... Несмотря на всю малосодержательность такого показания, оно все-таки было занесено в протокол.

Затем власти об'явили, что все обитатели хутора арестовываются. Возник вопрос, на кого же оставить дом и хозяйство? Пристав предложил поселить на хуторе, для охраны, стражника, но М. С. Радина отказалась и просила позволить ей поручить хутор одному из соседей-крестьян, что и было разрешено.

Начались сборы в дорогу. Пришла соседка, помочь уложиться. И, помогая, причитала:

— Марья Степановна, голубоньку, що дня плакатыму о вас!..

Мария Степановна и мальчики держались бодро, не только наружно не проявляя волнения, но и внутренно оставаясь спокойными.

Со двора выехали, когда было уже совсем темно.

25-го февраля в Москве была арестована служившая в кн—ве «Посредник» дочь А. И. Радина—Юлия Александровна.

При допросе она показала, что воззвание «Опомнитесь, люди-братья» подписала собственноручно, в половине октября; что получила это воззвание по почте, отпечатанным на пишущей машинке, но от кого — не сказала. Показала, что участия в составлении и распространении воззвания не принимала, равно как и в собирании подписей. Выяснила, отвечая на наводящие вопросы допрашивавших, что с 18 июля по 17 октября 1914 года она проживала на хуторе в Воронежской губ., у своих родителей. (По этим данным следователь мог судить, что подписание Юлией Радиной «в половине октября» полученного по почте воззвания состоялось именно на хуторе в Воронежской губ.).

В скромной комнате Ю. Радиной произвели обыск и между прочим, отобрали длинное письмо, написанное карандашем и начинавшееся словами «Милая тетя Оля», в котором уже на 5-м листе, нашли строчки, имевшие отношение к делу: «Одно время мы с моею Ирочкою,—писала Ю. Радина о себе и о своей подруге, — очутились положительно почти без крова и приюта; причиной этого было то, что я (далее следовало: «как подписавшаяся»,—но эти два слова были зачеркнуты), вследствие истории с Булгаковским воззванием, я и Ира сделались лицами несколько подозрительными»... Ничего другого, компрометирующего обвиняемую, в комнате найдено не было.

Путеводной нитью для обнаружения личности и местопребывания Я. Л. Демиховича послужила открытка его на имя И. М. Трегубова, найденная у последнего. Руководствуясь этой открыткой, следственная власть должна была допрашивать о личности Демиховича председательницу Петроградского Теософического Общества А. А. Каменскую и т. д., прежде чем добраться до киевского убежища Я. Л. Демиховича.

Обыск у Демиховича не дал следователям ничего.

Но нужно сказать, что Демихович, после присоединения своей подписи к воззванию, успел собрать под ним в Киеве еще 10 подписей, о которых он не успел еще сообщить ни мне, ни Трегубову. Экземпляр воззвания с этими 10-ю дополнительными подписями Демиховичу удалось перед обыском спрятать. Подписания им воззвания Я. Л. Демихович не отрицал, не отрицал и знакомства своего с Трегубовым, признал и свое письмецо к нему. Но вообще о подробностях дела и о других лицах

отвечать отказался, заявивши прямо, что «не желает быть предателем».

Его оторвали от мирной работы по руководству вегетарианской столовой и препроводили в Киевскую губенскую тюрьму.

В г. Тюмени был арестован А. В. Архангельский. У него начиналась уже болезнь, сведшая его в могилу (туберкулез костей, осложнившийся впоследствии воспалением брюшины), на ребрах наблюдались большие опухоли, но, тем не менее, несчастный, согласно предписанию Тульского жандармского управления, поднят был с постели и препровожден в Тюменьскую тюрьму.

19 апреля 1915 года арестована была в местечке Мрин, Черниговской губ., Н. М. Стрижова. На допросе она показала, что воззвания «Опомнитесь, люди-братья» не читала, но знала о его содержании из письма одного близкого человека, которого назвать не желает; что в письме же выразила согласие на помещение свой подписи под воззванием, при чем ей было известно, что воззвание будет распространено; сама же воззвания не распространяла, но настолько разделяет идею его, что готова в настоящее время подписать его лично.

Стрижовой задали вопрос о знакомстве с другими участниками воззвания, и она назвала Дудченко, Граубергера, Трегубова и Попова, как лично известных ей единомышленников.

Н. М. Стрижова пробыла под арестом всего одни сутки. 20 апреля ее отпустили на поруки ее отца, помещика М. И. Чекана.

После Стрижова отмечала доброе и корректное отношение к ней со стороны всех представителей власти, от высших до низших.

ГЛАВА XIV.

АРЕСТ ГРАУБЕРГЕРА И ДОПРОС НЕЧАЕВОЙ В ИМ. ФЕДОРОВКА, ПОЛТАВСКОЙ ГУБ.

Почти в самом начале войны Ф. Х. Граубергер, нуждаясь в средствах для содержания дряхлого старика-отца, поступил на службу в качестве садовника в имение Семенченко Федоровку, верстах в 50—60 от Полтавы. Устроивши, вместе с помещиком, в дер. Федоровке чайную для крестьян, Граубергер пригласил для заведывания этой чайной Е. П. Нечаеву. Отправившись из Нежина в Полтаву, Нечаева встретилась тут, между прочим, с одним из старинных и наиболее достойных последователей Л. Н. Толстого В. А. Шейерманом, которого давно знала. Полтавские друзья посвятили ее в план устройства небольшой типографии в им. Федоровка, с целью печатания религиозно-фи-

лософских статей Л. Н. Толстого. Предполагалось, что лица, которые примут участие в печатании книжек (Шейерман, Граубергер, Нечаева, Стрижова), займутся также и их распространением. Но по не зависевшим от инициаторов причинам, план с типографией не удалось осуществить. Ограничились тем, что при деревенской чайной в Федоровке учредили библиотечку, с выдачей книг на дом.

Чайная и библиотека имели большой успех среди населения. Они посещались и взрослыми, и молодежью, и детьми. Случалось, что Граубергер, по просьбе собравшихся, читал им что-нибудь, об'ясняя при этом прочитанное. Не раз, в этих бесе́дах с крестьянами, ему приходилось касаться и вопроса о войне... Такие же чтения Федор Христофорович устраивал в занимаемом им домике садовника на усадьбе. Туда приходила преимущественно мужская деревенская молодежь. Девушки не хотели участвовать в чтении вместе с парнями и поэтому стали ходить к Е. П. Нечаевой в чайную, и та отдельно занималась с ними чтением и бесе́дой.

Скромная просветительная работа наших друзей, конечно, не могла не обратить на себя внимания местной власти; поэтому установление тульскими властями личности Граубергера, как одного из подписавших воззвание «Опомнитесь люди-братья», вызвало двойное следствие: не только об участии его в деле подписания воззвания, но и о деятельности в им. Федоровка.

Полиция, во главе с подполковнико́м Полтавского жандармского управления Кащеевым и представителем прокурорского надзора, неожиданно появилась в имении Семенченко 4 июня 1915 года. Первым делом ее было обыскать домик садовника, где квартировал Ф. Х. Граубергер. Ничего не подозревавшая Нечаева находилась в это время в чайной. Она узнала о прибытии полиции от одной из местных учительниц, прибежавшей к ней с этой вестью. Предполагая, что и к ней могут прийти с обыском, старушка поторопилась припрятать кое-какие книги и бумаги, засунув их в кусты сирени, росшие в барском саду, а затем, вместе с учительницей, направи́лась к домику садовника. В этот день она ставила в домике—там была русская печь—квас, и квас этот надо было перелить, чтобы он не испортился. Евдокия Павловна так и заявила полицейским. Её, вместе с учительницей, впустили обратно... Вернувшись в чайную, Е. П. Нечаева увидала через некоторое время Ф. Х. Граубергера, который подходил к чайной, окруженный полицией. Нечаевой заявили, что в чайной также будет произведен обыск, на том основании, что Граубергер часто бывал здесь. Стали осматривать библиотеку, аккуратно вкладывая просмотренные книжки на прежние места. Ничего предосудительного не находилось. Но вдруг раздался торжествующий возглас урядника.

— А вот письмо!

Действительно, ему посчастливилось найти письмо Стрижовой, в котором она сообщала Нечаевой, что была арестована и через день отпущена на свободу; при этом Стрижова добавляла, что под тем экземпляром воззвания, который она видела, подписи Нечаевой не было.

— Чье это письмо?

— Моей единомышленницы и друга.

— А где она живет?

— Ну, уж этого я не стану говорить!

— Почему?

— Потому что не хочу помогать вам в розысках... Да ведь это для вас должно быть всё равно: она же пишет, что была арестована. Ну, а если вам надо, так и ищите ее помимо меня!

Окончив обыск у Нечаевой и не найдя ничего, кроме письма, власти приступили к допросу Ф. Х. Граубергера, при чем Нечаева должна была выйти из комнаты.

Граубергеру предложен был длинный ряд вопросов, очевидно, по бумажке, присланной Демидовым. Его расспрашивали не только об обстоятельствах подписания им воззвания, но и о знакомстве с отдельными лицами из числа подписавших воззвание. Граубергер должен был рассказать, как он в 1913 году посетил Ясную Поляну после Вегетарианского с'езда в Москве, при чем в числе членов с'езда, участвовавших в этой поездке, были Булгаков и Дудченко; как он заезжал в Телятенки повидаться с Чертковым, которого знает с 1896 г., и т. д. Относительно своей роли он показал, что узнал о факте составления «благодаря общению между толстовцами» и что, подписав воззвание, кому-то отдал экземпляр с своею подписью.

Пока продолжался допрос Граубергера, Е. П. Нечаева терялась в догадках, по какому собственно поводу производились обыски и допрос: по делу ли о воззвании, или же по поводу деревенских разговоров Граубергера, в которых ему не раз приходилось откровенно касаться щекотливой темы о войне. Она не смогла бы решить этого вороса, если бы из комнаты, где производился допрос, не донеслось до нее, в числе нескольких других, более громко произнесенных жандармским подполковником слов, имя: *Булгаков*... Тогда она поняла, что дело касается воззвания и что, повидимому, настал черед для ареста Граубергера.

Тут в душе у нее поднялись сомнения:

Хорошо ли будет, если я останусь теперь на свободе? Ведь я тоже всей душой сочувствую воззванию и считаюсь властями непричастной к делу только благодаря случайному отсутствию на воззвании моей подписи. Разве после ареста Граубергера и всех остальных я смогу оставаться спокойной хотя бы и пользуясь свободой? Нет. Следовательно, надо при-

соединиться к ним и по окончании допроса заявить жандармскому подполковнику о своей солидарности с воззванием».

Решивши так, Нечаева тотчас почувствовала, как всякое смятение в ее душе улеглось. Вполне успокоенная, она стала ждать окончания допроса.

Когда допрос кончился и начальство собралось уезжать, Нечаева подошла к жандармскому подполковнику и заявила, что если допрос касался дела о воззвании против войны, как она могла судить по нескольким, случайно донесшимся до нее словам допрашивавших, то она считает нужным обратить его внимание на то, что она столько же причастна к этому воззванию, как и другие подписавшие, на основании чего и просит «присоединить ее к друзьям».

Заявление Нечаевой, повидимому, не только не обрадовало жандармского подполковника и представителя прокурорского надзора, но, скорее, заставило их смутиться и растеряться.

— У нас нет никаких предписаний относительно вас,—заявили они Нечаевой.

— Да, но ведь я же заявляю вам о своем участии в воззвании.

— Ну, в таком случае напишите письменное заявление, и тогда я сниму с вас допрос,—сказал жандармский подполковник.

Нечаева тут же составила заявление, а затем подверглась допросу, при чем, не желая задерживать крестьян—понятых (приглашенных в виду отказа Граубергера подписать протокол), сама писала ответы на вопросы:

«Получила воззвание от друзей, но не помню от кого... Переписывала его, лично подписалась, так как согласна с его содержанием... Во всяком случае, я причисляю себя к «кружку толстовцев»... Я против войны вообще, как против избиения братьев, и при случае это высказывала громко... Воззвание «Опомнитесь, люди-братья» много было скопировано с целью распространения».

К удивлению Граубергера и Нечаевой, власти уехали, никого не арестовавши. Оказалось, что хотя почти все обнаруженные участники воззвания были уже арестованы, Граубергер допрашивался сначала только *в качестве свидетеля.*

Впрочем, ареста ждали в Федоровке со дня на день. Нечаева до того свыклась с мыслью о близкой тюрьме, что решила даже собрать небольшую корзиночку со всем необходимым для переселения на новую квартиру. Однажды она отправилась в помещичий дом, где находилась школа рукоделия, за какой-то вещицей, которая могла понадобиться ей в тюрьме. Подходит и видит—около дома стоит жандармский подполковник Кащеев.

— Ну вот, вы опять к нам! Арестовать, что ли, приехали? А я как раз готовлю корзиночку с вещами для тюрьмы...

Кащеев сделал испуганное лицо.

— А кто вам сказал, что я приеду?!

Допросивши снова Ф. Х. Граубергера, Кащеев заявил, что он должен арестовать его, но если будет внесен залог в размере 300 руб., то обвиняемый останется на свободе.

Граубергер поспешил в деревню и скоро вернулся с деньгами, собранными среди крестьян. Но оказалось, что 50-ти рублей не хватает. Федор Христофорович снова отправился на деревню и тотчас принес недостающие деньги.

— Что же это, так вам без расписок и давали деньги?—не без удивления спросил жандарм.

— Да, конечно. Ведь некогда писать расписки, надо было поскорее.

— А помните,—вмешалась в разговор Нечаева,—как у Некрасова Ермил собрал деньги на мельницу? Вот, так же и тут...

Но Кащеев странно для жандарма вел себя. Почему-то он и Граубергера не арестовал, и денег не взял. Он оставил только в Федоровке стражника, которому препоручил проводить назавтра Граубергера в Полтаву для внесения залога.

Перед от'ездом Кащеева из Федоровки, Нечаева заметила ему, что его посещения деревни заметно деморализуют население, да и просто пугают, так что лучше было бы, если бы впредь он не приезжал сам, а сообщал бы по телефону (соединявшему дом Семенченко с г. Полтавой), что ему нужно. Лучше вызвать обвиняемых в Полтаву, чем из-за пустяков тревожить наездами мирных жителей. Кащеев обещался принять к сведению заявление Нечаевой, и, действительно, сдержал впоследствии свое обещание.

На другой день Граубергер с'ездил в Полтаву, внес залог и вернулся обратно в Федоровку.

Вышло так, что, не подвергаясь предварительному заключению, он разделил судьбу тех обвиняемых, которых Демидов и Воронцов не считали опасными, оставляя до суда под небольшой залог на свободе. По всей вероятности, Граубергера так и не тронули бы, если бы дело не осложнилось совсем с другой стороны.

17 июня 1915 г. местный пристав Чубенко отправил следующий донос по начальству:

«До сведения моего дошло, что служащий у присяжного поверенного С. Г. Семенченко в дер. Федоровке, Чутовской вол., Полтавского у., в качестве садовника, домашний учитель, германманского происхождения, Иоганн-Фридрих Христофорович Граубергер подговаривает жителей дер. Федоровки и окрестных населенных мест, чтобы таковые не шли на войну, так как война есть противна Христу... Еще с зимы настоящего, 1915 г., Ф. Граубергер со своей какой-то знакомкой, по фамилии Нечаевой, в открывшейся чайной Семенченко в дер. Федоровке начал раздавать разным жителям дер. Федоровки какие-то книжечки, а

в чайной бывало неоднократно Ф. Граубергер собравшимся местным жителям толкует о том, что войны не нужно, что она есть противна Христу, и что не нужно никому ходить на войну— и войны не будет... Граубергер весьма недоволен войной... В настоящее время, когда наши войска отступили от Львова, то Е. Нечаева и Ф. Граубергер высказывали свою радость по поводу взятия австро-германцами Львова, при этом говорили: «А зачем захватывать чужую собственность?»... 14-го сего июня Ф. Граубергер, будучи в бакалейной лавке Параскевы Буряковой, где было много людей, которым Граубергер говорил, что воевать вовсе не нужно, а в подтверждение агитации Граубергера присутствующий тут местный житель Ив. Н. Слепко вынул маленького формата Евангелие и стал указывать на одну главу, где указывалось, действительно, убивать людей нельзя... Рядовой солдат из крестьян, Мирко, 28 лет, раненый и находящийся в отпуску, показал, что 14 сего июня он был в лавке Параскевы Буряковой в дер. Федоровке, где было много людей и Ф. Граубергер, который стал спрашивать: «что, ранен?». Он отвечал: «да». Тогда Граубергер сказал, что «это ранил такой же, как и вы»; и еще Граубергер сказал: «ваши руки были возле ваших плеч, поэтому можно было не стрелять».

Этот безграмотный донос совершенно изменил настроение Демидова, и 22 июня он отдал в Полтаву предписание арестовать Граубергера. Последний по телефону был вызван из Федоровки в Полтаву и там арестован.

Что касается Е. П. Нечаевой, то, как я уже говорил, Демидов и Воронцов признали ее заявление о причастности к воззванию «самооговором» и не пожелали привлекать ее к делу. Полтавская полиция отстранила только Нечаеву от заведывания чайной в дер. Федоровке.

ГЛАВА XV.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВОЗЗВАНИЙ НЕИЗВЕСТНЫМИ В Г. ТУЛЕ.

«Как только вы вмешались в наше интимное дело,—писал Трегубов по адресу следственной власти в своем показании от 11—24 июня 1915 г.,—так оно сейчас же приняло другой оборот: воззвание стало распространяться в широких размерах, но уже помимо нашей воли, потому что вы вызвали интерес к нему»...

В самом деле, едва успели следственные власти ликвидировать историю с доносом Окрента, как возникла для них новая забота: в начале 1915 г. в Туле появились, распространяемые неизвестными лицами, оба воззвания—«Опомнитесь, люди-братья» и «Милые братья и сестры», при том *в гектографированном виде*.

Воззвания появлялись спорадически, то тут, то там, то в одном конце города, на одной улице, то в другом, совершенно противоположном.

22 января священник Сахаров в ящике для писем и газет, прикрепленном ко входной двери его квартиры, на углу Протопоповской и Донской ул., нашел два гектографированных экземпляра воззвания «Опомнитесь, люди-братья» и один экземпляр воззвания «Милые братья и сестры». Он представил их полиций-мейстеру, а тот переслал в жандармское управление.

27 февраля сын чиновника, 13-летний мальчик Нечаев, будучи на лекции в доме Просветительных учреждений, на углу Киевской ул., и зайдя около 10 час. вечера в уборную, увидел за трубою писсуара какие-то листки, оказавшиеся воззванием «Опомнитесь, люди-братья». Мальчик захватил их с собой и дома показал отцу. Отец—Нечаев, убедившись, что листки—«противоправительственного содержания», передал их квартировавшему у него чиновнику канцелярии губернатора, а тот представил дальше по начальству.

Часов около 10 вечера, 24 или 25 марта, помощник уездного исправника Габрис нашел в своем почтовом ящике экземпляр воззвания «Опомнитесь, люди-братья». Он представил этот экземпляр исправнику, исправник переслал его приставу 1-й части г. Тулы, а пристав доставил в жандармское управление.

Около 11 час. вечера дворянка Острецова, вернувшись домой, нашла в ящике для писем 2 экземпляра воззвания «Милые братья и сестры». Один она уничтожила, а другой через пристава 2-й части г. Тулы представила в жандармское управление.

Утром 26 марта дворник Бирюков сообщил околодочному надзирателю Тарасевичу, что по Буноховской ул. разбросаны кем-то воззвания против войны... Тарасевич поспешил на Буноховскую ул. и, действительно, нашел в одном месте воззвание «Опомнитесь, люди-братья». Конечно, воззвание было представлено куда следует.

Между тем тот же дворник Бирюков, допрошенный в жандармском управлении в качестве свидетеля по делу о распространении воззваний, показал еще, что в злополучное утро 26 марта по Бухоносовскому пер. разбросано было несколько разных листков: так, он сам поднял один, и листок оказался воззванием «Милые братья и сестры»... Бирюков этот листок уничтожил.

Около 2 час. дня 27 марта жандармский унтер-офицер Федотов, проходя по Суворовскому пер., поднял с тротуара листок бумаги, оказавшийся воззванием «Милые братья и сестры». Федотов представил этот листок своему прямому начальству.

Числа 28 марта кто-то позвонил в парадную дверь квартиры судебного пристава Магнева. Вышедшая на звонок горничная обнаружила в почтовом ящике бумагу, оказавшуюся воззванием

«Милые братья и сестры». Бумага послана была в полицию, а оттуда переслана в жандармское управление.

Наконец, в последних числах марта вестовым поручика Великолуцкого полка Знаменского, собиравшегося уезжать на войну, был вынут из почтового ящика в доме отца поручика по Тургеневской ул. экземпляр воззвания «Опомнитесь, люди-братья». Поручик, ознакомившись с воззванием, представил его, через посредство знакомого чиновника Свентицкого, Тульскому губернатору; губернатор же переслал воззвание в жандармское управление.

Необходимо добавить, что вестовому поручика Знаменского удалось первому напасть хотя бы на приблизительные, но в конце концов оказавшиеся и единственными, следы тех лиц, которые занимались распространением воззваний. Как значится в обвинительном акте, «по докладу вестового, воззвание было опущено в ящик *какими-то двумя неизвестными лицами, имевшими на голове котелки*».

Вот все, что было выяснено следственной властью по поводу распространения гектографированных воззваний в г. Туле, в то время, как уличенные составители и участники воззвания содержались уже в тюрьмах. Нечего и говорить, что любопытство следователей было сильно возбуждено. В первую минуту Демидов готов был все валить на нас. Он грозно хмурился, пред'являя нам в тюрьме воспроизведенные на небольших листках, синими, выведенными «по-печатному» буквами, воззвания. «Если и не вы, то ваши близкие виноваты»,—следовало по логике жандарма.

Но, в ответ на новую атаку властей, мы, обвиняемые, ответили как бы контр-атакой. Руководствуясь внешним видом воззваний, довольно грубым и неряшливым, а также пропуском некоторых подписей под текстом воззвания «Опомнитесь, люди-братья», мы заявили, что не только не признаем себя виновными каким бы то ни было образом в воспроизведении и распространении тульских воззваний, но вполне уверены, что и никто из наших друзей, остающихся на свободе, не имеет отношения к этому делу. Самый способ распространения воззвания, путем подкидывания в почтовые ящики, показался нам в высшей степени несимпатичным, и мы не скрывали наших подозрений относительно нечистого, провокационного источника тульской авантюры с воззваниями. В таком именно характере этого источника долго был уверен Д. П. Маковицкий. М. П. Новиков писал из тюрьмы в одном письме к друзьям: «Так как обращение—с подписями и походит на обычную петицию, а не на тайную революционную прокламацию, и, кроме того, призывает не к бунту, а, наоборот, к любви и миру всех вообще людей-христиан, а не русский народ, и так как оно еще нигде не распространялось, а лежало еще в кармане, то жандармские власти сначала и не думали арестовывать никого из этих 38 человек подписавшихся... Но, конечно,

создать громкое дело для них было очень соблазнительно и они его создали, как в свое время создали дело Бейлиса, братцев-трезвенников и много иных политических дел. Прием известен. Подсадили к С. Попову в камеру «шпика», который, пользуясь его голубиной простотой и честностью, попросил его написать такое же воззвание, какое он распространял на свободе, и затем, украв-ши у него из матраца этот листок *), доставил его в сыскное. С другой стороны, наше обращение «Опомнитесь, люди-братья», отобранное у Булгакова, они отпечатали на каком-то уродливом гектографе и опустили несколько экземпляров в домашние почтовые ящики попам и чиновникам (разумеется, избранным черносотенцам, если уж не по предварительному уговору), которые и представили их немедленно к губернатору. Тогда-то и получилось нужное для них впечатление, что вот, дескать, Попову и в тюрьме не сидится, и оттуда он пишет воззвание, а с другой стороны находящиеся на свободе «Толстовцы» начинают распространять по городу свое обращение... Мы все, находящиеся в Тульской тюрьме, очень этим возмущены и заверяем, что никто из наших единомышленников не станет прибегать к таким подпольным приемам, как подбрасывание листков в чужие почтовые ящики. Да в это время нигде уже и нельзя было достать текста «Опомнитесь, люди-братья», кроме как в жандармском управлении». Точно так же И. М. Трегубов заявлял в своем дополнительном показании от 11—24 июня 1915 г.: «Это воззвание не распространялось нами среди населения. Оно стало широко распространяться только после того, как вы начали его преследовать и тем вызвали интерес к нему даже у людей чуждых нам и, быть может, при этом оно стало распространяться также и вашими собственными агентами для того, чтобы дать вам хотя фальшивое основание для утверждения, что мы распространяли его среди населения. По крайней мере, нам противны такие средства, как подпольное подбрасывание нашего воззвания. Мы действуем открыто».

До самого процесса тайна тульских воззваний осталась не выясненной. Она не раскрыта была и на процессе. Впечатление же от данных судебного следствия, относившихся к распространению воззваний и включенных в обвинительный акт, и на суде создалось не очень-то благоприятное—скорее именно для самих следователей, чем для подсудимых. Так, когда надворный советник Свентицкий, вызванный свидетелем со стороны обвинения, показал, со слов вестового поручика Знаменского, что подкидывавшие воззвание одеты были в котелки, в зале раздался смех: уж очень трудно было присутствующим представить себе «толстовцев», наряженных в котелки и подбрасывающих воззвания в почтовые ящики...

Между тем, к концу процесса мне удалось получить сведе-

---

*) Неточность, в действительности листок был дан Поповым Окренту.

ния, вполне об'ясняющие все дело о распространении воззваний в г. Туле. Оказалось все-таки, что распространяли воззвания, действительно, наши единомышленники, или лица, считавшие себя таковыми.

Трегубов прав был, говоря, что вмешательство жандармов в дело вызвало попытки распространения воззваний среди населения. После того, как Тульским жандармским управлением арестовано было уже значительное количество участников воззвания,—у трех тульских рабочих, преданных взглядам Л. Н. Толстого (как они их понимали), пробудилось нечто в роде чувства протеста против действий властей, а также сознания личной ответственности за судьбу воззваний. «Наши друзья,—рассуждали тульские рабочие —хотели что-то сделать, очевидно, распространить воззвания как можно в большем количестве, но были арестованы и не успели этого сделать. Что же мы-то, их единомышленники, ничего не предпринимаем! Нужно продолжать их дело!»... И вот, на гектографе отпечатано было до 500 экземпляров обоих воззваний. Из этого количества 100 экземпляров распространены были среди рабочих на Тульском оружейном заводе и другие 100—на Тульском патронном заводе. Остальные 300 экземпляров разошлись по городу.

Очевидно, что «по начальству» представлялись воззвания лишь в самых исключительных случаях, особо «благонадежными» людьми: священником, судебным приставом, жандармским унтер-офицером, дворником, поручиком... Таким образом Демидов не получил настоящего представления о масштабе, в каком распространялись воззвания.

Из трех виновников распространения гектографированных воззваний в Туле я знаю только одного. В числе еще нескольких других туляков он приезжал в Москву специально для того, чтобы присутствовать на «толстовском» процессе. Выяснив из разговоров на суде и из частных бесед с участниками дела, что воззвание «Опомнитесь, люди-братья» предполагалось распространять только в одновременном издании на нескольких языках сразу и что, вообще, самое дело организации воззвания не было доведено инициаторами до конца, он заявил, что если бы это было известно ему раньше, то он воздержался бы от нелегального распространения воззвания в Туле. «А то мы думали,—говорил он,—что дело уже пущено в ход... И полагали, что если можно распространить 10 воззваний, то почему нельзя 100 или 10,000?»...

Туляк-единомышленник рассказал мне, кроме того, что ему известны случаи прямого благотворного воздействия воззвания на людей. Так, в Туле воззвание прочитано было одним молодым человеком, собиравшимся поступить в военно-инженерное училище. под влиянием воззвания, он раздумал посвящать себя военно-инженерной карьере... В другой раз воззвание попало к попу на именины или на какой-то другой семейный праздник, при чем в квар-

тире было много гостей, преимущественно из среды духовенства или их детей-студентов и курсисток. Воззвание прочитано было на именинах вслух, после чего по поводу прочитанного завязался жаркий спор. Характерно, что при этом просвещенные дети выступили против воззвания, а один из священников защищал его... «Вообще,—говорил туляк,—воззвание много прямой пользы принесло, я не помню только всех отдельных случаев»...

ГЛАВА XVI.

НЕКОТОРЫЕ ДАННЫЕ К ХАРАКТЕРИСТИКЕ ПОДП. ДЕМИДОВА И, ВООБЩЕ, МЕТОДОВ СЛЕДСТВИЯ.

Нельзя думать, что размах предварительного следствия ограничился лишь теми допросами и обысками, какие были описаны нами до сих пор. Мы не останавливались на некоторых случайных обысках, не имевших для дела серьезного значения, на повторных обысках у некоторых из обвиняемых (как, например, у Дудченко) и на массе дополнительных, мелочных допросов, учинявшихся следователями как подсудимым, так и свидетелям. Достаточно сказать, что по нашему делу властями составлено было всего до 200 протоколов!

Демидов, пользовавшийся, как я уже указывал, «агентурными сведениями» по нашему делу, знал о нем, пожалуй, и кое-что большее, чем он мог, к своему сожалению, закрепить в официальных протоколах. Например, он совершенно правильно догадывался об участии живших у Черткова ремингтонистов в размножении воззвания, но формального заявления об этом, необходимого для начатия расследования по этому поводу, он ни от кого из подсудимых и свидетелей не имел. Как ловко он ни побуждал нас к подобному заявлению, ему так и не удалось добиться желаемого. Иначе Чертковы, конечно, были бы вовлечены в дело.

Кто давал Демидову сведения, сказать нельзя, но однажды он поразил меня совершенно точным представлением об одной из самых важных для следствия сторон дела,—формально, тем не менее, так и не получившей освещения в следственном производстве. Я имею в виду факт окончательного редактирования воззвания мною, Трегубовым и А. Сергеенко в доме Чертковых. Об этом факте могли знать, разве, только обитатели чертковского дома. Между тем, на одном из допросов в тюрьме Демидов прямо заявил мне следующее: «Я знаю, что в редактировании воззвания принимали участие три лица, и эти лица мне известны. Это были: вы, Трегубов и Алексей Сергеенко! Что же, разве не так?» Демидов произнес свою реплику совершенно

уверенным и даже как бы вызывающим тоном. Он, очевидно, ожидал, что, под впечатлением эффекта от его слов, я, так сказать, покорюсь неотвратимости рока и не стану опровергать их справедливости. Но я ничего ему не ответил...

Для пополнения сведений о личностях подсудимых Демидов обращался, между прочим, к центральным органам «охраны» и к провинциальным властям по местожительству того или другого обвиняемого, с просьбой присылать ему секретные формуляры о «неблагонадежности» данных лиц, буде лица эти уже состоят на счету и формуляры о них заведены.

Так, например, им был подшит к «делу» следующий документ:

М. В. Д.
НАЧАЛЬНИКЪ ОТДѢЛЕНІЯ
по охраненію обществъ
безопасности и порядка
в г. Москвѣ.
27-го ноября 1914 года.
№ 306978.
г. МОСКВА.

Секретно.

Арестантское.

На № 12912.
Начальнику Тульскаго Губернскаго Жандармскаго Управленія.

Потомств. почетн. гражданинъ Валентинъ Федоровичъ Булгаковъ извѣстенъ Отдѣленію, какъ анархистъ толстовецъ. Въ 1909 г. Булгаковъ, не окончивъ курса, вышелъ изъ Университета. Состоялъ личнымъ секретаремъ гр. Л. Н. Толстого. По имѣющимся агентурнымъ свѣденіямъ 21 октября 1910 г. Булгаковъ прочелъ въ аудиторіи Московскаго Университета лекцію, сущность коей заключалась въ томъ, что Университетъ (не исключая и заграницы) представляетъ продуктъ бюрократическаго творчества. Университетъ не даетъ того, о чемъ думаетъ и мечтаетъ большинство. Профессора-карьеристы скрываютъ подъ личиной званія „профессоровъ“ невѣжество. Истинные ученые идеалисты народились внѣ стѣнъ Университета. Университетъ только тогда можетъ удовлетворить всей суммѣ желанія, когда онъ будет отдѣленъ отъ государства и станетъ внѣ вліянія на него правительства. Единственный способъ саморазвитія — это пти въ народъ и мирнымъ путемъ проповѣдывать свободный храмъ науки. Некоторые мѣста чтенія, а также мѣсто объ отказахъ отъ воинской повинности, произвели на слушателей сильное впечатлѣніе.

За Начальника Отдѣленія

Помощникъ Ротмистръ **Знаменскій.**

Подобного рода бумажка, конечно, не могла прямо повлиять на ход следствия, но косвенно она, наверное, создавала известное впечатление у следователя, который мог, таким образом,

поверять свои собственные данные и нащупывать правильные выводы.

Впрочем, приведенный документ носит, сравнительно, вполне осмысленный характер. Но часто Демидову приходилось иметь дело с такого рода «секретными сведениями», особенно от провинциальных агентов власти, что, наверное, даже у него сведения эти вызывали улыбку.

Так, например, пристав 44-го стана Кобелякского у. Полтавской губ. 22 февраля 1915 г. доносил о Трегубове: «По убеждениям социал-революционер, но активной деятельности на родине не проявлял». Если бы пристав ограничился этой «страшной» характеристикой убеждений Трегубова, то, пожалуй, было бы лучше, но в том же самом донесении еще значится: «Иван Трегубов был в большой дружбе с Л. Н. Толстым и был большим поклонником его философских идей». Извольте совместить оба утверждения, умещающиеся на протяжении одного и того же донесения!

Или, например, начальник Воронежского жандармского управления 11 ноября 1914 года писал в Тулу, что Сергей Попов проживал «в коммунистической колонии сектантов, которые в своей среде именовали себя мирными анархистами-коммунистами, организованной известным революционным деятелем, сыном генерал-ад'ютанта Иваном Аркадьевым Беневским». Тут тоже характерно это нагромождение «страшных» слов, жупелов с полицейской точки зрения: «коммунистическая колония», «сектанты», «анархисты-коммунисты», «революционный деятель»... Нечего и говорить, что правды в этом донесении почти столько же, сколько в утверждении Кобелякского пристава, будто бы Трегубов—«социал-революционер».

Несомненно, что как в сношениях с обвиняемыми, так и во всех своих действиях, Демидов, в общем, не выходил из рамок «законности» и корректности. Он был, по большей части, джентльменски вежлив и разыгрывал роль государственного патриота, который, веря в высокие и благодетельные цели войны, подчиняется только тяжелому служебному долгу в преследовании антимилитаристов.

Тем не менее, благодаря, очевидно, каким-то особенным свойствам жандармской выправки, оказывалось, что корректность и благородная поза выдерживались именно лишь постольку, поскольку это необходимо было для соблюдения внешних пределов «законности». Отсюда—постоянное стремление к тому, чтобы все было благополучно и гладко в особенности *на бумаге:* известно ведь, что написанного пером не вырубишь и топором. Что же касается внутренней, действительной добропорядочности, то, по правде сказать, расчитывать на нее у наших следователей было трудно. Мы знаем уже о судьбе «честного слова», данного подполковником Демидовым Сереже Попову, а также об

уловке, употребленной Демидовым при моем первом допросе и заключавшейся в заведомо неправдивой ссылке на якобы открытое уже «на юге» наше воззвание. В другой раз, уже в то время, как я сидел в тюрьме, Демидову понадобилось зачем-то, мистифицируя меня, сообщить, что будто бы Трегубов в Петрограде отпечатал воззвание в типографии и распространял его в печатном виде. (Это было сказано озлобленным тоном в ответ на мои слова, что мы и не думали еще приступать к *распространению* воззвания). Наконец, эта отвратительная манера подлавливания при допросе: начать разговор о вегетарианстве, а затем неожиданно предложить выдать остальных товарищей по делу, как это было при первом же моем допросе в тюрьме...

Словом, как ни «благородно» держался на словах украшенный погонами и аксельбантами сыщик, поврежденная душа чувствовалась на каждом шагу. Доверчиво кидаясь в об'ятия к человеку, вы рисковали провалиться в бездонную дыру.

Несомненно, что было у нашего недоброжелателя и это чувство сознания своей силы и внешнего превосходства над нами, как у вооруженного над безоруженным, как у кошки над попавшейся в ее лапы мышью... Какие бы мы доводы ни приводили в защиту христианского отношения к жизни и в доказательство нелюбовности, насильственности современного общественного устройства,—последнее, торжествующее слово все-таки всегда оставалось за человеком в блестящих погонах и с шашкой, который по окончании допроса с беспечной улыбкой подымался из-за стола и снисходительно оглядывал своего подневольного собеседника, расправляя уставшие от сиденья члены... Нашей внешней судьбой играли, ею распоряжались.

Наконец, несимпатично было деление подсудимых по рангам, соответственно их внешнему положению, знакомствам, уровню «образования» и проч. Со мною, например, Демидов всегда был изысканно любезен и как-то особенно осторожен в выборе слов; но не то, как мы уже видели, происходило при допросах С. Попова, М. Хороша, Л. Пульнера...

Что такое различение людей было не случайно и обосновывалось чисто житейской логикой приноравливающегося к обстоятельствам чиновника, подтвердили мне рассказы содержавшихся одно время вместе со мною в тюрьме тульских рабочих, подозревавшихся в принадлежности к партии с.-д. большевиков. С этими людьми, не имевшими никаких «связей» на воле (кроме партийных!), Демидов, чувствуя полную свою безответственность, просто был грубо и нагло нахален.

Один из рабочих, очень развитой, бойкий и начитанный юноша, с которым все мы, «толстовцы», особенно подружились, рассказывал мне, как Демидов ночью ворвался к нему в квартиру и, найдя его спящим в постели, одной рукой приставил к его лицу револьвер, а другой ярко осветил это лицо посредством

электрического фонарика и при этом громко произнес: «Эй, вставай! Давай твои прокламации!» Нетрудно себе представить, в каком состоянии должен был проснуться человек.

Другой рабочий, уже пожилой человек, слесарь, рассказывал, как во время обыска,—тоже, разумеется, ночью,—Демидов внезапно схватил его за горло и потряс с такой силой, что несколько пуговиц от его рубашки разом отлетели и покатились по полу... «Сознавайся!»—кричал при этом Демидов.

Еще более ужасные вещи рассказывали рабочие о втором помощнике начальника Тульского жандармского управления подп. Павлове, выступавшем после свидетелем обвинения на нашем процессе.

Вот каковы были приемы достойных представителей жандармской власти в сношениях не с *сильными,* а с *слабыми* мира сего.

И так постепенно выяснялся перед нами облик *жандарма,* печальный и гнетущий душу...

Вспоминаю я, как те же социал-демократы в Тульской тюрьме поставили мне однажды такой вопрос:

— Вот вы, толстовцы, уверяете, что в каждом человеке есть «искра Божия»,—что же, по вашему, и в подполковнике Павлове, и в подполковнике Демидове тоже есть «искра Божия»?

— Да, есть!—отвечал я, и своим ответом вызвал такой дружный взрыв хохота у моих собеседников, что даже и сам смутился...

Но «искры» не могло не быть, хотя бы и скрывавшейся под толстым слоем пепла...

ГЛАВА XVII.

ОКОНЧАНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ И ФОРМУЛИРОВКА ОБВИНЕНИЯ ТУЛЬСКИМИ ВЛАСТЯМИ.—ПРЕДАНИЕ ВОЕННОМУ СУДУ.

Предварительное следствие по нашему делу было приведено к окончанию только в начале июня 1915 года. Тогда же подлинное следственное производство, согласно требованию закона, пред'явлено было всем продолжавшим оставаться под стражей обвиняемых.

В Тульской тюрьме к тому времени находились: я, С. Попов, Л. Пульнер, В. Беспалов, М. Хорош, Д. П. Миковицкий и М. П. Новиков. Всех нас собрали в свободное помещение, служившее обыкновенно местом для раздачи арестантам «выписки», (т.-е. выписываемых ими с воли на свои средства продуктов и вещей). Довольно просторное, с низким сводчатым потолком, помещение это все расписано было случайным обитателем тюрь-

мы, маляром, разными узорами в буколическом стиле: тут были и необыкновенные цветы, и листья, и плоды, и другие наивные орнаменты, всё в самых ярких красках. Пестренькая комнатка эта, после надоевшего вида однообразно-серых камер, всегда радовала и веселила нас, как человека подневольного труда веселит воскресенье на неделе.

Сюда-то нас и свели, для ознакомления, в присутствии подп. Демидова, с актами дознания. Видевшиеся только мельком, или почти не видевшиеся, изголодавшиеся друг по друге после долгих месяцев заключения, все мы испытали громадное удовольствие, сходясь вместе в течение трех или четырех дней, и шаг за шагом разбираясь во всех наших проступках, кропотливо и, можно сказать, любовно занесенных рукою следователя на листы огромного, трехтомного «дела», более чем в 1.000 страниц толщиною.

Демидов не препятствовал нам перекидываться между собою замечаниями или обмениваться невольными улыбками при открытии в тяжеловесном произведении жандармского творчества каких-нибудь комических или, наоборот, трогательных подробностей. Но за то и мы, благодарные закону за его великодушие, выразившееся в том, что он даже (!) разрешал нам подробно ознакомиться с тем, в чем собственно нас обвиняли и за что наказывали,—старались быть как можно более деликатными по отношению к представителю этого закона, подполковнику Демидову, присутствовавшему при чтении нами «дела».

Эта идиллия в расписанной синими яблоками и зелеными цветами комнате нарушена была Сережей Поповым, который сначала очень охотно и с исключительным интересом слушал «дело», а потом вдруг заартачился и заявил, что больше участвовать в ознакомлении со следственным производством не станет.

О причинах такого решения им было подано подпол. Демидову следующее заявление:

«Я—сын Божий. По своему разумению я считаю, что суд людской—это источник войны, война же—это не сдерживаемое осуждение. Люди забывают свою сыновность Богу и братство между собой, осуждают друг друга всё больше и больше, разжигают это осуждение, не сдерживая его, и оно, наконец, выражается мерзким и зверским поступком, братоубийством—войной. Я, как сын Божий и брат всех существ мира, протестую против войны, протестую против суда, как источника войны; в свою очередь, протестуя против суда, я протестую и против войны, как не сдерживаемого осуждения. Вот почему я и отказался от слушания следствия, как неразумного и кощунственного дела по отношению к нашему Отцу Богу и нашему братству. Я знаю, что в каждом человеке есть высший следователь и судья—это единый во всех людях дух Божий—совесть и ра-

зум. Он и есть мой надежный руководитель, мое настоящее я. Человек не может быть следователем или судьей своего брата, как слепой не может видеть слепого. Кто без греха? Желая судить человека, надо быть не с ним, а в нем.

Вот мое об'яснение, взамен всех прежних, приписываемых мне показаний.

Сын Божий, по телесной оболочке С. Попов».

Сколько помню, В. Беспалов, находившийся под сильным влиянием Попова, подал вслед за ним аналогичное заявление на имя Демидова и также отказался от дальнейшего выслушивания актов следственного производства.

Из пред'явленного нам «дела» мы окончательно убедились в том, что власти решили привлечь нас к ответственности по 129 ст. Угол. Улож., обвиняющей в совершении «*бунтовщического или изменнического деяния*».

Собранные предварительным следствием данные «послужили основанием для привлечения к дознанию в качестве обвиняемых по ст. 51 и 1 п. 1 ч. 129 ст. Угол. Улож. из числа 38 лиц, подписавших воззвание «Опомнитесь, люди-братья», 30-ти человек, именно: Булгакова, Трегубова, Дудченко, Маковицкого, Сергеенко, Олешкевича, Лещенко, Никитина-Хованского, Молочникова, Платоновой, Тверитина, Хороша (Хараса), Попова, Некрасова, Архангельского, Михаила и Ивана Новиковых, Гремякина, Буткевича, А. И. Радина, Марии Радиной, Юлии Радиной, Александра Алекс. Радина, А. А. Радина, Беспалова, Пульнера, Лобкова, Стрижовой, Демиховича и Граубергера, с пред'явлением им обвинения в том, что они в октябре 1914 г., во время нахождения России в состоянии войны с Германией, Австрией и Турцией, по предварительному между собою и с другими лицами соглашению, распространили суждения, возбуждающие к изменническому деянию, при чем составили воззвание «Опомнитесь, люди-братья», призывающее население не принимать участия в войне, подписали его, размножили на пишущих машинах, а затем частью разослали по почте, а частью передали другим лицам».

Кроме того, Попов, Пульнер, Беспалов, Булгаков и Хорош (Харас) привлечены были к дознанию «в качестве обвиняемых в том, что в октябре 1914 г., во время нахождения России в состоянии войны с Германией, Австрией и Турцией, они, по предварительному между собою соглашению, распространили суждения, возбуждающие к изменническому деянию, составив воззвание с обращением «Милые братья и сестры», призывающее население к неучастию в настоящей войне, и развесив несколько экземпляров этого воззвания в октябре 1914 года в пределах г. Тулы и Тульской губ. (т.-е. в преступном деянии, предусмотренном ст. 51 и п. 1 ч. 1 ст. 129 Угол. Улож.).

Далее, Попову и Беспалову пред'явлено было также обвинение в том, что «содержась в Тульской губернской тюрьме, в декабре 1914 г., они вели пропаганду среди арестантов, склоняя их воздействовать, по освобождении из тюрьмы, на население, с целью убедить не принимать участия в настоящей войне, воспроизвели воззвание «Милые братья и сестры» в нескольких экземплярах и с тою же целью передали их для распространения арестантам при освобождении последних из тюрьмы. (1 п. 1 ч. 129 ст. Угол. Улож.)».

Наконец, одному Попову пред'явлено было обвинение и в том, что «25 октября 1914 года, будучи задержан, после прикрепления им на воротах завода при деревне Михалкове воззвания «Милые братья и сестры», он высказал конвоировавшим его нижним чинам суждения, возбуждающие к нарушению воинскими чинами обязанностей военной службы, именно: «воевать, братцы, не нужно, мы все братья одинаковые и душа у нас одинаковая, что у германцев, что у нас». (5 п. 1 ч. 129 ст. Угол. Улож.)».

Итак, вот к чему сведено было следственной властью наше дело. Нечего и говорить, что единодушный протест подсудимых встретил подобную формулировку обвинения.

Выполняя требование закона, Демидов должен был, после того, как тульские заключенные ознакомились с подлинным следственным производством, последовательно высылать это производство также в города Петроград, Полтаву и Острогожск, для пред'явления содержавшимся в тамошних тюрьмах обвиняемым: Трегубову, Дудченко и Радину.

Ознакомившись с характером пред'явленного участникам воззвания нелепого и возмутительного обвинения, И. М. Трегубов, первоначально отказывавшийся от дачи каких бы то ни было показаний, 24 июня 1915 года, представил петроградским жандармам для отсылки в Тулу обширное показание, как бы целый реферат, в котором он подробно освещал и фактическую, и идейную сторону дела о воззвании, при чем с редким мужеством обличал следствие за его пристрастную и предвзятую оценку поступка «толстовцев».

— Наш поступок, всецело основывающийся на том, что̀ проповедывал Христос, за что страдали древние христианские мученики, чему учили древние отцы церкви и другие истинные христианские учителя,—писал Трегубов,—не мог и не может повести ни к какому бунту,—потому что учение Христа, как учение, призывающиее людей к миру и любви, не может вести к бунту. И вы, я прямо скажу, возносите хулу на Духа Святого, на Христа, допуская подобно древним языческим властям, возможность бунта от того, что люди стараются следовать учению Христа...

— Очевидно, за отсутствием революции, этого вашего насущного хлеба, вы набросились на так называемых «толстовцев» и стали утолять ими свой голод. Грешно вам так поступать!..

— «Нас обвиняют в измене,—писал и я в дополнительном показании,—но мы любим Россию не меньше обвиняющих нас, и если по их понятиям мы изменники, то изменили мы не России, а всем воюющим государствам, призывавшимся нами одинаково к миру,—изменили не для какого-нибудь другого государства из земных расчетов, а для самого Господа Бога и закона Его: Богу мы служим и Бога носим мы в сердце»...

Высказывали свое негодование перед обвинением в измене и другие обвиняемые.

Между тем, тульские власти спешили докончить свое дело.

В архиве Тульского жандармского управления еще с апреля месяца 1915 года лежала такая бумажка:

«Совершенно секретно.

Начальнику Тульского Губернского Жандармского Управления.

По окончании производящегося Вашим Превосходительством предварительного следствия о составлении и распространении прокламаций против войны последователями графа Л. Н. Толстого австрийским подданным Маковицким, Булгаковым, Поповым и другими, прошу Вас это дело препроводить мне для передачи такового на рассмотрение военного суда.

Главноначальствующий Тульской губернии губернатор А. Тройницкий.

Управляющий канцелярией Прокофьев».

Теперь, когда следствие было окончено и следственное производство пред'явлено обвиняемым, жандармское управление поспешило исполнить просьбу Тройницкого.

14 июля 1915 года начальник жандармского управления препроводил губернатору подлинное дело о «толстовцах», при следующей бумаге:

«Секретно.

Вследствие предложения Вашего Превосходительства от 25-го апреля сего года за № 17225 препровождаю при сем три тома формального дознания о группе «толстовцев» по обвинении их в преступлении, предусмотренном 51 и 1 п. 1 ч. 129 ст. Угол. Улож., произведенное помощником моим подполковником Демидовым, в порядке 1035 ст. Уст. Угол. Судопр., и выделенное производство из этого дознания о Лобкове и Тверитине, в отношении которых потребовалось производство переписки в порядке 353 и 356 ст. ст. Уст. Угол. Суд. в целях установления степени разумения и состояния умственных способностей во время совершения ими осенью 1914 года вышеприведенного преступления.

Приложение: 1) дознание о группе «толстовцев» в 3-х томах на 1049-ти листах со включенными на 622, 661, 648, 698,

711, 837, 860 и 869 листах залоговыми квитанциями в опечатанных конвертах; 2) выделенное производство из того же дознания на Лобкова и Тверитина на 114 листах с одной залоговой квитанцией на 55-м листе дознания и 3) вещественные доказательства в двадцати двух опечатанных свертках, заделанных в один опечатанный тюк.

Генерал-майор Иелита-фон-Вольский».

18 июля 1915 года состоялось следующее «постановление Главноначальствующего Тульской губернии»:

«14 июля сего года, за № 8852, Начальник Тульского Губернского Жандармского Управления, согласно отношению моему от 25 апреля сего года, за № 17225, представил мне три тома формального дознания о группе «Толстовцев» по обвинению их в преступлении, предусмотренном 51 и п. 1 ч. 1 ст. 129 Угол. Улож., произведенное помощником его подполковником Демидовым в порядке ст. 1035 Уст. Угол. Суд., а также вещественные доказательства в 22 опечатанных свертках, заделанных в один опечатанный тюк.

Из дознания этого видно, что... (следует подробное изложение дела по данным предварительного следствия).

Рассмотрев настоящее дознание, я нахожу, что нижеследующие лица, а именно: . . . (перечисляются все обвиняемые) совершили преступление, предусмотренное п. 1 ч. 1 ст. 129 Уголовного Уложения.

Принимая во внимание всю важность совершенного обвиняемыми в настоящее военное время бунтовщического и изменнического деяния, которое могло иметь самые опасные для государства последствия, я, Главноначальствующий Тульской г., на основании п. 3 ст. 26 и ст. 17 приложения 1 к ст. 1 (прим. 2) Устава о предупреждении и пресечении преступлений *постановил:* настоящее дело передать на рассмотрение Московского Военно-Окружного Суда для суждения виновных по законам военного времени, для чего все дело вместе с вещественными доказательствами и настоящим постановлением препроводить Военному Прокурору названного Суда, с просьбою, чтобы дело было рассмотрено при закрытых дверях и с особыми сверх того ограничениями, указанными в п. 3 ст. 17 приложения 1 к ст. 1 (прим. 2) Уст. о предупр. и пресечении преступлений.

Главноначальствующий Тульской губернии Губернатор А. Тройницкий».

16 июля 1915 года мне и другим обвиняемым, содержавшимся в Тульской тюрьме, об'явлено было постановление начальника Тульского жандармского управления о передаче законченного следственного производства в распоряжение тульского губернатора, при чем указывалось, что к последнему нам надлежит обращаться теперь со всеми просьбами по делу.

Мы знали уже, что губернатор Тройницкий возымел решение предать нас военному суду, и вот у меня явилась мысль

попытаться, путем непосредственного обращения к губернатору, отклонить его от этого решения.

Посоветовавшись кое с кем из друзей, я обратился к губернатору Тройницкому с длинным прошением, написанным, скорее в форме частного письма.

Изложив суть нашего дела, как я ее понимал, я горячо протестовал против допущенного следователями смешения нас с политическими деятелями, а также против пред'явленного к нам обвинения в измене; далее, обращал внимание на то, что большинство из подсудимых не ожидало столь сурового отношения к их поступку; затем указывал, что среди подписавших обращение есть много людей, с одной стороны, *старых,* а с другой— *юных,* ради которых надлежало подумать, к чему должен повести предполагаемый суровый оборот дела, и в заключение просил: приняв во внимание истинный—мирный, религиозный, а не бунтовщический или изменнический характер нашего деяния, постановить решение: не предавать нас военному суду, а предоставить разбор дела судебной палате.

Началась канцелярская волокита. Прошение мое начальник тюрьмы, при особом отношении, направил сначала «на распоряжение Его Высокородия Тульского Губернского Тюремного Инспектора». Последний на бумаге начальника тюрьмы начертал почтительную резолюцию: «На благоусмотрение г. Губернатора»,—и, при новом отношении, направил прошение к губернатору.

Несмотря на то, что все это происходило в одном городе и дело было важное, непосредственно касавшееся судьбы 28 человек, прошение, написанное 17-го июля, поступило на рассмотрение губернатора только на пятый день после его подачи, именно 21-го июля, и уже через три дня после того, как состоялось постановление губернатора о предании нас военному суду.

Ознакомившись с прошением, губернатор положил на нем следующую резолюцию:

«21 июля. Так как Булгаков и другие уже преданы военному суду, то прошение подшить к делу».

ГОСУДАРСТВ. ПУБЛИЧНАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА

ОГЛАВЛЕНИЕ 1-го ТОМА.

Стр.

Посвящение . . . . . .
Предисловие . . . . . 5.
Введение . . . . . 7.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

Возникновение воззваний.

Глава I. Настроения, вызванные войной среди единомышленников Л. Н. Толстого . . . . . 19.
Глава II. «Наше открытое слово» М. С. Дудченко . . 24.
Глава III. Возникновение воззвания «Опомнитесь, люди-братья!» . . . . . 30.
Глава IV. Первые подписи под воззванием . . . . . 37.
Глава V. Подписи Олешкевича, Лещенко, Никитина-Хованского, Молочникова, Платоновой и Тверитина. 55.
Глава VI. Подписи Хороша, Буткевича, Пилецкого и Некрасова . . . . . 66.
Глава VII. Участие в деле Арвида Ернефельта . . . 75.
Глава VIII. Подписи Архангельского, Завадовского, братьев Новиковых и Гремякина . . . . . 79.
Глава IX. Семья Радиных.—Подписи Иконникова, Губина и Крашенинникова . . . . . 88.
Глава X. Воззвание Юрия Мута . . . . . 95.
Глава XI. Возникновение воззвания «Милые братья и сестры» . . . . . 100.
Глава XII. Последние подписи под воззванием «Опомнитесь, люди-братья» : : : : 112
Глава XIII. Из писем лиц, отказавшихся подписаться под яснополянским воззванием 117

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

Аресты и следствие.

Глава I. Распространение С. Поповым воззвания «Милые братья и сестры» и его арест 129
Глава II. Арест Хороша и Пульнера на хут. Соломахина 139
Глава III. Жандармы в Ясной Поляне: первый визит подполковника Демидова 148

Глава IV. Обыск в Ясной Поляне и мой арест 156
Глава V. Инцидент с письмом моей матери и обыск у нее в гор. Томске 166
Глава VI. Обыски у лиц, непричастных к воззванию, и арест Беспалова 173
Глава VII. Допросы группы участников воззвания, оставшихся на свободе, сначала в качестве свидетелей . 177
Глава VIII. Арест Тверитина и Лобкова в Тобольске . . 183
Глава IX. Провокация и предательство Окрента (Иванова) в Тульской тюрьме 186
Глава X. Аресты Некрасова, д-ра Маковицкого, Молочникова, Гремякина, Буткевича и братьев Новиковых. 192
Глава XI. Аресты Никитина-Хованского, Олешкевича, Лещенко, Трегубова, А. И. Радина и Дудченко . . 198
Глава XII. Явка Платоновой в жандармское управление. 204
Глава XIII. Аресты жены и детей Радиных, Демиковича, Архангельского и Стрижовой . . . . . 258.
Глава XIV. Арест Граубергера и допрос Нечаевой в им. Федоровка, Полтавской губ. 211
Глава XV. Распространение воззваний неизвестным в г. Туле 216
Глава XVI. Некоторые данные к характеристике подп. Демидова и, вообще, методов следствия 221
Глава XVII. Окончание предварительного следствия и формулировка обвинения тульскими властями.— Предание военному суду 229

2p